4
Л-59

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИНГВИСТИКА И ПОЭТИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«НАУКА»

ОЯ - сбор слов с/зн

ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

www.ruslang.ru

73848

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА

ЛИНГВИСТИКА И ПОЭТИКА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА 1979

Сборник посвящен актуальным проблемам изучения русского языка, общим вопросам грамматики, а также ряду вопросов, касающихся исследования языка художественной литературы и поэтики.

В сборнике рассматриваются проблемы лингвистической классификации, грамматические категории числа и рода, синтаксические и семантические преобразования, при помощи которых описывается структура предложения, текста, а также развитие языковых значений.

Языку художественной литературы посвящен особый раздел, в котором описывается соотношение языка художественных произведений с общеязыковыми явлениями — с лексикой и синтаксисом современного русского языка. Рассматриваются и семантические проблемы стиховедения, особенно тесно связанные с идеями лингвистической поэтики.

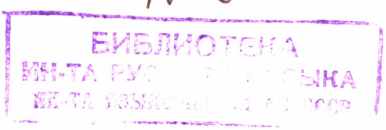
Ответственный редактор

В. П. ГРИГОРЬЕВ

Редакционная коллегия:

Е. Л. ГИНЗБУРГ, П. А. СОБОЛЕВА,
И. В. АЛЬТМАН (ответственный секретарь)

4
Л-59



73848

© Издательство «Наука», 1979 г.

Л $\frac{70101-133}{042\,(02)-79}$ 517—79.4602000000

ПРЕДИСЛОВИЕ

На IX Международном конгрессе лингвистов (1962) было отмечено как «остроумное» замечание Э. Бенвениста о том, что отныне названия всех обществ и журналов по лингвистике должны быть дополнены словами «и по поэтике» (см. «Новое в лингвистике», вып. IV. М., «Прогресс», 1965, с. 583). Основанием послужило наблюдающееся у лингвистов «повышенное внимание к творческому аспекту языка» (там же, с 582). Между тем творческий аспект языка может пониматься и в настоящее время понимается многими лингвистами очень по-разному. Так, если сводить этот аспект исключительно лишь к моделям, предлагаемым в рамках порождающей грамматики и семантики, то окажется, что «поэтика» здесь почти ни при чем, во всяком случае пока.

В то же время замечание Бенвениста отражает действительную и давно ощущаемую потребность лингвистики в исследовании творческого отношения носителя языка к тем конвенциональным средствам коммуникации, которые он использует вместе с другими членами общества, но использует нестандартно, а в ряде случаев,— например, реализуя свои художественные потенции,— преобразовывает в специфическую систему писательского идиолекта и словесного идиостиля высоких эстетических качеств.

Проблемы развития и взаимодействия таких идиостилей, соотношения в их множестве общенародного и индивидуального, нормы и «обоснованных отступлений от нее» (Л. В. Щерба), лингвистического и эстетического, «сложного» и «простого», структурного и функционального и т. д. ждут своего разрешения. Уже сформулированы задачи достаточно строгого и полного описания соответствующей языковой системы, которую филологи по-разному называют («язык художественной литературы», «поэтический язык» и др.), представляют и определяют, и уже давно стремятся описывать. Эти проблемы и задачи требуют особого внимания, специальных методов исследования, разработанной теории и т. д. Прежде всего здесь необходимо объединение усилий всех заинтересованных ученых, все равно, являются они лингвистами или литературоведами по своей основной профессиональной принадлежности.

Сборник «Лингвистика и поэтика» представляет собой еще один шаг на пути к такому намечающемуся объединению[1]. Он

[1] Необходимо отметить и приветствовать публикацию в сборнике «Контекст-1976» (М., «Наука», 1977) лингвистической статьи проф. Л. В. Златоустовой «Изучение звучащего стиха и художественной прозы инструментальными методами».

включает работы сотрудников сектора структурных методов изучения языка и лингвистической поэтики Института русского языка АН СССР, а также ряда других языковедов по типичным, важным и актуальным проблемам языкознания — лингвистической классификации, грамматическим категориям, синтаксическим и семантическим преобразованиям, языку художественной литературы. В сборник введен раздел, посвященный отдельным семантическим проблемам стиховедения, которое в наши дни особенно тесно связано с идеями лингвистической поэтики.

Эти и другие проблемы стиховедения и поэтики вызывают в последние годы немало споров в отечественной и зарубежной печати. Наметились, в частности, и неправомерные, на наш взгляд, точки зрения, отказывающие в праве на существование «внелингвистическим областям поэтики» или, наоборот, рассматривающие лингвистическую поэтику лишь как вспомогательную литературоведческую дисциплину. Тем более необходимо, чтобы подлинно научные контакты между лингвистикой и поэтикой развивались в обстановке доброжелательства и взаимопонимания.

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

О ПОНЯТИИ ПАРАДИГМЫ В ФОРМООБРАЗОВАНИИ И СЛОВООБРАЗОВАНИИ

Е. С. КУБРЯКОВА, П. А. СОБОЛЕВА

Область референции термина «парадигма» в истории языкознания долго оставалась неизменной. Введенный в античной грамматике для обозначения образца видоизменения одного и того же слова, он относился прежде всего к совокупности форм спряжения или склонения одного типа. Выступая в значении 'показ, копия для подражания', этот термин служил для отражения правил нормативной грамматики и описания набора форм, характерных для определенной части речи и представляющих известные классы внутри этих частей речи. Таким образом, с начала своего появления термин связывался с грамматическими группировками слов в описываемом языке и с обнаружением внутри этих группировок определенных черт упорядоченности регулярности.

Парадигма как схема представления совокупности форм одного слова могла записываться или демонстрироваться двумя способами: представлением набора форм одного выбранного в качестве образца конкретного слова, каждая из которых выступала как самостоятельная единица (ср. *стол — стола — столу* и т. п.), или же отдельным представлением константной и переменных величин в каждом записываемом звене парадигмы (ср. *стол — стол-а — стол-у* и т. п.). Первое отвечало более идее автономности каждого отдельного употребления слова и холистическому восприятию его отдельных форм, второе — идее инвариантного начала в построении парадигмы и выделению в ней меняющихся черт при наличии противопоставленной им константной (ядерной) величины.

По-видимому, именно этот второй способ представления парадигмы мог быть позднее переосмыслен как отражение путей складывания каждой из форм парадигмы, т. е. генеративно[1]. Можно говорить, соответственно, о статическом или же динамическом прочтении парадигмы и утверждать, что способ регистрации форм

[1] Ср. понятие «формационного» и «трансформационного» аспектов парадигмы: *Блох М. Я.* Проблемы парадигматического синтаксиса (на материале английского языка). Докт. дис. М., 1977.

одного слова в виде упорядоченной их совокупности служил одновременно и констатации существующих правил в данном языке, и образцом для создания и образования аналогичных форм. Неоспоримым достоинством представления тех или иных форм в виде парадигмы является, таким образом, возможность использовать парадигму не только для фиксации грамматических значений, определяющих обязательные для слов данного разряда грамматические видоизменения и не только используемые в этих целях конкретные формативы, но и для собственно динамического отражения способа возникновения отдельной формы.

Парадигма выступает, таким образом, в качестве такой микроструктуры, которая, с одной стороны, описывает модус существования форм слова (слову данного разряда предписывается образование его форм по заданному образцу), но которая, с другой стороны, описывает и результат процесса и самый процесс образования каждой отдельной формы. При необходимости в объяснении парадигмы может поэтому преобладать как анализирующее начало (например, при реконструкции праформ в сравнительной грамматике), так и начало синтезирующее (в нормативных грамматиках).

Наблюдения над строением парадигмы не могли не привести исследователей к мысли о том, что представляемые ею единицы демонстрируют отношения разных типов: по горизонтали, с одной стороны, и вертикали,— с другой, и что первые отражают связи между отдельными частями формы, а вторые — связи между формами как таковыми. Эксплицитное описание различия двух этих типов лингвистических отношений принадлежит Ф. де Соссюру, распространившему понятие о двух названных типах отношений на широкий круг языковых явлений, выходящих за пределы парадигмы.

Самим Ф. де Соссюром указанные отношения были противопоставлены как синтагматические ассоциативным: первые определялись как отношения, наблюдаемые между элементами языка, образующими одновременно определенную последовательность или синтагму; вторые определялись, напротив, как наблюдаемые между связанными, но не суксессивно объединяемыми элементами языка. Одни были отношениями in praesentia, другие — in absentia, одни наблюдались как «горизонтальные» между сосуществующими элементами, другие — между сменяющими друг друга в вертикальной плоскости. Позднее эти отношения получили название синтагматических и парадигматических — последние по их наличию в пределах парадигмы. В свою очередь это дало возможность трактовать парадигму более широко — как объединение единиц, которые связаны между собой ассоциативной связью.

Естественно, что такое расширительное понимание парадигмы давало возможность перенести это понятие на самые разнород-

ные совокупности или наборы единиц, которые, проявляя черты сходства в одном отношении, ассоциируются друг с другом независимо от существующих между ними различий и которые, ассоциируясь, воспринимаются как представители и разновидности одного и того же, как экспоненты и модификации одной сущности. О парадигмах стали говорить не только в морфологии, но и в синтаксисе [2], лексике [3], словообразовании [4]. Понятие парадигмы стало постепенно использоваться для описания любых мало-мальски упорядоченных и системно организованных фрагментов языка на всех уровнях его строения. Более того. В значении целостного набора черт или упорядоченного объединения связанных между собой характеристик понятие парадигмы вышло за пределы лингвистики и было включено в арсенал категорий, важных для описания истории науки.

Если Т. Кун впервые использует понятие парадигмы для объяснения главного содержания и причин научных революций, ибо последние предполагают резкую смену одной совокупности «наиболее общих идей и методологических установок, определяющих как выбор проблем, так и принципиальные способы их решения» на другую [5], то такие лингвисты, как Т. Шебек, Э. А. Макаев, Р. Бота и нек. др. описывают в терминах замены одной парадигмы научного мышления другою историю лингвистики [6], используя это понятие, в частности, для характеристики тех радикальных перемен, которые коснулись лингвистики при переходе от этапа сравнительно-исторических исследований к структурным, а от структурных — к генеративно-порождающим.

Нетрудно видеть, что во всех этих работах понятие парадигмы, каким бы широким или даже расплывчатым оно ни оказывалось, отвечает всюду представлению о неких целостных и системно организованных совокупностях и его использование всюду

[2] См., например: *Шведова Н. Ю.* Парадигматика простого предложения.— В кн.: Грамматика современного русского литературного языка. М., «Наука», 1970 с. 576—595.

[3] См., например: *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., «Наука», 1973, с. 105 и след.

[4] *Земская Е. А.* О парадигматических отношениях в словообразовании.— В кн.: Русский язык: вопросы его истории и современного состояния. М., «Наука», 1978.

[5] См.: *Кун Т.* Структура научных революций. М., «Прогресс», 1975, с. 262 (где он сам признает: «По-видимому, понятие парадигмы как конкретного достижения, как образца является... моим вкладом в разработку развития науки»). См. также: *Родный Н. И.* Проблема научной революции и концепции развития науки Т. Куна.— В кн.: Концепции науки в буржуазной философии и социологии. М., 1973, с. 44—45; *Masterman M.* The nature of a paradigm.— In: Criticism and the growth of knowledge. Cambridge, 1970.

[6] Ср.: *Botha R.* The justification of linguistic hypothesis. The Hague, 1973; *Макаев Э. А.* Общая теория сравнительного языкознания. М., «Наука», 1977, с. 8 и сл.; *Lightner T. M.* The role of derivational morphology in generative grammar.— Language, v. 57, 1975, N 3, с. 635.

связано со стремлением обнаружить в изучаемых явлениях такие наборы связанных между собой черт, которые отразили бы в компактном виде присущие данному явлению свойства упорядоченности, системности, регулярности. Можно утверждать поэтому, что распространение понятия парадигмы, само по себе не всегда плодотворное или целесообразное, в конечном счете оказывалось тем не менее весьма важным для осмысления общих закономерностей в организации и функционировании системных объектов и для выявления релевантных признаков этих объектов.

В настоящем сообщении мы хотим остановиться более подробно не столько на вопросе о том, целесообразно или нет в принципе столь расширительное распространение понятия с достаточно неопределенными границами, сколько на более конкретном вопросе о возможности применения этого понятия в словообразовании, особенно по отношению к такой единице, как словообразовательное гнездо или какие-либо из его компонентов[7]. Для вынесения заключения по этому поводу мы проанализируем, какие признаки этого понятия соответствуют или же не соответствуют признакам, приписываемым словообразовательному гнезду. Естественно, что при таком подходе отправным моментом сравнения становится установление главных признаков самого понятия «парадигма» в его канонической форме, т. е. при его применении в области словоизменения или шире — формообразования. Поскольку общепринятые определения этого понятия включают далеко не все его признаки[8], а само понятие и в выбранной сфере знания может трактоваться по-разному, предпошлем даваемому ниже сравнению таких объектов исследования, как морфологическая парадигма, с одной стороны, и словообразовательное гнездо, с другой, перечисление обязательных признаков морфологической парадигмы.

По нашему мнению, морфологическая парадигма, представляющая собой в общем виде образец системы форм одного слова, т. е. совокупность организованных определенным образом словоформ, реализующих одно слово, характеризуется следующими обязательными признаками[9]:

---

[7] *Мигирин В. Н.* Опыт построения классификаций, прогнозирующих развитие местоимений и словообразовательной парадигмы.— Филологические науки, 1973, № 3 (75), с. 72; *Тихонов А. Н.* Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря современного русского языка. Курс лекций. Самарканд, 1971, с. 29—31.

[8] Ср., например: Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 367—369; *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966, с. 310.

[9] В краткой форме эти признаки были перечислены в соответствующей статье БСЭ, а также в работе: *Кубрякова Е. С.* О соотношении парадигматических и словообразовательных рядов в германских языках.— В кн.: Историко-типологические исследования морфологического строя германских языков. М., 1972, с. 179 и сл.

1 — наличием константной лексемы, выражающей в парадигме идею тождества слова самому себе во всех его видоизменениях, и переменных формантов, выражающих все связанные с видоизменениями слова не-лексические преобразования; все преобразования, фиксируемые в парадигме, описываются по отношению к остающейся без изменения лексеме;

2 — наличием константного набора грамматических значений, облигаторного для каждой из фиксируемых форм парадигмы и повторяемого от формы к форме с обязательным изменением одного из них в остающемся константным наборе (так, в парадигме русского существительного обязательно выражение грамматических значений рода, числа и падежа; внутри этого константного набора от формы к форме меняются числовые и падежные значения, но сам набор значений как таковых не меняется); можно, соответственно, говорить о наличии в константном наборе грамматических значений обязательного соотношения между постоянными и переменными величинами, вследствие чего парадигма фиксирует именно переменные величины по отношению к постоянным, принимаемым вместе с лексемой за исходные (так, исходными грамматическими значениями для морфологической парадигмы являются прежде всего значения частей речи, а также организующие парадигму такие значения, как числа и падежи, лица и времена и т. п.);

3 — фиксированным количеством переменных грамматических значений, создающих определенное число мест или позиций в парадигме, что делает парадигму закрытым рядом форм с точным числом членов данного объединения;

4 — для выражения каждого из грамматических значений (или их набора) в парадигме существует специальный формант, благодаря чему в каждой позиции парадигмы существует одно-однозначное соответствие между выражаемым данной формой значением и ее структурой; по отношению к единице, принимаемой за исходную (т. е. лексеме), все члены парадигмы создаются обычно применением равного количества формальных операций;

5 — отношения производности, фиксируемые парадигмой, связывают каждый из ее членов с единицей, принимаемой за исходную, но их может не наблюдаться между отдельными формами парадигмы (так, косвенные падежи не «выводятся» друг из друга, а форма 2 л. глагола вряд ли может рассматриваться как производная от 3 л.).

Итак, понятие морфологической парадигмы предполагает наличие ядерной, исходной единицы, остающейся тождественной во всех преобразованиях. Жесткие ограничения существуют как относительно константных, так и относительно переменных величин и их соотношений. Предполагается известная рядоположенность всех членов парадигмы, так как каждый из них может быть пред-

ставлен как результат сложения лексического значения исходной единицы и грамматического значения форманта[10]. Члены парадигмы выступают как равные манифестации одной и той же сущности в разных проекциях.

Перечислив кардинальные признаки морфологической парадигмы, мы можем поставить вопрос о том, не характерны ли те же самые признаки и для словообразовательного гнезда, которое, как одна из основных единиц системы словообразования, может быть определено как совокупность однокоренных (с синхронной точки зрения) слов, иерархически упорядоченных отношениями синхронной словообразовательной производности, как непосредственной, так и опосредованной[11].

Вполне очевидно, что по целому ряду оснований сравнение словообразовательного гнезда и морфологической парадигмы представляется далеко не бесполезным. И то, и другое — группировки образований, связанных между собой общностью корня (основы); и то, и другое — группировки упорядоченные, отражающие объективно существующие в языке связи. Таким образом, на определенном уровне абстракции две сопоставляемых единицы могут, несомненно, рассматриваться как изоморфные. Изоморфизм же их проявляется прежде всего в том, что обе они констатируют, выявляют и описывают структурно-семантические модификации единицы, принимаемой за исходную. Парадигма представляет собой совокупность всех видоизменений слова, называемых его формами, гнездо — совокупность всех видоизменений слова, называемых его производными. Несмотря на очевидное различие самих этих видоизменений, не вызывает сомнения, что и то и другое понятия описывают схемы порождения или деривации вторичных единиц, базирующихся на одной исходной единице и тем самым ассоциирующихся с этим исходным словом, а следовательно, находящихся в парадигматических отношениях с этой исходной единицей.

Используя понятие «больших» и «малых», или же «полных» и

---

[10] См., вместе с тем, о затруднительности получения чисто аддитивным способом семантики видовых форм: *Гловинская М. Я.* О некоторых трудностях в изучении семантики видов.— Болгарска русистика, 1977, № 3, с. 35—44, по поводу чего см. ниже, с. 13 и след.

[11] Ср.: *Соболева П. А.* Моделирование словообразования.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., «Наука», 1972, с. 202—204; *Soboleva P. A.* Derivational structure of the russian lexicon.— Trends in soviet theoretical linguistics. Dordrecht, 1973, с. 84; *Соболева П. А.* Аппликативная грамматика и моделирование словообразования.— Автореф. докт. дис. М., 1970; ср. также: *Гинзбург Е. Л.* Исследования структуры словообразовательных гнезд.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973, с. 146; *Он же.* Понятие словообразовательного гнезда.— В кн.: Проблемы структуры слова и предложения. Пермь, ПГУ, 1974, с. 35—40 и др.

«частичных» парадигм [12], можно было бы продолжить наше сравнение и указать, что в целом понятие гнезда конгруэнтно понятию большой парадигмы, а понятие отдельных ступеней гнезда (на первом, втором, третьем и других шагах деривации) — понятию малых парадигм. Иными словами, изоморфизм сопоставляемых единиц можно было бы усмотреть и в том, что аналогично составленности полной парадигмы (например, глагола) из определенного набора частичных парадигм (например, временных и модальных), словообразовательное гнездо складывается из единиц, объединения которых соответствуют отдельным ступеням их производности. Немаловажно, наконец, отметить и то, что все типы преобразований, фиксируемых и в гнезде, и в парадигме, описываются в конечном счете с помощью одного и того же понятия — понятия формальной операции или же деривационного шага, который есть тоже не что иное, как применение формального средства в определенных смысловых целях. Ясно также, что и понятие гнезда и понятие парадигмы, описываемые как результаты применения определенных формальных операций, вводятся для того, чтобы отразить регулярный характер наблюдаемых структурно-семантических преобразований какой-то единицы и, следовательно, для того чтобы упростить и, главное, обобщить и систематизировать факты языка.

Нетрудно показать, однако, что при существовании указанных черт изоморфности, подлинная природа этих единиц все же различна и сравниваемые единицы обнаруживают далеко идущие расхождения. Расхождения эти выявляются, собственно, при попытке применить любой из описанных выше признаков парадигмы к гнезду или даже к какой-либо его отдельной части.

Так, например, хотя, казалось бы, и в гнезде можно выделить такую единицу, вершину гнезда, по отношению к которой описываются все прочие преобразования и которая остается тождественной самой себе во всех этих преобразованиях, нельзя не признать, что поведение вершины гнезда относительно его остальных членов в принципе не соотносительно с поведением корня (или морфологической основы) относительно своей парадигмы. Ведь любое значение корня проходит затем по всей парадигме. Так, трудно представить себе значение существительного, которое, будучи зафиксированным у него в именительном падеже, не может быть затем повторено в родительном или дательном падежах, или значение глагола, которое, будучи зафиксированным в настоящем времени, не может встретиться далее в прошедшем или будущем.

---

[12] Ср. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 367; *Гухман М. М.* Грамматическая категория и структура парадигм.— Исследования по общей теории грамматики. М., 1968.

В гнезде, однако, такая ситуация не только вполне реальна, но и достаточно обычна: в разных производных гнезда нередко фиксируются выборочно одни значения вершины, но не фиксируются другие. Так, уже на первой ступени деривации прилагательное *старый* мотивирует производные *старик, старина, старье*, из которых первое мотивируется значениями ‘немолодой, пожилой, достигший преклонного возраста’, второе — значениями ‘давний, прежний, не современный’, а третье — значениями ‘ветхий, бывший в употреблении’. Константности лексических значений основы в морфологической парадигме не соответствует возможность игры разных значений вершины гнезда в его дериватах. Очевидно, что такие отглагольные имена, как *быт, бытие* или *ход, ходьба, хождение,* сохраняют разные значения своего единого источника, глаголов *быть* и *ходить,* так же как и такие отыменные глаголы, как *синить, белить, хорошеть* и пр.

Хотя, несомненно, в каждом производном одного и того же гнезда отражаются значения его вершины, нельзя вместе с тем утверждать, что все они дублируют некий набор исходных значений (как это делает морфологическая основа): выведение некоего инварианта значения для производных одного гнезда (при многозначности его вершины) вряд ли возможно. Тождество словообразовательного гнезда существует и сохраняется не столько благодаря тождеству набора значений у его вершины и у всех производных, но благодаря сохранению каких-либо компонентов из этого набора (нередко — одного-единственного, соответствующего прямому номинативному значению вершины) у какого-либо из производных гнезда. Любая форма слова может быть представлена аддитивно, т. е. как результат сложения значения исходной лексемы со значением/значениями формантов. Производные одного гнезда, однако, представляют собой последовательности, лексическая часть которых оказывается повторением лишь одного из множества значений исходной для него лексемы.

Симметрии смысловых структур форм одного слова противостоит асимметрия смысловых форм вершины гнезда и мотивированных ею производных. Это общее положение, выдвинутое нами ранее [13], находит свое подтверждение и при более детальном рассмотрении парадигмы, с одной стороны, и гнезда, с другой. Иначе говоря, в общем случае верно, что формы одного и того же слова (т. е. представители одной парадигмы) характеризуются смысловыми структурами, оказывающимися симметричными относительно друг друга и что «одну форму может отличать от другой формы того же слова то и только то обобщенное грамматическое значе-

[13] См. подробнее: *Кубрякова Е. С.* О формообразовании, словоизменении, словообразовании и их соотношении.— Изв. АН СССР, ОЛЯ, т. 35, 1976, вып. 6, с. 523—525.

ние, по которому они противостоят друг другу как разные формы этого слова» [14].

Развивая эти идеи, можно было бы, казалось, говорить об обязательности асимметрии смысловых структур у единиц одного гнезда в противовес обязательности симметрии смысловых структур у единиц одной парадигмы. Однако более детальное изучение фактических данных заставляет нас задуматься над тем, какие смысловые структуры могут рассматриваться как тождественные и не оказываются ли выдвинутые нами требования чересчур жесткими для таких, например, грамматических категорий, как число существительного или вид глагола. Ведь несомненно, что формы ед. и мн. ч. существительных, явно образующие одну парадигму с формальной точки зрения, могут тем не менее семантически расходиться [15].

Так, существительное *слово* означает в ед. ч. 1) языковую единицу [*подчеркните в абзаце первое слово*] *и* 2) речь (*прошу слова; вступительное слово*). Причины, по которым *слово* в последнем случае не имеет мн. ч., ясны (собирательные существительные мн. ч. не образуют и, следовательно, эта особенность асимметрии может быть оправдана существованием единого правила), но «асимметрия» смысловых структур на этом не кончается. Во мн. ч. у рассматриваемой единицы появляется значение ‘текст вокального произведения’ (*романс на слова Тютчева*) и что перед нами — новая лексическая (производная) единица или же форма мн. ч. «того же» слова неясно. Аналогичный вопрос возникает и в связи с рассмотрением мн. ч. некоторых отглагольных имен (ср. *бег* и *бега́*, *схватка* и *схватки*, *скачка* и *скачки*, *сбережение* и *сбережения* и т. п.) [16].

Аналогичные расхождения в строении смысловых структур могут наблюдаться и при образовании вида: так, «глагол *раздирать* не соотносится с глаголом *разодрать* в значениях ‘вызывать внутренний разлад’ (*общество раздирают противоречия*) и *терзать*, ‘причинять боль, вызывать мучение’ (*печаль раздирает душу*)» [17]. Ср также *заблудиться* ‘потерять дорогу’ и *заблуждаться* ‘ошибаться’. В осмыслении подобных явлений можно пойти двумя разными путями: 1) признать, что указанные явления не принадлежат более грамматике (формообразованию), но должны быть отнесены к словообразованию [18] или 2) продолжая считать, что

[14] *Кубрякова Е. С.* Асимметрия смысловых структур и отграничение словообразования от других типов морфологической деривации.— В кн.: Русский язык: вопросы его истории и современного состояния. М., 1978.

[15] См.: *Соболева П. А.* Лексикализация множественного числа и словообразование (наст. сб., с. 47).

[16] Там же.

[17] *Авилова Н. С.* Вид глагола и семантика глагольного слова. М., 1976, с. 36.

[18] Отнесение видовых форм к словообразовательным было распространенным явлением в отечественной грамматической традиции: см., например:

вид и число представляют собой грамматические категории, изменить критерии тождества слова.

Хотя окончательное решение этой проблемы выходит за рамки настоящей работы, думается, что в последнем случае следовало бы определить точно, какой именно диапазон семантических расхождений не препятствует осознанию единства слова и сохранению словом тождественности самому себе. Вполне возможно, что тождества слова не разрушает регулярная для данного языка полисемия, т. е. многозначность, возникающая в результате регулярно моделируемых (и предсказуемых) сдвигов значения — определенных типов метафор, метонимий, синекдох и т. п.[19] Так, *слова́* в значении 'текст вокального произведения' явно связаны со значением 'единица речи' и являются обычной синекдохой (часть — целое), а в паре слов *заблудиться — заблуждаться* обнаруживается единое значение 'потерять дорогу', только во втором случае метафора переносит его в сферу нравственных действий (ср. *потерять вещи* и *потерять мысль, теряться в толпе* и *теряться в догадках* и т. п.).

Естественно, что в том случае, когда одна из материально сходных единиц не может быть представлена как «семантически выводимая» из другой по известным правилам, их нельзя рассматривать в составе одной и той же парадигмы (ср. *очко* и *очки* или *осади́ть — осажда́ть*). Оставляя поставленный вопрос открытым, мы хотим подчеркнуть тем не менее, что для признания слова тождественным самому себе чрезвычайно важны живые семантические связи между отдельными его формами, а этому, по всей видимости, не препятствует определенный диапазон варьирования лексических значений слова в рамках регламентируемой данным языком моделируемой полисемии. Важно отметить вместе с тем, что такое варьирование значений, отражаемое в виде разных зна-

Дурново Н. П. Грамматический словарь. М., 1924, с. 109; *Аванесов Р. И., Сидоров В. Н.* Очерк грамматики русского литературного языка. М., 1945, с. 168; *Поливанов Е. Д.* Русская грамматика в сопоставлении с узбекским языком. Ташкент, 1934, с. 117; *Karcevski S.* Système du verbe russe. Prague, 1927, с. 95—96; *Авилова Н. С.* Указ. соч., с. 37 и 144.— В современной аспектологии, однако, большинство исследователей относит видообразование к грамматике. Что же касается категории числа существительных, то и тут имеется традиция рассматривать ее не как словоизменительную категорию, а как словообразовательную. См., например: *Дурново Н. П.* Указ. соч., с. 142; *Фортунатов Ф. Ф.* Избранные труды, т. I. М., Учпедгиз, 1956, с. 182; *Кузнецов П. С.* О принципах изучения грамматики. М., МГУ, 1961, с. 95 и др. См. также: *Виноградов В. В.* Словообразование в его отношении к грамматике и лексикологии.— В кн.: Избранные труды. М., «Наука», 1975; *Кубрякова Е. С.* Асимметрия смысловых структур...; *Соболева П. А.* Множественное словоизменительное и множественное словообразовательное. Иерархия значений.— В кн.: Лексикографический сборник. М., 1978.

[19] Подробнее см.: *Соболева П. А.* Лексикализация множественного числа и словообразование (наст. сб., с. 47).

чений у разных форм одного слова, в принципе отлично от выбора одного из значений многозначной вершины гнезда его производными.

Семантическое различие между членами морфологической парадигмы и членами словообразовательного гнезда сказывается поэтому и в различном устройстве смысловой структуры дериватов и в различном характере связи значений между ними и ядром. Для смысловой структуры словообразовательных дериватов весьма характерна опосредованная связь значений ядра [20]. Например, *снежок* значит 'легкий снег' (*выпал снежок*) и 'небольшой, плотно скатанный комок снега' (*запустить снежком*). Оба значения вполне независимы, но связаны между собой опосредовано через значение ядра *снег* 'вид атмосферных осадков'. Глагол *белеть* имеет два значения: 'становиться белым' (*лицо побелело*) и 'выделяться' (о чем-то белом, *белеет парус*). Оба значения равноправны и независимо соотносятся с прилагательным *белый*. Между прочим, в Словаре омонимов русского языка О. С. Ахмановой два значения глагола *белеть* трактуются как омонимы [21].

Прилагательные *агатовый, абрикосовый, бархатный* и др. имеют два типовых равноправных независимых значения: 'сделанный из' и 'похожий на': *агатовый перстень* и *агатовые глаза, абрикосовое варенье* и *абрикосовые занавески, бархатный диван* и *бархатный голос* и т. д.

Опосредованный характер связи значений производных можно рассматривать как языковую универсалию. Ср., например, в английском языке to stone от stone 'камень', 'косточка плода' может значить 'складывать стену', 'бросать камнями' и 'вынимать косточки из плодов'; to water от water 'вода, жидкость' может значить 'поить кого-л, поливать (растения)', и «сплавлять бревна по воде'.

Французский отыменный глагол embarquer от barque 'лодка' среди своих значений имеет 'грузить судно', 'сесть на судно' и 'хлестать через борта (о волнах)', embarrer от barre 'брус, засов, задвижка' — 'подсовывать рычаг (под тяжесть, чтобы ее поднять)' и 'запирать на засов' и т. д. Значения производных, как правило, равноправны и связаны между собой только через значения ядра или значения ядра и его других производных [22].

---

[20] См.: *Соболева П. А.* Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии.— ВЯ, 1959, № 2; *Soboleva P. A.* Derivational structure...

[21] *Ахманова О. С.* Словарь омонимов русского языка. М., «Сов. энциклопедия», 1974, с. 24.

[22] См., например: *Кубрякова Е. С., Харитончик З. А.* О словообразовательном значении и описании смысловой структуры производных суффиксального типа.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., «Наука», 1976, с. 217; *Соболева П. А.* Словообразовательные отношения по конверсии между глаголом и отглагольным существительным.— Уч.

Для всех рассмотренных выше случаев и им подобных характерна условно называемая нами «поляризация» значений ядра. Под поляризацией значения ядра мы понимаем соответствие одного значения ядра более чем одному значению производного. Оба явления, т. е. опосредованная связь значений производного и поляризация значений производящего, характерны только для словообразовательной деривации.

При морфологической деривации непосредственная связь значений ядра отображается в непосредственную же связь значений членов морфологической парадигмы. Поляризации значений ядра не происходит.

Влияние семантики исходной единицы парадигмы и вершины гнезда оказывается различным и в другом отношении. Разумеется, в обоих этих случаях семантика ядра накладывает существенный отпечаток на реализацию позиций в анализируемом объединении: на полноту парадигм и разветвленность гнезда. Однако если в морфологии, как мы уже говорили выше, не существует особенностей в строении и реализации стандартных парадигм, которые нельзя было бы сформулировать достаточно общими правилами и потому предсказать [23], то в области словообразования даже в пределах однородных семантических разрядов относящиеся к ним слова образуют гнезда разной конфигурации, разной глубины, разной степени заполнения и разветвленности. Даже в пределах небольших группировок, объединенных наличием общих семантических признаков, большой процент составляют уникальные гнезда [24]. Это свидетельствует не только о нестандартности и нерегулярности гнезд, но и индивидуальном характере их строения. Настолько же, насколько редки индивидуальные парадигмы или парадигмы, образцу которых следуют единичные случаи, часты индивидуальные гнезда. И наоборот: настолько же, насколько распространены обычно регулярные или же стандартные парадигмы, представляющие индуцирующие типы склонения или спряжения, настолько же редки подобные стандартные словообразовательные гнезда. Вот почему при составлении сводных графов гнезд от одной части речи или даже от одной семантической группировки мы сталкиваемся с графом, который а) реально не реализуется ни для одного слова и б) существенно отклоняется по своей конфи-

---

зап. МГПИ им. В. И. Ленина, т. CXXVI, вып. 2. М., 1958; *Она же.* Об основном и производном слове при конверсии.— ВЯ, № 2, 1959.

[23] Ср. рассмотрение вопроса о причинах неполноты парадигмы в работе: *Маркарян Р. А.* Семантическое противодействие в русском формообразовании.— В кн.: Русский язык. Вопросы теории и методики. Ереван, ЕТУ, 1976.

[24] См.: *Бабаджанова Д. А.* Строение словообразовательного гнезда в древнеанглийском языке (на материале глаголов движения). Автореф. канд. дис. М., 1977.

гурации от любого другого гнезда своего класса [25]. Но если гнезда так сильно отличаются своими конфигурациями и общим рисунком, то еще более существенны те различия, которые наблюдаются в заполнении гнезд конкретными производными.

Есть нем. Salz — salzig, но нет Zucker — * zuckerig, есть *шум — шуметь*, но нет *гам* — * *гамить* или *гул* — * *гулить*, есть *лепетать — лепет*, *шептать — шепот*, но нет *бормотать* — * *бормот* и т. п.

В целом отсутствие каких-либо форм в обычной парадигме предсказуемо: так, существительные абстрактной семантики не имеют форм множественного числа, непредельные глаголы не образуют форм совершенного вида, относительные прилагательные типа *треугольный, железный* не образуют кратких форм и т. п. Отсутствие производных в гнезде, как правило, непредсказуемо. Таким образом, несмотря на существование вполне очевидных зависимостей между семантикой ядра и структурой организуемых им парадигмы или гнезда, сам характер этих зависимостей не одинаков. В одном случае он фиксируется строгими и достаточно регулярными правилами, относящимися к тому же к материалу большого объема. В других случаях, напротив, подобные правила носят лишь весьма условный характер, констатируя более потенциальные возможности/невозможности образования тех или иных производных, нежели их реальное наличие/отсутствие. Морфологические правила имеют прогностический характер; наличие или отсутствие каких-либо производных в данном гнезде можно, конечно, объяснить post factum, но предсказания в этой области достаточно общи и неопределенны. Соотношение регулярных и нерегулярных черт в гнезде иное, чем в парадигме.

Нет в гнезде и такого признака парадигмы, как точное число мест или позиций. Глаголы *плавать* и *летать* образуют одинаковое и заранее предсказуемое число словоформ; гнезда от этих глаголов, однако, различны вопреки их парадигматической и семантической близости (смысловая структура этих глаголов различается только по признаку «среда передвижения»). Есть *плавник* и *плавни*, но нет * *плавучки*, нет * *поплава* или * *поплыва* и т. д. Не случайно, что и при синонимии или близости значений вершины гнезда от синонимов расходятся по количеству представленных

[25] Ср., например: *Альтман И. В.* Особенности отглагольных гнезд в русском языке.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., «Наука», 1972; *Гинзбург Е. Л.* Исследование структуры словообразовательных гнезд.— Там же; *Белокриницкая С. С.* Классификация словообразовательных гнезд в русском языке.— Там же; *Альтман И. В., Соболева П. А., Шевчук В. Н.* Сопоставительный анализ отглагольных словообразовательных гнезд в русском и английском языках.— В кн.: Актуальные проблемы русского словообразования. Материалы республиканской конференции. Самарканд, 1972; *Смирнова Г. А.* Типология отадъективных гнезд.— В кн.: Аспекты лингвистического анализа (на материале языков разных систем). М., 1974, с. 429—438 и др.

73848

здесь позиций (подвершин): по данным Е. Л. Гинзбурга, например, в группе глаголов *желать*, *хотеть*, *мечтать*, *алкать*, *жаждать*, *вожделеть*, *стремиться* глагол *стремиться* реализует две позиции производности, глагол *вожделеть* — три, *жаждать* — четыре, *мечтать* — шесть и т. п.[26]

Нет в гнезде, естественно, константного для его производных набора выражаемых значений. Нет и признака конгруэнтности формы и содержания в каждой отдельной позиции объединения. Для образования определенной падежной формы существительного или личной формы глагола существует обычно одно-единственное средство, а при существовании нескольких формативов для выражения одного и того же грамматического значения выбор одного из них для данной конкретной основы строго регламентирован (ср. *столы*, *но леса́*). Для образования однотипных производных на одной ступени производности возможно, однако, использование и одного и нескольких из существующих формантов. Ср. приводимое выше *бой*, *битье*, *биение* или же *читчик*, *читатель*, *чтец* и *игрок*, *игрун*, *игрец*. В конкретной парадигме позиция связана с одним-единственным формантом, в гнезде она характеризуется набором возможных для выражения необходимого значения средств. Использование этих средств не носит к тому же взаимоисключающего характера. Выбор окончания оказывается поэтому автоматическим, выбор словообразовательного средства — довольно широким.

Внутри гнезда нет повторения грамматических значений у его производных, и последние как новые единицы номинации представляют собой смысловые структуры с разными наборами значений: различаясь по принадлежности к разным частям речи, члены одного гнезда демонстрируют также самые разные словообразовательные значения. Очевидно также, что возникновение этих значений может быть связано с применением разного количества формальных операций к исходной единице. Члены гнезда могут выступать и выступают как единицы разных ступеней производности — одной, двух и т. п., но обычно не более пяти. Внутри парадигмы нет, как правило, единиц с таким разнообразием структур.

В то время как парадигма демонстрирует закрытый ряд форм, словообразовательное гнездо представляет собой потенциально развивающуюся систему, способную к дальнейшему расширению и число ее членов исчислимо, однако не конечно именно в виду возможности появления того или иного нового члена.

Мы уже говорили выше, что члены одной парадигмы могут по праву рассматриваться как однотипные и потому рядоположные

[26] См.: *Гинзбург Е. Л.* Исследование структуры словообразовательных гнезд.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., «Наука», 1972, с. 194.

модификации одной сущности, о чем когда-то справедливо писал Бодуэн де Куртенэ [27]. Этой однотипности отношений в парадигме явно противостоит разнообразие типов связей, наблюдаемых в гнезде: последовательно связанные цепочки производных демонстрируют отношения словообразовательной производности и «выводимости» одной единицы из другой, однако, уже между вершиной и производными на второй, третьей и прочих ступенях деривации складываются иные, опосредованные типы связей; еще более сложные типы связей наблюдаются между производными разных ветвей [28].

«В отличие от членов словоизменительных парадигм, — правильно подчеркивает А. Н. Тихонов,— члены словообразовательного гнезда являются семантически и структурно зависимыми друг от друга» [29]. По-видимому, именно это — специфика семантических зависимостей между членами гнезда — и отличает особенно ярко гнездо от парадигмы. В то время как каждый член парадигмы, созданный равным количеством однотипных деривационных шагов, всегда отличается от исходной единицы деривации равным смысловым расстоянием, диктуемым данной парадигмой, применение к вершине (или любой из подвершин) гнезда одного и того же количества однотипных деривационных шагов ведет к разным семантическим последствиям. Так, на одной ступени деривации в отглагольном гнезде могут появиться в одной точке гнезда nomina acti (плаванье), nomina concreta (плавки), nomina agentis (пловец) и т. п. Чтобы отразить в гнезде одно-однозначные соответствия формы и содержания, наблюдаемые в парадигме, требовалось бы ввести в графы изображения гнезд сложные многоярусные схемы. Этот факт отражает хорошо всем известную сложность словообразовательных актов и зависимость этих актов от разнообразных структурных и семантических факторов.

Итак, по всем рассмотренным признакам словообразовательное гнездо не отвечает тем критериям, которые вводились при определении парадигмы. Соответственно, двум этим единицам можно дать дефиниции, ясно показывающие их принципиальное отличие друг от друга. В то время как парадигма может быть определена как такая обобщенная схема представления процесса или результата процесса образования вторичных единиц равной сложности

[27] См.: *Бодуэн де Куртенэ И. А.* «Законы и правила русского произношения» Чернышова В.— В кн.: Избранные труды по общему языкознанию, т. II. М., 1963, с. 143.

[28] Ср.: *Шевчук В. Н.* Некоторые особенности деривационных цепей в английском языке.— В кн.: Военный институт. Сборник статей № 11. М., 1975, с. 80.

[29] *Тихонов А. Н.* Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря..., с. 31; *Аликаева Г. В., Соболева П. А.* Опыт построения словаря гнезд со связанными корнями.— Переводная и учебная лексикография. М., 1979.

от единицы, принятой за исходную, в которой фиксируется конечное число одно-однозначных соответствий между семантической этикеткой позиции и реализующим ее формантом, словообразовательное гнездо выступает как такая схема представления процесса или результата процесса образования вторичных единиц неравной сложности, в которой фиксируется прежде всего принадлежность производных к определенной части речи и степень удаленности каждого из производных от вершины гнезда. Таким образом, если в парадигме все держится на перечислении и отождествлении ее позиций, а каждая позиция существует именно как семантическая этикетка, то в гнезде, также организуемом в принципе набором возможных позиций, позиции этой способностью семантического этикетирования не обладают. Точки гнезда соответствуют лишь формально-категорической характеристике акта деривации и выражают только количество деривационных шагов, необходимых для образования производного данной части речи. Ср. рис. 1, демонстрирующий «этикетки» гнезда:

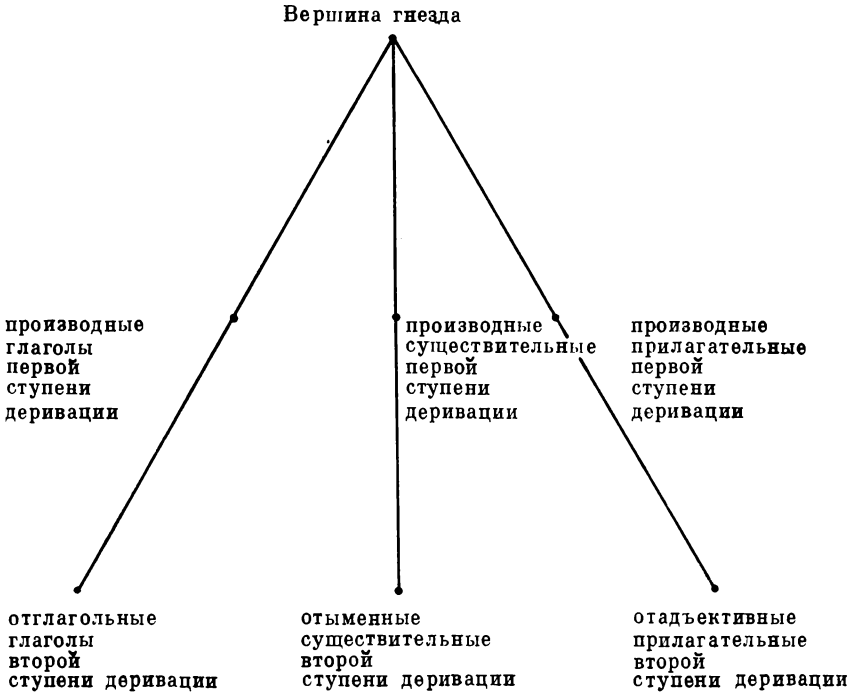


Рис. 1

в отличие от «этикеток» парадигмы, как на рис. 2.

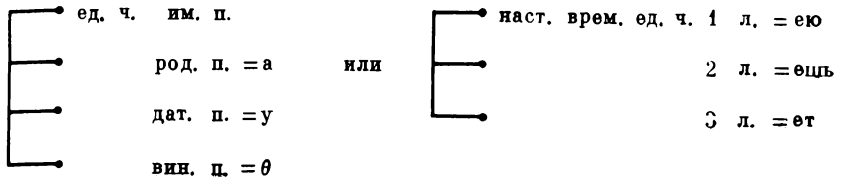


Рис. 2

Для склонения слов типа *стол* или спряжения слов типа *делать* или, если тоже изобразить парадигму относительно ее «вершины» или «ядра», характерно радиальное расположение вторичных форм (рис. 3).

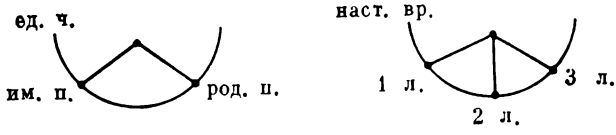


Рис. 3

Из всего сказанного ясно следует, что для того чтобы фиксировать какую-либо парадигму (записать ее), следует изобразить в виде матрицы правило однозначного соответствия определенной семантической (грамматической) этикетки и форманта, реализующего передаваемое ею значение. Возможно ли представление в том же виде словообразовательного гнезда или той его части, которая изоморфна понятию «малой парадигмы», т. е. которая создается единой основой и одинаковым количеством деривационных шагов ? — По-видимому, нет. С одной стороны, это объясняется тем, что если малая парадигма всегда демонстрирует единство форм одной части речи, то гнездо, как мы говорили выше, может объединять и объединяет производные разных частей речи. Производящая основа оказывается в таком случае источником деривации нескольких частей речи. Таким образом, уже на первом такте (ступени) деривации следует отразить это возможное несовпадение результативных образований по их принадлежности к частям речи. Это требует введения в граф или в матрицу четырех исходных позиций [30] (рис. 4, 5).

[30] *Соболева П. А.* Исследование словообразовательной системы на основе аппликативной модели.— Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Тезисы докладов. Тарту, 1967; *Soboleva P. A.* Investigation of a word-building system on the basis of the AGM.— Semiotica, Mouton, N 1. 1970; *Она же.* Derivational structure..., p. 85—103.

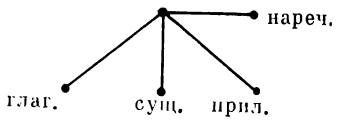


Рис. 4

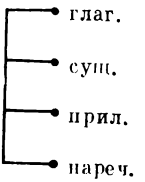


Рис. 5

Ср., например, от прилагательного *старый* (рис. 6).

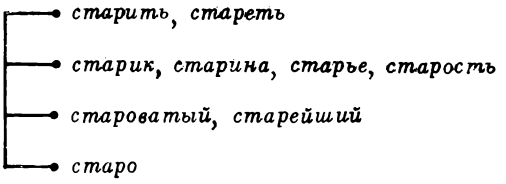


Рис. 6

Не вызывает, однако, сомнения, что записанные таким способом категориальные ряды не могут считаться по праву полными семантическими этикетками, аналогичными «падежам», ибо они требуют дальнейшей спецификации в семантическом плане. Так, среди глаголов от прилагательных явно выделяются классы глаголов со значением ‘каузировать, вызывать появление обозначенного признака’ (*старить*) в противовес классу со значением ‘приобретать обозначенный признак’ (*стареть*) или ‘выявлять этот признак’ (*зеленеть*). Среди деадъективных существительных могут быть выделены имена действующего лица, имена состояния и пр. В итоге матрица должна приобрести многоярусную форму, чуждую форме парадигмы, т. е. нечто вроде:

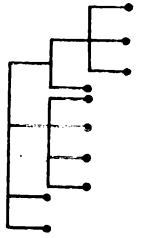


Рис. 7

Однако и такая форма матрицы не является окончательной, ибо в случае конечного разбиения форм (как для парадигмы) мы должны

указать при каждой позиции реализующий ее формант. Для словообразования же существование одного и только одного форманта для выражения определенного значения достаточно не типично.

Нельзя не отметить также, что выделяемые при таком «парадигматическом» подходе деривационные группировки не обладают достаточно четкими структурно-семантическими границами (так, на первой ступени деривации от глагола *плавать* будет образовано nomina agentis *пловец,* которое войдет в описываемую группировку, но связанное с ним производное *пловчиха* не может рассматриваться как входящее в ту же группировку, ибо оно образовано уже не от основы *плов-/плав-* и создано в результате применения не одного, а двух шагов деривации.

Итак, даже на первой ступени деривации запись в словообразовательном гнезде требует детализации по крайней мере в трехчетырех измерениях. Возможность представления словообразовательного гнезда в виде сетки семантических этикеток, конечно, не исключается, но сама «многомерность» такой записи подсказывает, что акты словообразования и акты формообразования различаются по своей сложности и по своей зависимости от разного количества факторов.

Простой упорядоченности явлений внутри парадигмы явно противостоит иерархическая организация гнезда: не случайно, что порядок следования ряда позиций в парадигме достаточно условен и подчинен более норме и традициям, чем обязательной логике проведения соответствующих актов деривации (так, например, в исландской грамматике следующим после именительного падежа нередко записывают винительный, а не родительный, а формы двойственного числа могут описываться либо после описания единственного, либо после описания множественного числа). Очевидно, однако, что принятая поступенчатая запись гнезда отражает его объективно существующее свойство — последовательность в возможности проведения определенных актов деривации и, следовательно, строгую иерархию самих отношений производности на последовательно располагаемых ступенях деривации. Словообразовательное гнездо, следовательно, выступает в принципе как единица более сложной архитектоники, как системное объединение более сложного порядка, чем парадигма.

ТИПОЛОГИЯ ГНЕЗД И СООТНОШЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ПРОИЗВОДНЫХ

Е. Л. ГИНЗБУРГ

ТИПОЛОГИЯ ГНЕЗД С НЕПРОИЗВОДНЫМИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЧАСТИ РЕЧИ

А. Наиболее компактное описание совокупности словообразовательных гнезд легко получить, если про каждое из них известно:

1) какие слова непроизводны, первообразны, менее других обусловлены контекстом, замещают в предложении другие однокоренные слова в их первичных синтаксических функциях с наименьшим изменением смысла предложения (с наименьшими преобразованиями его структуры и наименьшим числом новых лексем);

2) какой части речи принадлежит каждое слово гнезда. Это значит, что про каждое гнездо можно сказать, есть ли в нем производное существительное (N), производное прилагательное (A), производное наречие (D) и производный глагол (V).

При наличии подобных исходных данных возможные типы гнезд — это множество всех подмножеств множества категорий производных. Система словообразовательных гнезд может быть описана в этом случае таблицей, где имена столбцов — это имена категорий производных, а строчки — типы гнезд, при этом «—» на пересечении i-той строчки и j-того столбца следует понимать как утверждение о том, что для гнезд i-того типа характерно отсутствие производных j-той категории, а «+» — как утверждение о том, что для гнезд i-того типа характерно наличие производных j-той категории. Если в наблюдаемой совокупности гнезд гнезда i-того типа есть, то против описания i-того типа гнезд в виде последовательности «+» и «—» указываются индексы этих гнезд, например, непроизводные слова из гнезд i-того типа.

Предлагаемый формат описания отличает ориентация на устройство совокупностей гнезд, на изучение отношений вначале между классами гнезд и только после этого отношений между отдельными гнездами — членами классов. Этот шаг в анализе гнезд и системы гнезд требует более тонкого изображения состава лексических гнезд. Он может состоять в характеристике словообразовательных гнезд каждого типа исходя из того разнообразия подкатегорий производных, которое обязано учету деривационной истории лексической единицы.

Этот способ и эта стратегия описания применимы и тогда, когда словообразовательная система изучается как таковая, и тогда, когда исследуется ее взаимодействие с лексической системой, т. е. в том случае, если рассматриваются отношения производности только между лексемами, или лексико-семантическими вариантами слов.

Область его использования естественно ограничена теми свойствами лексических единиц, которые определяют сопоставимость каждой из них с любой другой, т. е. нелокальными свойствами слов и лексем. Им можно воспользоваться для сравнения совокупностей гнезд как одного и того же, так и разных языков. Он является той формой организации изучаемого материала, которая позволяет сосредоточиться на обсуждении следующих тем:

1. Какие сочетания категорий производных допустимы в гнездах с первообразными некоторого фиксированного грамматического или лексического класса, а какие нет? Какие из них могут рассматриваться в качестве основания устойчивости данной совокупности гнезд, а какие выражают ее динамический потенциал? Каковы связи между типами гнезд и как эти связи организованы? Каковы центр и периферия, базисы совокупности типов гнезд и возможные расширения каждого из них?

2. Как соотнесены категории производных в словообразовательных гнездах? Иначе говоря, каким требованиям должны отвечать словообразовательные гнезда, чтобы принадлежать системе гнезд, описываемой данной таблицей типов?

Именно этот последний круг вопросов и является предметом обсуждения в настоящей статье.

Б. Впервые подобное описание гнезд (Гинзбург 1967) было выполнено для гнезд, содержащих сложные слова на -ø типа *солевар* или *бракодел*, см. табл. 1. Рассмотрим, как связаны категории производных, в данном случае производных сложных слов.

А. Ф. Журавлев (устное сообщение) отметил, что эта совокупность типов гнезд симметрична относительно глагола: каждому типу гнезда с производным глаголом найдется тип гнезда, где производного глагола нет. Производный глагол — категориальный, дифференцирующий компонент словообразовательного гнезда. Идентифицирующие, «презумптивные» компоненты словообразовательного гнезда, производные существительные, прилагательные и наречия, иерархически организованы.

Если в гнезде нет производных наречий, то в нем может быть любая комбинация производных существительных, прилагательных и глаголов. Если же в гнезде есть производные наречия, то в нем есть производные существительное и прилагательное. Производное существительное и прилагательное в гнездах со сложнопроизводными словами типа *солеварня* являются базисными конституентами. Производные наречия принадлежат к такому расширению этого ядра, которое, отдавая предпочтение комбинации производных существительных и прилагательных, маркирует ее как определяющую.

Отметим также, что если в гнезде представлены производные только т р е х категорий, то сосуществуют существительные, прилагательные и либо наречия, либо глаголы. Но, если в гнезде пред-

Таблица 1

Тип гнезд	Пример гнезд	Категории производных в гнездах			
		D	A	N	V
1	Бракодел	—	—	—	—
3	Каменотес	—	+	—	—
5	Сердцеед	—	—	+	—
9	Лоботряс	—	—	—	+
7	Гранатомет	—	+	+	—
11	Водоход	—	+	—	+
13	Коновод	—	—	+	+
8	Буквоед	+	+	+	—
15	Мыловар	—	+	+	+
16	Веролом	+	+	+	+
Функциональная нагрузка категории в системе типов, P(K)		0,2	0,6	0,6	0,5
Функциональная нагрузка в системе производных, Q(K)		0,1	0,32	0,32	0,26

$$P(K) = \frac{\text{Число типов, где используется данная категория производных}}{\text{Число реализующихся типов гнезд}}$$

$$Q(K) = \frac{\text{Число типов, где используется данная категория производных}}{\text{Число употреблений всех категорий в типах гнезд}}$$

Таблица 2

Тип гнезд	Категории производных в гнездах			
	N	A	V	D
1	+	—	—	—
2	+	+	—	—
3	+	+	+	—
4	+	+	—	+
5	+	+	+	+

Таблица 3

Тип гнезд	Категории производных в гнездах			
	N	V	A	D
1	+	+	+	+
2	+	—	+	+
3	+	—	+	—

ставлены производные только д в у х категорий, то производные глаголы находим в сочетании либо с существительным, либо прилагательным, но не обоими, — в этих гнездах нет никогда производного наречия. Наконец, в гнездах, где представлена только о д н а категория производных, ею не может быть категория наречий.

Разные категории производных в организации гнезда играют разную роль, для системы словообразовательных гнезд они не являются равнозначимыми, соотношения их можно рассматривать в качестве ограничений на разнообразие словообразовательных гнезд [1].

Аналогичный смысл имеют и результаты, полученные В. Н. Шевчуком (Шевчук 1973). Обследование гнезд от первой тысячи наиболее употребительных непроизводных глаголов английского языка по методике, предложенной в Гинзбург 1967, позволяет сгруппировать все гнезда в пять типов (табл. 2). Для них верны следующие правила, предлагаемые В. Н. Шевчуком:

1. «Любое отглагольное гнездо в своем развитии прежде всего проходит ступень отглагольного существительного и лишь затем в гнезде появляются слова других лексико-грамматических классов».

2. «Появление в гнезде имени прилагательного всегда предшествует появлению вторичного глагола или наречия». Производный глагол или наречие предполагает наличие производного прилагательного, а это последнее — производное существительное [2].

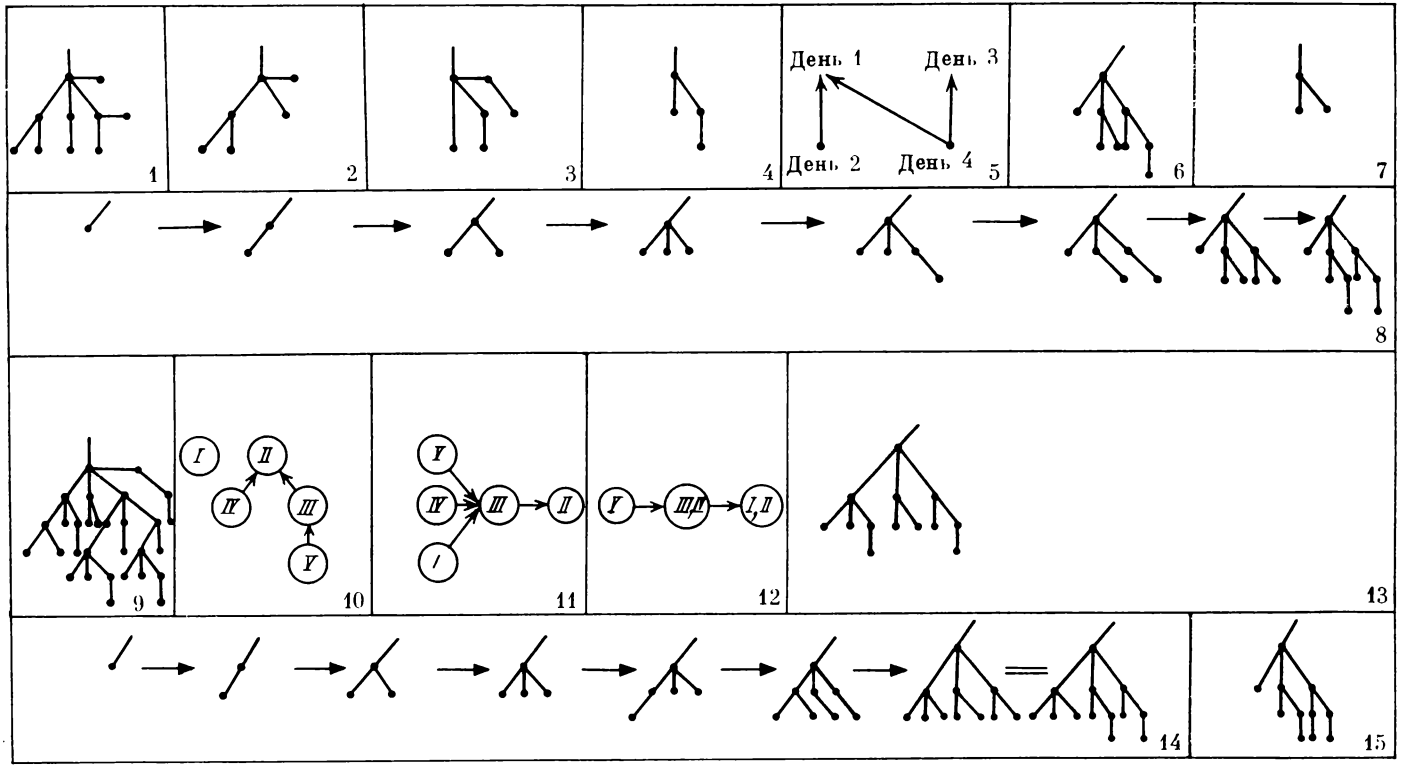
ТИПОЛОГИЯ ГНЕЗД, ОРГАНИЗУЮЩИХ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ОДНОКОРЕННЫХ

Рассмотрим категориальные словообразовательные потенции лексико-семантических вариантов слова *день*. Каждому из этих вариантов соответствует свое словообразовательное гнездо. Каждое из них можно отнести к одной из шестнадцати типологических групп, так что лексическое гнездо для слова *день* — организация словообразовательных гнезд — может быть описана табл. 3.

Гнездо для *день*$_1$ ‘часть суток от восхода до захода солнца’ относится к типу 1, так как включает производные прилагательные, наречия, глаголы и существительные. В терминах аппли-

[1] И как материал для выдвижения гипотез об аксиоматике системы гнезд, если систему гнезд рассматривать как совокупность множества базисных словообразовательных гнезд, правил построения гнезд-дериватов, правил преобразования гнезд и аксиоматики, которой должны удовлетворять эти правила.

[2] Утверждение «Если в отглагольном гнезде есть вторичное отглагольное существительное, то в этом гнезде обязательно должно быть и вторичное прилагательное» (Шевчук, 1973, 23) является ошибочным.


1
2
3
4
День 1
День 3
День 2
День 4
5
6
7
8
I
II
IV
III
V
9
10
V
IV
III
II
I
11
V
III/II
I, II
12
13
14
15

тивной грамматики состав и упорядоченность категорий производных, которым принадлежат лексемы из этого гнезда, могли бы быть описаны так: R_2O *День* $_1$, $R_2{}^2O$ *денек*, $R_2{}^3O$ *денечек*, $R_2R_3R_2O$ *деннища*, $R_2R_1R_2O$ *дневка*; R_3R_2O дневной, *денной*; R_1R_2O дневать, $R_1{}^2R_2O$ передневать; R_4R_2O днем, *обыденкой*, $R_4R_3R_2O$ *денно*. Графическое изображение этого словообразовательного гнезда по способу, предложенному в (Соболева 1967), приводится на рис. 1.

Гнездо для *день* $_2$ 'сутки, промежуток в 24 часа' относится к тому же типу 1, так как включает производные глаголы, существительные, прилагательные и наречия (рис. 2): R_2O *День* $_2$, $R_2R_1R_2O$ *дневка*; R_3R_2O дневной; R_1R_2O дневать, $R_1{}^2R_2O$ *передневать*; R_4R_2O днесь.

Гнездо для *день* $_3$ 'календарная дата, число месяца' относится к типу 2, так как включает только производные существительные, прилагательные и наречия (рис. 3) : R_2O *День* $_3$, R_2O *дневник*, $R_2{}^3O$ *дневничок*, $R_2R_3R_2O$ *поденщик*, *поденщина*, *поденщица*; R_3R_2O поденный, $R_3R_4R_2O$ *намеднишний*; R_4R_2O *поднесь*, *намедни*.

Типологические характеристики гнезда не изменятся, если *поденщица* считать производным от *поденщик*, а не от *поденный*.

Гнездо для *день* $_4$ 'время, пора, период' относится к типу 3 (рис. 4), если допустить, что наряду с *дни* ему принадлежат производные существительные и прилагательные, возводимые к *будни* и *обыденный*, ср., например, Фасмер, 1964, 229, 361; 1971, 111: R_2O *Дни* $_4$, *будни*, $R_2R_3R_2O$ *будничность*, *обыденность*, *обыденщина*; R_3R_2O будний, *будничный*, *обыденный*. В противоположном случае гнездо представлено только первообразным в словообразовательном отношении. (NB: Каково бы ни было решение, оно никак не влияет на связи гнезд с другими лсв слова *день*).

Все категории дериватов из гнезда типа 3 имеют соответствия в гнездах с *день* $_3$ и *день* $_1$, обратное неверно. Все категории дериватов в гнезде с *день* $_2$ имеют соответствия в гнезде с *день* $_1$, обратное неверно. Эта система связей может быть изображена рис. 5. По разнообразию дериватов первообразные упорядочены так, что *день* $_1$>*день* $_3$>*день* $_2$>*день* $_4$. Гнезда таковы, что всюду, где есть производное существительное, есть и производное прилагательное, и обратно; всюду, где есть глагол, есть и наречие, а где есть наречие, есть и прилагательное:

N, A>D>V

Если гнездо с *день* $_4$ исчерпывается только этим лсв, то приведенное соотношение вырождается в оппозицию имен и не-имен, глаголов, т. е.

N, A, D>V

ТИПОЛОГИЯ ГНЕЗД С ПЕРВООБРАЗНЫМИ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ СЛОВ

Аналогично можно описать гнезда для разных значений слов *утро*, *вечер*, *ночь*. Сводка результатов такого описания дана в табл. 4. Для рассматриваемых[3] гнезд характерны следующие соотношения категорий производных: во всех гнездах есть производные прилагательные; всюду, где есть глагол, есть и наречие; всюду, где есть наречие, есть и существительное. Ситуация такая, как если бы в любом гнезде сначала появлялось прилагательное, затем существительное, потом наречие и только после этого глагол:

A>N>D>V

Для каждой изучаемой лексемы соотношения таковы:

День: A, N>D>V

Вечер: A>N>D, V

Утро: A, N>D>V

Упорядоченность категорий производных в гнездах для каждой из лексем ЛСГ отличается от их последовательности для всей ЛСГ тем, что в последнем случае — строгий порядок, а в первом — частичный, при этом для каждой лексемы отклонения свои.

Гнезда от названий флоры, описанные Л. М. Васильевым (Васильев 1964) с учетом материалов Вл. Даля, дают аналогичную картину, см. табл. 5.

Если в гнезде есть производные наречия или производные глаголы, там есть и производные существительные, а если есть производные существительные, то есть и производные прилагательные. Ситуация такая, как если бы для того, чтобы в гнезде было какое бы то ни было производное, в нем должно быть производное прилагательное, к которому нужно добавить производное существительное, чтобы в том же гнезде был производный глагол или производное наречие. Значимость грамматических категорий производных такая же, как и для лексемы *вечер*:

A>N>D, V

Замечания: 1. Будь в гнезде с *ель* еще и производный глагол типа *елеть: Опушка елела молодыми саженцами*, контраст категорий V : D был бы ослаблен, так что в последовательности категорий производных

A>N>D>V.

[3] Для *ночь* и *утро* типы гнезд специфичны, общих типов гнезд нет, их объединение в точности соответствует типам гнезд для *день*. Нет ни одного типа гнезд, который был бы присущ всем лексемам.

Таблица 4

Слова	Типы гнезд для слова в разных его значениях						
	+	+	+	—	·	—	N
	+	—	—	—	·	—	V
	+	+	+	+	·	—	A
	+	+	—	—	·	—	D
День	1	1	1		:		
Ночь	1				:		
Утро		1	1		:		
Вечер	1		1	1	:		

Таблица 6

Гнезда с первообразными:	Наборы категорий производных, порождаемых на i-том шаге деривации, $i > 1$							
	+	+	+	+	+	·	—	N
	+	+	+	—	—	·	—	V
	+	—	—	+	—	·	—	A
	+	+	—	+	+	·	—	D
$Вечер_1$	1	2				·		
$День_1$	1	2				·		
$Ночь_1$	1		2			·		
$Утро_1$				1	2	·		

Таблица 5

Типы гнезд	Есть ли в составе гнезд производные				Гнезда с первообразными:
	N	A	V	D	
I	—	—	—	—	боярышник, куманика, курага, поленика
II	—	+	—	—	айва, костяника, морошка, урюк
III	+	+	—	—	акация, абрикос, бук, гордовина, граб, ежевика, калина, малина, осина, пихта, сирень, смородина, тополь, ясень
IV	+	+	+	—	вереск, крушина
V	+	+	—	+	ель

контраст между соседними членами был бы минимален, а между крайними членами максимален. Типы гнезд как и категории производных, связывала бы одна-единственная градуальная оппозиция, а не система из привативных и эквиполентных оппозиций.

2. Если пренебречь диал. *крушинить* к *крушина* и *вересить* к *вереск*, гнезда с первообразными *вереск* и *крушина* будут того же типа, что и гнезда с *тополь* и *ясень*. Несколько иным будет и соотношение категорий (при отсутствии V(N) от *ель*):

A>N>D>V.

Указанные вариации оставляют неизменными соотношения N и A и этих двух с V и D, от одного описания к другому меняются только соотношения этих двух последних категорий.

КАТЕГОРИАЛЬНЫЙ ОБРАЗ «ДИНАМИКИ» СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ГНЕЗД

А. Ранее были приведены словообразовательные гнезда, которым принадлежат *день* $_1$, *ночь* $_1$, *вечер* $_1$, см. с. 30, 31. У всех этих гнезд глубина два шага; самое сложное производное — это производное третьего такта. Набор категорий производных, принадлежащих каждому i-тому такту порождения, $i \geqslant 2$,— это один из наборов, выписанных в верхней части таблицы 6. Для каждого из перечисленных гнезд, а также гнезда для *утро* $_1$, против данного набора категорий поставим номер того шага деривации гнезда (он равен i — 1), на котором порождаются производные, принадлежащие категориям из этого набора.

По своей динамике гнезда со словами *вечер* $_1$ и *день* $_1$ оказываются идентичными, гнезда с *утро* $_1$ и *вечер* $_1$ (а также *день* $_1$, равно как с *ночь* $_1$ и с *утро* $_1$) оказываются дополнительными.

Для всех гнезд верно, что 1) если в гнезде есть производное прилагательное, есть и производное наречие, но не обратно, и всюду, где есть производное наречие, есть и производное существительное, а также 2) всюду, где есть производный глагол, есть и производное существительное. Схематически система этих соотношений может быть изображена так:

V→N←D←A.

Эта схема преобразуется в схему A→N, V, D для гнезд с *вечер*$_1$ *и день*$_1$; в схему A, D→ N, V для гнезда со словом *ночь*$_1$, в схему A→ D→ N для гнезда с *утро*$_1$.

Б. Рассмотрим с этой точки зрения гнездо с первообразными глаголами *воспитать/воспитывать*: R_1O *Воспитать/воспитывать*, R_1^2O *воспитаться/воспитываться*; R_2R_1O воспитание, *воспитатель*, *воспитанник*, $R_2^2R_1O$ *воспитательница*, *воспитанница*, $R_2R_3R_1O$ *воспитанность*, $R_2R_3^2R_1O$ *невоспитанность*; R_3R_1O вос-

питанный, *воспитательный,* $R_3^2R_1O$ *невоспитанный,* $R_3R_2R_1O$ *воспитательский,* см. рис. 6. Анализируемое гнездо регулярно (Гинзбург 1973).

На каждом i-том такте деривации гнезда наличие производных глаголов предполагает наличие производных прилагательных (соответствие 1), а наличие производного прилагательного — наличие производного существительного (соответствие 2). Базовый характер последнего подтверждается гнездом с квазисинонимом к *воспитанник*: R_2X *Питомец, питомник,* R_2^2X *питомница*; R_3R_2X *питомниковый, питомнический* (рис. 7). И еще: оба соответствия действуют на первом такте деривации гнезда, но только второе — на втором такте деривации.

Такты деривации связаны так, что каждое прилагательное i-го такта деривации гнезда дает существительное $i+1$-го такта деривации (соответствие 3); если прилагательное i-го такта деривации гнезда дает производное прилагательное $i+1$-го такта деривации гнезда, то прилагательное $i+1$-го такта деривации гнезда порождается и существительным i-того такта деривации гнезда (соответствие 4).

Соответствия 1—4 позволяют предложить схему синтеза анализируемого гнезда, изображенную на рис. 8, где над стрелкой пишется номер используемого соответствия (=правила), а под стрелкой — номер этапа деривации. На 0, 1 и 2 этапах реализуется первый, на 3, 4 и 5 этапах — второй, а на 6 этапе — третий такт порождения гнезда. Получаемая структурная схема гнезда отлична от анализируемой наличием существительного структуры $R_2R_3R_2R_1O$. Однако именно ей соответствует слово *воспитательство*, зафиксированное, например, орфографическим словарем Ожегова и Шапиро (М., 1956, с. 132).

Содержание результатов деривации на каждом этапе порождения гнезда подчинено следующему глобальному ограничению: На каждом этапе порождаются производные только одной какой-л. категории.

Это позволяет сопоставить каждому этапу деривации гнезда индекс категории производных (с учетом категории производящих), а каждому такту деривации — последовательность этих индексов. Разделяя такты деривации точками и переходя в их описании от меньшего такта деривации к большему, получим следующую линейную запись структуры гнезда.

$$\langle V.V_VA_VN_V.A_AA_NN_{\neg V}.N_A\rangle.$$

Здесь $N_{\neg V}$ — неотглагольные существительные, т. е. существительные или от прилагательного или от существительного. Заслуживает внимания то,

— что никакие два смежных такта порождения гнезда не могут быть такими, что на их начальных этапах порождаются слова наиболее контрастных категорий;

— что категории производных, принадлежащие нулевому и заключительному тактам деривации гнезда, максимально контрастны;

— что эти наиболее контрастные категории производных на тех тактах деривации гнезда, где они есть, не порождаются на смежных этапах деривации: содержанием промежуточного этапа деривации является порождение такой категории производных, что она минимально отлична от каждой из наиболее контрастных категорий, так что от одного этапа порождения к следующему за ним и от одного такта порождения к следующему за ним различия порождаемых категорий минимальны и минимизируются;

— что при переходе от каждого нулевого такта деривации к следующему за ним разнообразие категорий производных, а следовательно, и разнообразие оппозиций, определяющих эти категории, уменьшается; при этом наибольшее разнообразие оппозиций характерно для категорий производных первого такта деривации (центр гнезда), а наименьшее — для заключительного (периферия гнезда), при этом в качестве «каналов связи» центра и периферии гнезда должны рассматриваться категории производных существительных;

— что от одного такта деривации гнезда к следующему за ним усиливается гомогенность категорий производных (в данном гнезде вначале за счет ограничения производных только именами, а затем только существительными, в целом за счет запрета на порождение предикатов);

— что от каждого предыдущего такта деривации гнезда к следующему усиливается тенденция к сериализации, отожествлению деривационного потенциала у производящих разных категорий.

В. В нерегулярном гнезде со словом *круг* тридцать один тип производных: один — нулевого такта деривации гнезда, четыре — первого такта, десять — второго, восемь — третьего, шесть — четвертого и два — пятого. Существительные дают восемь типов производных, глаголы — двенадцать, прилагательные — десять, наречие — один, так что по деривационному потенциалу категории производящих могут быть упорядочены так:

V>A>N>D.

В гнезде тринадцать типов производных существительных, восемь типов производных прилагательных, восемь типов глаголов и два типа производных наречий, так что по разнообразию подкатегорий категории производных упорядочены так:

N>A, V>D.

Состав гнезда таков (рис. 9): R_2O *Круг*, R^2_2O *кружок, кружево*, $R_3{}^2O$ *кружочек, кружевце, кружевница*, $R_2{}^2R_3R_2O$ *круглячок*; $R_2R_1P_2O$ *кружение, окружение*, $R_2R_1{}^2R_3R_2$ *закругление*, $R_2R_1R_3{}^2R_2O$ *округление*, $R_2R_3R_2O$ *круглота, кругляк, кругляш*, $R_2R_3R_1R_2O$ *окружающее, окружающие*, $R_2R_3{}^2R_2O$ *округлость*, $R_2R_3R_4R_2O$ *окружность*, $R_2R_3R_1{}^2R_3R_2$ *закругленность*, $R_2R_3R_1R_3{}^2R_2O$ *округленность*; R_1R_2O кружить, кружиться, окружать/окружить, $R_1{}^2R_2O$ *вскружить, докружиться, закружить, покружиться, окружаться, покружить, покружиться, прокружить, прокружиться, раскружить*, $R_1{}^3R_2O$ *вскружиться, закружиться, раскружиться*, $R_1{}^2R_3R_2O$ *круглиться, покруглеть, подкруглить, скруглить/скруглять, закруглить/закруглять* $R_1{}^3R_3R_2O$ *закруглиться/закругляться, скругляться*, $R_1{}^2R_3{}^2R_2O$, *округлиться*, $R_1R_3R_2O$ *круглеть, круглить*, $R_1R_3{}^2O$ *округлить/округлять*; R_3R_2O круглый, круговой, $R_3R_2{}^2O$ *кружевной*, $R_3{}^2R_2O$ *кругловатый, кругленький, округлый*, $R_3R_1R_2O$ *окружный*, $R_3R_1R_2O$ *кружащийся, окружающий, окруженный*, $R_3R_1{}^2R_2O$ *закруженный*, $R_3R_1{}^2R_3R_2O$ *закругленный, подкругленный, скругленный*, $R_3R_1R_3{}^2R_2O$ *округленный*; R_4R_2O кругом, вокруг $R_4R_3R_2O$ *в круговую, накругло.*

Описание потактной деривации этого гнезда представлено в табл. 7. Прокомментируем эту таблицу.

Таблица 7

Категории производящих / Категории производных		N N	N V	N A	N D	V N	V V	V A	V D	A N	A V	A A	A D	D N	D V	D A	D D
Такты деривации словообразовательного гнезда	I	+	+	+	+												
	II	+		+		+	+	+		+	+	+	+			+	
	III	+					+	+		+	+						
	IV					+	+	+									
	V									+							

О тактах деривации. Наибольшее разнообразие производных обнаруживаем на втором такте деривации, далее по мере убывания этого разнообразия такты упорядочены так: третий, первый, четвертый и, наконец, пятый. Типы дериватов пятого, четвертого и третьего тактов деривации имеются и среди производных второго такта, но не обратно. Типы дериватов пятого и четвертого, пятого и первого, четвертого и первого тактов дерива-

ции образуют дополнительные множества. Система этих связей может быть изображена на рис. 10, где «$a \rightarrow b$» следует читать «Присущее такту деривации a данного гнезда присуще и такту деривации b этого гнезда».

О производящих. Категории производящих по убыванию разнообразия категорий производных (в каждой из этих категорий производные одного и того же такта деривации) могут быть упорядочены так:

V>N, A>D.

Если для каждого производного учитывать только категорию производящего и такт порождения, то данное гнездо представляет следующую систему эквиполентных оппозиций категорий производящих см. табл. 8. Тогда относительно категорий производящих такты деривации гнезда связаны так, как это показано на рис. 11, где «$a \rightarrow b$» следует читать: «Категории производящих для производных такта деривации a — часть совокупности категорий производящих для производных такта деривации b»:

О производных. Если категории производных различаются и категориями производящих и тактами производства, то по убыванию разнообразия эти категории производных могут быть упорядочены так:

N>A>V>D.

Если различиями категорий производящих пренебречь, то данное гнездо как система привативных многомерных оппозиций категорий производных могла бы быть описана табл. 9. С этой точки зрения производные предикаты (глаголы и прилагательные вместе) оказываются противопоставленными как термам (производным существительным), так и предикатам второго порядка (производным наречиям). Упорядоченность производных оказывается такой:

N>V, A>D.

Более того, если на данном такте деривации порождается наречие, то на этом такте деривации порождается глагол и прилагательное, а если есть последние, то есть и существительные. Относительно разнообразия категорий производных такты деривации гнезда оказываются связанными так, что 1) первый и второй такты, третий и четвертый такты оказываются одинаковыми, и 2) категории производных пятого такта есть и среди категорий производных третьего (и четвертого) тактов, а эти последние — среди категорий производных первого (и второго) тактов (см. рис. 12). На всех тактах деривации есть существительные, только на первых двух — наречия.

С учетом различий категорий производящих, категории произ-

Таблица 8

	N	V	A	D
I	+	—	—	—
II	+	+	+	+
III	+	+	+	—
IV	—	+	—	—
V	—	—	+	—

Таблица 9

	N	V	A	D
I	+	+	+	+
II	+	+	+	+
III	+	+	+	—
IV	+	+	+	—
V	+	—	—	—

водных оказываются связанными следующими соотношениями вида $a(c) \rightarrow b(d)$: „всюду, где есть производные категории a от слов категории c, есть и производные категории b от слов категории d“:

1. Глаголы и наречия от существительных, глаголы и прилагательные от глаголов, прилагательные и наречия от прилагательных таковы, что если есть один член каждой пары, то есть и другой.

2. Если теперь ради сокращения изложения вместо каждого члена класса эквивалентностей обсуждать только один из них, то можно сформулировать следующие утверждения о связях производных в гнезде:

— всюду (на каждом такте деривации гнезда), где есть прилагательное от прилагательного, есть прилагательное от наречия, и обратно; всюду, где есть прилагательное от прилагательного, есть и отадъективный глагол; всюду, где есть прилагательное от прилагательного, есть отглагольное существительное; всюду, где есть отсубстантивное прилагательное, есть отсубстантивное существительное; всюду, где есть прилагательное от прилагательного, есть прилагательное (а поэтому и существительное) от существительного;

— всюду, где есть отадъективный глагол, есть 1) отыменное, отсубстантивное или отадъективное, существительное; 2) отглагольное прилагательное (вообще отглагольные предикаты); всюду, где есть отсубстантивный глагол, есть и отсубстантивное прилагательное; вообще — всюду, где есть отыменной глагол, есть и отыменное существительное;

— всюду, где есть отглагольное существительное, есть и отглагольные предикаты.

3. Отсубстантивные глагол и наречие и производные от предикатов, глагола и прилагательного, одновременно не бывают.

4. Если производящие — имена, то наличие производных предикатов предполагает наличие производных существительных, если же производящими являются глаголы, то существительные предполагают наличие предикатов.

ЧАСТИ ГНЕЗДА ИЛИ РАЗНЫЕ ГНЕЗДА?

Лексическое гнездо со словом *питать*, от которого отпочковались первообразные *пропитать*[2] и *впитать* и их производные, объединяет представителей следующих категорий производных: R_1O *Питать*, R_1^2O *питаться, пропитать, упитать*, P_1^3O *пропитаться*; R_2R_1O пища, питание, питатель, питальщик, $R_2^2R_1O$ *пищевик*, $R_2R_3R_1O$ *питательность*, $R_2R_3^2R_1O$ *непитательность*, $R_2R_1^2O$ *пропитание*, $R_2R_3R_1^2O$ *упитанность*; R_3R_1O питательный, $R_3^2R_1O$ *непитательный*, $R_3R_2R_1O$ *пищевой*, $R_3R_1^2O$ *упитанный*.

Структура такого гнезда, изображенная на рис. 13, может быть порождена, см. рис. 14, на основе следующих правил:

(1) Если в гнезде от какого-либо производного i-того такта возможен производный глагол $i+1$-го такта деривации гнезда, то от всех производных i-того такта возможны производные прилагательные $i+1$ такта деривации гнезда.

(2) Если производящее имеет производное прилагательное, то от этого производящего есть и производное существительное.

(3) Каждое прилагательное i-того такта деривации гнезда дает существительное $i+1$ такта деривации.

По существу это те же правила деривации, что и для гнезда с *воспитать* (рис. 15): R_1O *Воспитать/воспитывать*, R_1^2O *воспитываться/воспитаться*; R_2R_1O воспитание, воспитатель, воспитанник, $R_2^2R_1O$ *воспитанница, воспитательница*, $R_2R_3R_1O$ *воспитанность*, $R_2R_3^2R_1O$ *невоспитанность*; R_3R_1O воспитательный, воспитанный, $R_3R_2R_1O$ *воспитательский*, $R_3^2R_1O$ *невоспитанный*.

Хотя структуры гнезд с питать и с воспитать отличаются друг от друга (в основном производными от производного глагола, возможными в гнезде с *питать* и невозможными в гнезде с *воспитать*), общего между ними значительно больше, чем отличного. Это общее прежде всего в том, что разнообразие деривационных потенциалов у каждой категории слов остается неизменным от одного гнезда к другому — глаголы либо дают производные глаголы, существительные и прилагательные, либо не дают ни одного производного; прилагательные дают либо производные существительные и прилагательные, либо только существительные (а в

случае гнезда с *питать* могут и ничего не давать); существительные дают производные существительные и прилагательные, либо не дают ничего. Глагол оказывается противопоставленным именам (по возможности давать производные глаголы), прилагательное — существительному (по возможности давать только существительные):

V : (A : N).

Невозможность построить такую фразу с *питать*, чтобы в результате постановки вместо *воспитать* глагола *питать* смысл фразы мало изменился (равно как и аналогичной конструкции с *воспитать*), свидетельствует об отсутствии живых отношений производности между этими словами и о принадлежности *питать* и *воспитать* самостоятельным словообразовательным гнездам. Это, однако, не мешает признанию их равнопервообразными членами одного лексического гнезда (макрогнезда?). Подтверждается такая гипотеза не только подобием структуры этих подгнезд, но и наличием связующего звена — слов *питомец* и *питомник* с их дериватами. Лексическое гнездо, т. е. совокупность лексических единиц, объединяемых лексическими отношениями, в том числе и словообразовательными, должно рассматривать как единицу, отличную от словообразовательного гнезда, такой упорядоченной совокупности категорий производных, что существует хотя бы одно лексическое гнездо, члены которого исчерпываются представителями этих категорий производных.

ЛИТЕРАТУРА

Васильев Л. М. Опыт структурно-сопоставительного анализа лексики современных славянских языков.— Учен. зап. Башкирского гос. ун-та, вып. 9, серия филол. наук. Уфа, 1962, № 3 (7); т. 18, серия филол. наук. 1964, № 8 (12).

Гинзбург Е. Л. Исследование гнезд сложных слов в русском языке на базе аппликативной грамматики. Автореф. канд. дисс. М., 1967.

Гинзбург Е. Л. Исследование структуры словообразовательных гнезд.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., «Наука», 1973.

Соболева П. А. Исследование словообразовательной системы на основе аппликативной модели.— В кн.: Межвузовская конференция по порождающим грамматикам. Тезисы докладов. Тарту, 1967.

Шевчук В. Н. Деривационная структура отглагольных словообразовательных гнезд в современном английском языке. Автореф. канд. дисс., Калинин. 1973.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., «Прогресс», 1964 (т. I), 1971 (т. III).

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА ЗАРАНЕЕ НЕ ЗАДАННОЕ ЧИСЛО КЛАССОВ

Б. В. СУХОТИН

Классификация играет важную роль как в прикладных, так и в общих работах по лингвистике. Особенно велико значение классификации в области лингвистической дешифровки и в непосредственно с ней связанной теории распознавания образов. Причина этого в том, что в результате классифицирования неизвестные явления оказываются включенными в одну совокупность с известными и тем самым определяются.

Чаще всего исходной информацией для классификации является некоторое множество признаков, т. е. множество функций $F_k(x_i)$, где x_i принадлежит множеству объектов $X=\{x_i\}$, подлежащих классифицированию. Нередко приходится, однако, сталкиваться с ситуацией, когда объекты не обладают никакими интересными признаками. В этом случае могут быть полезными функции, определенные на множестве пар объектов, $F_k(x_i, x_j)$ — так называемые связующие функции. Использование связующих функций делает большей частью ненужным употребление признаков, поскольку признак $F_k(x_i)$ может быть получен арифметическим или логическим суммированием:

$$F_k(x_i) = \sum_j F_k(x_i, x_j); \qquad F_k(x_i) = \bigcup_j F_k(x_i, x_j).$$

Возможны и другие комбинации, например:

$$F_k(x_i) = \prod_j F_k(x_i, x_j); \qquad F_k(x_i) = \bigcap_j F_k(x_i, x_j).$$

В работах автора по дешифровке в основном использовались две связующие функции: количество совместной встречаемости объектов в текстах $F(x_i, x_j)$ и условная вероятность $P(x_i/x_j)$ того, что если появился объект x_i, то в некоторой окрестности его появится объект x_j. Значения связующей функции представляются квадратной матрицей M, строки и столбцы которой озаглавлены классифицируемыми объектами.

Информация, доставляемая признаками и связующими функциями, по-разному учитывается при классифицировании. Для признаков характерна так называемая пороговая методика, в соответствии с которой к одному классу K относятся объекты x_i, для которых $Inf \leqslant F_k(x_i) < Sup$, где Inf — нижнее «пороговое значение», Sup — «верхнее пороговое значение». Таким образом можно классифицировать и пары объектов в зависимости от величины $F_k(x_i, x_j)$, однако в большинстве случаев подобная классификация

пар ничего не дает для классификации самих объектов, поскольку не будет, как правило, выполняться соотношение $K^2=k$, где k есть класс пар, определенный согласно пороговым критериям, а K^2 есть множество пар всех элементов, составляющих некоторый класс K объектов классифицирования. Поэтому очевидно, что классы K_i и множества пар вида K_i^2 должны оцениваться каким-то интегральным образом.

Мы видим, что при использовании связующих функций применение пороговых критериев затруднено. В то же время связующие функции позволяют применить для получения классификации оптимизационную методику. Эта методика состоит в том, что на множестве пар классов определяется некоторая функция оценки вида

$$\Psi^{(2)} = \sum_i \sum_j \lambda_{ij} \Phi(K_i, K_j),$$

где $\Phi(K_i, K_j) = \sum_u \sum_v F_k(x_u, x_v)(x_u \in K_i, x_v \in K_j)$, а λ_{ij} равны 1 или -1.

В этом выражении все λ_{ij} не могут быть одного знака, так как тогда $abs(\Psi^{(2)})$ равняется сумме всех чисел в таблице M и, следовательно, одно и то же для любой классификации. Функция $\Psi^{(2)}$ квадратичная. В качестве оценочной функции может быть выбрана и функция более высокой степени

$$\Psi^{(m)} = \sum_{i_1}, \ldots, \sum_z \lambda_{i_1, \ldots, i_n} \Phi(K_{i_1}, \ldots, K_{i_n}),$$

где $\Phi(K_{i_1}, \ldots, K_{i_n})$ есть сумма значений связующей функции более высокого порядка, т. е. функции от m-ок объектов.

Однако оценочная функция не может быть интересным образом введена для признака. Действительно, в этом случае

$$\Psi^{(1)} = \sum_i \lambda_i \Phi(K_i) = \sum_i \lambda_i \sum_j F_k(x_j),$$

где $\Psi^{(1)}$ принимает постоянное значение для любого набора классов. Здесь все коэффициенты λ_i следует считать имеющими один и тот же знак, поскольку все слагаемые с противоположным знаком отбрасываются в результате оптимизации. Таким образом, оптимизация — специфический аппарат для классифицирования с использованием связующих функций.

Оценочная функция сопоставляет конкретной классификации число — качество данной классификации. Следующим принципом оптимизационной методики является поиск классификации, для которой качество минимально или максимально, т. е. поиск оптимума (экстремума) оценочной функции.

Рассмотрим наиболее простой случай — классификацию на два класса. Здесь квадратическая оценочная функция может иметь

варианты, определяемые выражением

$$\lambda_{11}\Phi_k(K_1, K_2) + \lambda_{12}\Phi_k(K_1, K_2) + \lambda_{21}\Phi_k(K_2, K_1) + \lambda_{22}\Phi_k(K_2, K)^{\text{c}}.$$

Для симметричных связующих функций, какой, например, является функция, определяющая количество совместных появлений объектов, имеет место равенство $\Phi(K_1, K_2) = \Phi(K_2, K_1)$ и поэтому не существенно различие или совпадение коэффициентов λ_{12} и λ_{21}. Напротив, λ_{11} и λ_{22} должны быть обязательно равны, так как в противном случае наилучшей оказалась бы тривиальная классификация, содержащая всего один класс. Важен и интересен следующий факт: если $\lambda_{11}=\lambda_{22}$ и $\lambda_{11}>0$, то $\Psi^{(2)}$ допускает минимизацию, но не допускает максимизации, ибо $max\ (\Psi^{(2)})$ тривиально достижим, если один из классов пуст. Этот факт неприятен, так как существуют функции, интересные для максимизации. В так называемой «теории сгустков» это приводит к анекдотической ситуации: исследователи стремятся к максимуму «функции близости», но боятся достижения глобального максимума и надеются на наличие локального. (Локальный максимум имеет место, если данная классификация лучше любой другой, отличающейся от данной переносом одного элемента в другой класс). Существуют и другие спасательные меры, например, жесткое разнесение в разные классы двух каких-нибудь элементов.

Мы видим, что в случае классификации на два класса выбор возможного вида функции Ψ и принципа ее оптимизации определен почти однозначно. Напротив, при $n>2$ (n — число классов) назначение коэффициентов λ_{ij} может быть произведено различными способами.

Существует два подхода к решению этого вопроса. В соответствии с первым[1] коэффициенты λ_{ij} предполагаются заданными произвольно. Следует заметить, что в упомянутой работе говорится не о коэффициентах λ_{ij}, а о графе, что равнозначно заданию коэффициентов, если полагать $\lambda_{ij}=1$, когда $K_i \rightarrow K_j$ и $\lambda_{ij}=-1$, когда K_i и K_j непосредственно не связаны. Задание графа более наглядно, что помогает при его априорном выборе. Если граф на множестве классов задан, то алгоритм, предложенный в статье И. Б. Мучника, находит наилучший состав этих классов.

Второй подход использует противопоставление связей внутри классов связям между классами, таким образом, противоположными значениями λ_{ij} и λ_{pq} наделяются в том случае, если $i=j$, а $p\neq q$, и одинаковыми, если $i=j$, $p=q$ или $i\neq j$, $p\neq q$. В этом случае возможно использование и пороговых критериев. Например, в алгоритме Ю. Д. Апресяна[2] для допустимой классификации должно

[1] *Мучник И. Б.* Анализ структуры экспериментальных графов. Автоматика и телемеханика, 1974. № 9.

[2] *Апресян Ю. Д.* Опыт описания значений глаголов по их синтаксическим признакам.— ВЯ, 1965, № 5.

соблюдаться неравенство $\rho(K_i, K_i) < \rho(K_i, K_j)$, а число классов минимизируется. Способ, предложенный Р. Хэммингом [3], требует выполнения неравенств

$$\rho(x_p^i, x_0^i) < \rho(x_p^i), x_0^j),$$

где $x_p{}^i \in K_i$, $x_o{}^i$ — «опорный» элемент класса K_i, задаваемый заранее, $x_o{}^j$ — опорный элемент класса K_j. Любопытно, что пороговые критерии недостаточны сами по себе и дополняются в первом случае минимизацией числа классов, во втором — заранее заданным списком «опорных» элементов. При противопоставлении внутренних и внешних связей вариант с оптимизацией Ψ будет соответствовать оптимизации суммы вида

$$\Theta = \sum_i \Phi(K_i, K_i).$$

Остальные слагаемые $\Phi(K_i, K_j)$ $(i \neq j)$ можно не учитывать, что видно из выражения

$$\Psi = \sum_i \lambda_{ii} \Phi(K_i, K_i) + \sum_i \sum_j \lambda_{ij} \Phi(K_i, K_j) = \sum_i \lambda_{ii} \Phi(K_i, K_j) - M +$$
$$+ \sum_i \lambda_{ii} \Phi(K_i, K_j) = 2 \sum_{i,j} \lambda_{ii} \Phi(K_i, K_j) - M.$$

Экстремум Ψ и экстремум Θ приходятся на одну и ту же классификацию, поскольку Ψ отличается от Θ постоянным M и постоянным же множителем 2.

Максимизация Θ тривиальна, как и в случае классификации на два класса. С минимизацией тоже не все благополучно. В самом деле, числа $F_k(x_i, x_i)$ всегда входят в Θ и, следовательно, $\Sigma F_k(x_i, x_i)$ не влияет на величину экстремума, в силу чего все $F_k(x_i, x_i)$ могут быть приравнены нулю.

Но тогда наилучшей классификацией по минимуму Θ тривиально оказывается классификация на одноэлементные классы.

Наш краткий обзор позволяет выдвинуть ряд требований к оценочной функции при классификации на заранее не заданное число классов:

1) максимизация Ψ не должна приводить к тривиальной классификации на «полный» и «пустые» классы;

2) минимизация Ψ не должна приводить к тривиальной классификации на одноэлементные классы;

3) коэффициенты λ_{ij} не должны определяться произвольно.

Эти формальные условия могут быть дополнены еще одним содержательным требованием. Как показывают эксперименты [4], классификация на два класса по минимуму суммы чисел в квазидиагональных квадратах таблицы M обнаруживается весьма

[3] См. Коды с обнаружением и исправлением ошибок. М., 1956.

[4] *Сухотин Б. В.* Экспериментальное выделение классов букв.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. М., 1962.

успешно. Поэтому желательно, чтобы в случае, когда оптимизация Ψ приводит к классификации на два класса, ее экстремум по возможности совпадал бы с экстремумом суммы чисел в квазидиагональных квадратах.

Наконец, желательно, чтобы искомая функция имела бы естественную интерпретацию и не выглядела бы слишком сложно и произвольно.

Далее мы постараемся показать, что такой функцией может считаться детерминант матрицы $M(K)$, элементами которой являются суммы виды $\Phi(K_i, K_j)$.

Как известно, детерминант (определитель) есть числовая функция от матрицы, определяемая следующим образом:

$$D = |a_{ij}| = \begin{vmatrix} a_{11}\ldots a_{1n} \\ \ldots \\ a_{n1}\ldots a_{nn} \end{vmatrix} = \sum (-1)^q a_{1\alpha}\ldots a_{n\omega},$$

где $\alpha\ldots\omega$ пробегают все возможные $n!$ перестановок из чисел 1, 2,..., n. Знак «+» или «−» перед каждым слагаемым определяется числом «беспорядков» в каждой перестановке, т. е. количеством пар чисел вида u, v, где $u>v$. Например, перестановка $\overline{3,1},\overline{4,2}$ вторых индексов у букв имеет три беспорядка, отмеченные дужками.

Детерминант равен нулю, если элементы его двух строк равны или пропорциональны или одна из строк является линейной комбинацией каких-либо остальных строк. То же самое имеет место и для столбцов, поскольку детерминант не изменяет своей величины при замене строк столбцами.

Данное свойство разъясняет смысл детерминанта. Строка i из $M(K)$ характеризует класс K_i по его связи с другими классами. Наличие совпадающих или сходных строк говорит об избыточности системы классов, а следовательно, о несовершенстве классификации.

Численно детерминант представляет собой ориентированный объем наклонного параллелепипеда, построенного на векторах $\Phi_i(K_i, K_j)$; этот объем тем больше, чем ближе данный параллелепипед к ортогональному. Поэтому можно говорить, что численное значение детерминанта D измеряет степень независимости векторов, соответствующих классам, а экстремум D соответствует их наибольшей независимости.

Рассмотрим, в какой степени удовлетворяет функция предложенным ранее требованиям.

Свойство 1 выполняется. В самом деле, например, в случае классификации на два класса

$$M(K) = \begin{Vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{Vmatrix}; \qquad D = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21};$$

в случае тривиальной классификации $a_{22}=a_{12}=a_{21}=0$ и, следовательно, $D=0$ как при максимизации, так и при минимизации D.

Второе требование выполняется, так как классификация на одноэлементные классы вовсе не является наилучшей. Например, два объекта x_i и x_j могут характеризоваться совпадающими или пропорциональными координатами. Соответствующий детерминант будет равен нулю; в то же время, при включении x_i и x_j в один и тот же класс мы получим матрицу классов, детерминант которой уже может отличаться от нуля.

Третье требование выполняется очевидным образом: коэффициенты λ_{ij} равны по определению $(-1)^q$.

Нетрудно убедиться в том, что наилучшая классификация по критерию минимальности квазидиагональных квадратов на два класса Ψ_2 по крайней мере иногда совпадает с классификацией по минимуму D. Значение D определяется в этом случае выражением $a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$, которое имеет минимум для той же классификации, что и в случае минимизации Ψ_2, если по крайней мере один из элементов a_{11} или a_{22} равен нулю.

Если $a_{11}\neq 0$, $a_{22}\neq 0$, то функция D оказывает предпочтение классификациям, в которых разность $|a_{11}-a_{22}|$ велика. Этот факт свидетельствует скорее в пользу функции D, если вспомнить, что, например, сочетания согласных с согласными чаще, чем сочетания гласных с гласными. Далее мы приведем схему алгоритма, отыскивающего локальный экстремум D.

Предлагаемый алгоритм работает следующим образом. Допустим, что имеется наилучшее деление на $n-1$ классов $P=\{K_1,\ldots,K_{n-1}\}$. Начальное деление на n классов образуется так: берется по одному элементу из каждого класса $K_i (K_i \in P)$; эти элементы образуют $n-1$ одноэлементных классов. Остальные элементы алфавита образуют n-й класс новой классификации. Среди начальных делений перебором отыскивается наилучшее.

Элементарным переносом или транспозицией называется перенос из класса K_i в класс K_j одного элемента. Транспозиции разрешены в том случае, если K_i в результате переноса не окажется пустым и если абсолютная величина $|D|$ детерминанта при этом возрастает. Наилучшая транспозиция есть та, для которой это возрастание максимально.

Далее в наилучшем начальном делении последовательно осуществляются наилучшие транспозиции, пока множество разрешенных транспозиций не окажется пустым. Полученное деление на n классов считается наилучшим для данного n.

В начале работы алгоритма в качестве наилучшего деления на $n-1$ классов принимается тривиальное деление на 1 класс, равный всему алфавиту, а начальные деления на n классов представляют собой деления на два класса, один из которых — одноэлементный.

Конец работы можно определить тривиально — по достижению классификации на одноэлементные классы. В этом случае, если число элементов (букв в алфавите) равно N, то окончательное решение выбирается среди N наилучших делений на n классов.

Если выстроить значения $|D|$ для наилучших делений на n классов по возрастанию n, то не исключено, что первое из чисел, которое больше своих соседей будет вообще максимально (по абсолютной величине). Если такая ситуация типична, то вычисления можно прерывать раньше — в момент, когда абсолютная величина $|D|$ перестанет возрастать.

Следует заметить, что максимизация абсолютного значения $|D|$ равнозначна автоматическому выбору принципа оптимизации — минимизации или максимизации D: абсолютная максимальность и положительность соответствует максимизации, абсолютная максимальность и отрицательность — минимизации D.

Основная цель предлагаемого алгоритма — получение классификации словоформ на части речи (в синтаксисе) и классификации букв на классы по их сочетаемости так, чтобы полученные классы соответствовали фонетическим классам. Однако и в фонетике, и в синтаксисе под классификацией понимается не разбиение исходного алфавита, а некоторое множество таких разбиений, причем отдельные разбиения могут быть разбиениями класса. Например, звуки делятся так: {гласные, согласные}, {слогообразующие, неслогообразующие}, {шумные, сонорные} и т. д. Подобные разбиения мы назовем «частичными разбиениями».

Пересечение всех частичных разбиений образует «окончательное разбиение», которое в идеале является разбиением на одноэлементные классы. Можно думать, что все интересные частичные разбиения являются локально оптимальными относительно какой-нибудь оценочной функции, не обязательно одной и той же. В то же время, можно предположить, что существенный интерес представляет наилучшее из частичных разбиений или «главное разбиение» — именно то, которое мы надеемся найти предложенным алгоритмом.

Интерес «главного разбиения» кажется не слишком большим для фонетики, где наиболее важно однозначно фиксировать каждый звук (букву) относительно частичных классификаций. Однако в синтаксисе невозможно, не вторгаясь в семантику, получить для каждой словоформы свойственный только ей набор классов частичных классификаций, в которые она входит. Поэтому здесь значение «главной классификации» более очевидно. Можно думать, что элементами главного разбиения могли бы считаться классы взаимозаменимых, с точки зрения грамматической правильности, слов [5].

[5] *Добрушин Р. Л.* Математические методы в лингвистике.— Математическое просвещение, т. 6, 1961.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ

П. А. СОБОЛЕВА

ОРИЕНТАЦИЯ НА ЗНАЧЕНИЕ

Основные грамматические категории существительного — это падеж, род и число. Первые две категории обслуживают лексему целиком, хотя и по-разному: по падежам слово изменяется, по родам не изменяется. Категории падежа и рода безразличны к значениям слова. Если слово стоит в том или ином падеже, это значит, что все его значения могут быть оформлены этим же падежом. Если мы говорим *Купить новую акварель*, то винительным падежом может быть оформлено как значение ‘краска’, так и значение ‘полотно, картина’. В предложении *Я недоволен столом* творительным падежом может быть оформлено как значение ‘предмет мебели’, так и значение ‘еда, питание’. (Мы намеренно взяли двусмысленный пример. Само собой разумеется, что расширение контекста должно снять эту двусмысленность, например: *Я недоволен столом. Раньше кормили лучше.* Или: *Я недоволен столом. Он низковат.* Хотя, как правило, слово в контексте употребляется только в одном из своих значений, любое значение может быть оформлено любым падежом. Здесь, правда, могут быть свои статистические закономерности).

Грамматическое значение рода также безразлично к значениям слова. В каком бы значении мы ни взяли слово, род его остается неизменным. Так, у слова *акварель* и в значении ‘краска’, и в значении ‘картина’ род остается женским, а у слова *стол* и в значении ‘предмет мебели’, и в значении ‘еда, питание’ род остается мужским.

Иная картина открывается, когда мы рассматриваем число. В отличие от категории рода, по числам, как и по падежам, существительные изменяются, но неодинаково для всех значений (см. Виноградов, 1947, 154—156). Одни значения имеют соотносительные формы числа, другие не имеют и выступают только либо в

форме единственного, либо в форме множественного числа[1]. Так, например, слово *акварель* в первом вещественном значении ‘краска’ выступает только в форме единственного числа, в то время как во втором, производном значении ‘картина’ оно изменяется по числам: *Повесь поближе эту акварель*; *Мне нравятся ее акварели*[2]. У слова *стол,* наоборот, первое основное значение изменяется по числам: *Передвинь стол* (*столы*), а второе, производное, не изменяется: *У них обильный стол.* Слово *акварель* в первом значении и слово *стол* во втором значении стоят в форме sing. tant., отличающейся по значению от формы единственного числа, соотносительного с множественным. Различающимися эти формы можно считать только в области содержательной функции. В согласовательной функции формы sing и sing. tant. совпадают. Значительное количество слов и значений оформлено только множественным числом. Например, значения слова *барашки*: 1. пенистые волны. 2. кучевые облака, 3. цветочные сережки ивовых растений не имеют соответствия в единственном числе. В то время как значение этого же слова *барашек* 1. ягненок, 2. выделанная баранья шкурка и 3. гайка с двумя ушками или дужкой, имеют соответствие в единственном и множественном числах. Значение слова *ноты* ‘текст музыкального произведения... тетрадь, книга и т. п., состоящая из таких текстов’, несоотносимо по числу с *нота* ‘условный графический знак какого-либо музыкального звука; самый звук в музыке или пении’, множественное число которого означает совокупность нотных знаков или звуков.

Значение слова *низы* ‘непривилегированные массы населения, широкие слои’ несоотносительно по числу со значением слова *низ* ‘часть предмета, ближайшая к основанию’ (СРЛЯ).

Значение слова *верхушки* ‘поверхностные знания’ несоотносительно по числу со значением слова *верхушка* ‘самая высокая часть чего-либо, вершина’ (СРЛЯ).

Формы множественного числа отличаются от форм plur. tant. в содержательном плане (по крайней мере в области множественного разделительного — Виноградов, 1947, 163). В согласователь-

[1] См., например, у А. И. Смирницкого: «Особенности употребления тех или других форм, в частности — неупотребление форм одного из чисел у существительных... образуют грамматические особенности, связанные с семантикой отдельных вариантов слова. Эти грамматические особенности... не уничтожают тождества слова, так как они выступают в качестве обусловленных лексической семантикой:... Так, если *стол* значит ‘питание’, то естественным представляется, что в таком значении это слово не употребляется во множественном числе, как не употребляется, например, и слово *питание* (Смирницкий, 1954, 37).

[2] См.: Смирницкий, там же, а также *огонь* 1) пламя; стрельба из огнестрельного оружия, 2) отдельный источник света (огни города, сигнальные огни)...; *речь* 1) пользование языком и пр. (связная речь, процесс речи), 2) устное выступление (речи Цицерона) — Смирницкий, 1954.

ном плане они тождественны, так же как тождественны в этом плане формы sing. и sing. tant.

Как sing., так и sing. tant. согласуются с прилагательными и глаголами в единственном числе: *стол дубовый* и *стол невкусный*; *висит акварель* и *размазалась акварель*. А plur., как и plur. tant., согласуются с прилагательными и глаголом во множественном числе: *Часы сломались* и *Бегут часы*; *Басовые ноты плохо звучат, Новые ноты лежат на этажерке.*

В содержательном плане формы sing. и sing. tant. различаются потому, что форма sing. имеет значение единичного объекта, в каком-то смысле однородного с другими представителями класса счисляемых объектов, принадлежащих к счетному множеству. Форма же sing. tant. указывает на то, что обладающий этой формой объект относится к категории недискредитных, нерасчлененных, не распадающихся на однородные элементы: *жара, тоска, хлопок, мрак, серебро, кофе.*

Формы plur. и plur. tant. в содержательном плане различаются потому, что plur. обозначает д в а вида множеств — разделительное или дистрибутивное (*яблоки, звезды, города*) и собирательное или коллективное (*глаза, зубы, боли, муки, холода́, дожди*) (Виноградов, 1947, 163, 180). Как разделительное, так и собирательное множество имеет четкую соотнесенность с элементами этих множеств, выраженных формой единственного числа. Форма plur. tant. передает значение сложно-составности объекта, нечленимого на однородные элементы (*бега, беспорядки, хлопоты, сани, вилы, ноты, дрова*). Хотя значение множественного собирательного весьма близко значению сложносоставности, основное различие между plur. и plur. tant. заключается в наличии, либо отсутствии, соотнесенности с соответствующей формой единственного числа.

Помимо слов, одно значение которых различает числа, а другие выступают либо в форме sing. tant., либо plur. tant., в словаре остается значительное количество слов, в смысловой структуре которых сочетаются все три типа значений.

Так, *слово* в основном значении это ‘единица речи, служащая для выражения отдельного понятия’. *Слова делятся на слоги. Происхождение слов.* В этом значении *слово* имеет оба числа. В одном из производных значений, а именно ‘дар речи, способность говорить’: *дар слова*, *любить родное слово слово* употребительно только в единственном числе. В другом производном значении, а именно ‘текст к песне’: *Романс на слова Пушкина слово* употребляется только во множественном числе.

Слово *камень* имеет значение, оформленное как *sing. tant.* ‘твердая горная порода’, например: *добывать камень, перевозить камень*. То же о тяжелом, гнетущем чувстве, например, *камень на душе*. Другое значение слова *камень* оформлено как plur. tant. ‘твердое отложение солей во внутренних органах’, например *камни*

в печени. Однако у слова *камень* имеется и значение, изменяющееся по числам. Это значение 'кусок, обломок горной породы', например *бросить камень, бросаться камнями* (*каменьями*).

Следует заметить, что различное отношение к категории числа может служить одним из критериев разграничения значений слова (Холодович 1946, 3; Виноградов 1947, 155). Неверно, с нашей точки зрения, трактуется первое значение слова *камень* в словаре русского языка под ред. С. И. Ожегова: «Твердая горная порода кусками или сплошной массой, а также кусок, обломок такой породы». Точно так же не учитывается семантический дифференциальный признак исчисляемости и неисчисляемости у слова *камень* в Словаре современного русского литературного языка (в семнадцати томах). Первое значение этого слова трактуется так: «Всякая твердая горная порода... в виде сплошной массы или отдельных кусков». Иллюстрируется это значение такими примерами, как *Мартышка тут с досады и печали о камень так хватила их, что только брызги засверкали* (Крыл. Мартышка и очки); *По камням струится Терек, Плещет мутный вал* (Лерм. Казачья колыб. песня) и т. д. Эти и другие примеры иллюстрируют только исчисляемую «часть» значения. Совершенно справедливо поступает Словарь русского языка (в четырех томах), разделяя исчисляемые и неисчисляемые значения слова *камень*: 1. только ед. ч. 'всякая твердая, нековкая и не распускающаяся в воде горная порода в виде сплошной массы или отдельных кусков': *На Сахалине нет извести и хорошего камня, и поэтому каменных построек нет* (Чехов. Остров Сахалин...): 2. (мн. *камни* и *каменья*) отдельный кусок такой породы': *Редкий камень. Красивый камень... У берегов есть подводные камни, целые горы камней* (Паустовский. Кара-Бугаз).

Различие в значениях ряда отглагольных префиксальных существительных поддерживается их числовыми различиями. Ср. *отход/отходы, разработка/разработки, обмотка/обмотки, обивка/обивки, выбор/выборы, записка/ записки, бег/бега, сбережение/сбережения* и ряд других. Здесь, как правило, единственным числом оформлено имя действия (исключение составляет форма *записка,* когда-то имевшая значение имени действия, но утратившая его в настоящее время (Арбатский, 1954). Значение, оформленное множественным числом, носит более конкретный характер результата, объекта, орудия, места действия или специфического действия (*выборы, бега*).

Во многих случаях вместе с тем все значения слова ведут себя одинаково относительно числа. Например, все значения слов *шар, стена, мост* и другие имеют обе формы числа. Все значения слов *темнота, серебро, бедность* имеют форму только единственного числа, а все значения слов *ножницы* (1. инструмент для резания..; 2. резкое расхождение между чем-н., например *ножницы в оплате*

труда) или *шахматы* (1. игра на доске..; 2. фигуры и пешки для такой игры) имеют форму только множественного числа.

Если бы такое распределение значений относительно категории числа было справедливо для всех существительных, то можно было бы утверждать, что категория числа обслуживает слово в целом. Однако это далеко не так. В пределах слова могут быть значения, как соотносительные по числу, так не соотносительные.

Слова, все значения которых ведут себя одинаково по отношению к числу, т. е. либо все sing. tant., либо все plur. tant., либо все соотносительные, можно назвать гомогенными. Слова, значения которых ведут себя по отношению к числу по-разному, т. е. одни изменяются по числам, а другие нет, можно назвать гетерогенными.

Факт наличия в словаре как гомогенных, так и гетерогенных существительных — убедительное свидетельство того, что категория числа обслуживает не слово в целом, а его значение, или, что то же самое, лексико-семантический вариант слова.

ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО И ВИД ГЛАГОЛА

С точки зрения ориентированности на лексико-семантический вариант слова, а не на слово в целом категория числа существительного аналогична категории вида глагола. Подобно тому, как категория числа охватывает весь класс существительных в том смысле, что нет существительных, стоящих вне категории числа [3], хотя далеко не все существительные, вернее лексико-семантические варианты существительных, соотносительны по числу, так и категория вида охватывает весь класс глаголов в том же смысле: нет глагола вне категории вида, хотя не все глаголы или глагольные значения соотносительны по виду, т. е. образуют видовые пары [4].

Например, мы говорим *заняться/заниматься спортом, делом, с детьми,* но *заниматься в школе* (при невозможности * *заняться в*

---

[3] Ср., однако, противоположную точку зрения у А. А. Реформатского: «Особенности слов pluralia и singularia tantum заключается в том, что они стоят вне грамматической категории числа» (Реформатский, 1960, 391). Также: «Слова singularia и pluralia tantum следует рассматривать как аномалии в грамматической системе языка, так как «нормальным» существительным присуща данная категория, выявляемая в противопоставлении форм единственного и множественного числа» (Реформатский, 1960, 393); см. также: Кацнельсон, 1972, 27; Гузев и Несимов, 1975, 99—100.

[4] «Всякий глагол подводится под категорию вида. Но далеко не все глаголы имеют формы обоих видов» (Виноградов, 1947, 537); или; «Нет глагола, стоящего вне вида, не имеющего грамматической семантики совершенного или несовершенного вида» (Авилова, 1976. 9).

Об аналогиях между категориями вида и числа см. Авилова 1976, 51—53, а также Маслов 1964, 82.

школе); *обвинить/обвинять* в значении ‘полагать, считать виновным в чем-л’, однако только *обвинять* в значении ‘выступать в качестве судебного обвинителя, прокурора’: *Вреве был тот товарищ прокурора, который должен был обвинять в этом заседании* (Л. Толстой. Воскресение) и только *обвинить* в значении ‘вынести кому-л обвинительный приговор; осудить’: *Раз присяжные обвинили, то уж тут не может ничего поделать ни губернатор, ни даже министр* (Чехов, Темнота (СРЛЯ). Глагол *раздирать* не соотносителен с глаголом *разодрать* в значении ‘вызвать внутренний разлад’: *общество раздирают противоречия* и ‘терзать, причинять боль, вызывать мучения’: *Печаль раздирает душу* (ср. Авилова, 1976, 36).

Форма сов. вида *промыслить* значит только ‘добыть что-л (охотой, ловлей, поисками)’, например *промыслить корм*. Форма несов. вида *промышлять* помимо аналогичного значения еще значит ‘заниматься каким-л. промыслом’, например *промышлять извозом, промышлять скотом,* а также ‘заботиться о ком-, чем-л’ например *Сам о себе промышляй.*

На примерах такого рода останавливались многие аспектологи (Маслов, 1964).

В зависимости от способности или неспособности глагола (глагольного значения) образовывать видовую пару глаголы (глагольные значения) делятся на парновидовые и непарные. Распространяя эту аналогию на число, можно говорить о двучисловых и одночисловых словах и значениях (лексико-семантических вариантах).

Отдельно рассмотрим эти термины применительно к словам и лексико-семантическим вариантам слов (ЛСВ).

Применительно к словам *одночисловой* обозначает ‘имеющий форму либо только единственного числа, либо только множественного во всех ЛСВ’. Это всегда гомогенные существительные. Выше приводились примеры таких существительных. Например, *мрак* (*ночной* и *невежества*), *ножницы* (*портновские* и *в оплате труда*). Сюда же относятся лай (*собачий* и ‘ругань’), *отбросы* (‘отходы’ и ‘подонки’: *отбросы общества*) и др.

Двучисловые существительные делятся на три категории:

1. Существительные, у которых все ЛСВ соотносительны по числу, например *доска/доски* (*строительные* и *школьные*). Сюда же относятся *яблоко/яблоки* (‘плод’ и *глазное*), *стакан/стаканы* (*стеклянный* и ‘корпус артиллерийского снаряда’), *звезда* (*небесная, красноармейская* и ‘знаменитость’) и др. Все существительные этой категории тоже гомогенные.

2. Существительные, у которых одни ЛСВ соотносительны по числу, а другие несоотносительны, т. е. одни ЛСВ двучисловые, а другие одночисловые. Выше приводились примеры типа *камень, слово, стол, акварель.* Первые два слова имеют ЛСВ как в формах

sing. tant. и plur. tant., так и в формах sing./plur. Вторые два слова имеют ЛСВ в форме sing. tant. и sing./plur.

Рассмотрим еще примеры с различным числовым оформлением лексико-семантических вариантов существительных: *кирпич/кирпичи* (*делать кирпичи*) и *кирпич* (*возить кирпич*); *основа/основы* (*слов*) и *основы* (*нравственности*); *вода/воды* (*вешние воды*), *вода* (*питьевая*) и *воды* (*минеральные*) и т. д.

Примеры такого рода можно было бы продолжить. Двучисловые существительные группы (б) всегда гетерогенны.

3. Существительные, у которых все ЛСВ несоотносительны по числу. От одночисловых существительных они отличаются тем, что в слове всегда присутствует как единственное, так и множественное число, однако оформляют они разные ЛСВ и всегда являются либо sing. tant., либо plur. tant. Это случаи типа *гонка* (*вооружений*) и *гонки* (*велосипедные*); *волнение* (*на море*) и *волнения* (*народные*); *выбор* (*товаров*) и *выборы* (*в Верховный Совет*); *запись* (*в школу*) и *записи* (*читать по записям*), *сбережение* (*зерна*) и *сбережения* (*трудовые*) и т. д. Двучисловые существительные типа (3) всегда гетерогенны. От типа (2) они отличаются тем, что в их смысловой структуре не содержится ни одного ЛСВ с тождественным значением в единственном и множественном числах.

Изложенную выше классификацию существительных по числовым оппозициям можно представить на схеме (рис. 1).

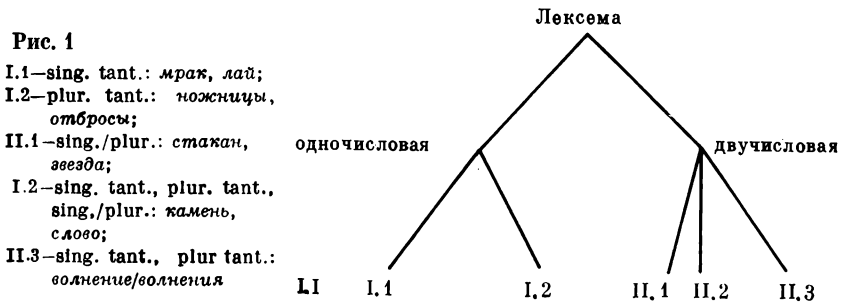


Рис. 1

I.1—sing. tant.: *мрак, лай*;
I.2—plur. tant.: *ножницы, отбросы*;
II.1—sing./plur.: *стакан, звезда*;
I.2—sing. tant., plur. tant., sing./plur.: *камень, слово*;
II.3—sing. tant., plur tant.: *волнение/волнения*

Если продолжить аналогию с видовой терминологией и заимствовать определение «абсолютно» и «относительно» (абсолютно одновидовой и относительно одновидовой), то абсолютно одночисловыми будут рубрики I и II. 3 (см. Авилова, 1976, 57; Маслов, 1964, 91).

Аналогия из области видов для категории II. 3 представлена случаями типа *засесть* (*в засаду*) *заседать* (*на собрании*), *заблу-*

диться (*в лесу*)/*заблуждаться* ('ошибаться') [5], *преподать* (*урок*/*преподавать* (*в академии*) [6].

Относительно одночисловою будет категория II_2 (аналогия из области видов приводилась выше на стр. 51, 52).

Учитывая, однако, что категория числа так же, как и категория вида, обслуживает скорее ЛСВ, чем слово в целом, разумнее с точки зрения оппозиций по числу характеризовать не лексемы, а лексико-семантичные варианты слова. Тогда классификация значительно упрощается. Все ЛСВ подразделяются на одночисловые и двучисловые (рис. 2). Отнесение числовых и видовых форм

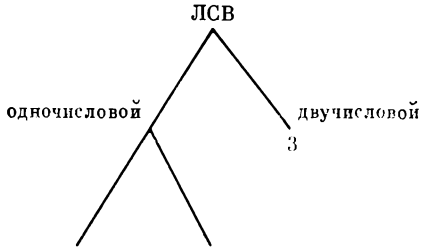


Рис. 2

1.—sing. tant.: *мрак*, *камень* (вещество), *сбережение* (действие); 2.—plur. tant.: *ножницы*, *слова* (текст вокального произведения), *сбережения* (накопления); 3.—sing./plur.: *звезда*/*звезды*, *стакан*/*стаканы*

не к формам слова, а к грамматическому оформлению ЛСВ, не снимает вопроса о тождестве слова. Могут ли формы слова различаться своими ЛСВ? Могут ли формы слова не иметь ни одного общего ЛСВ?

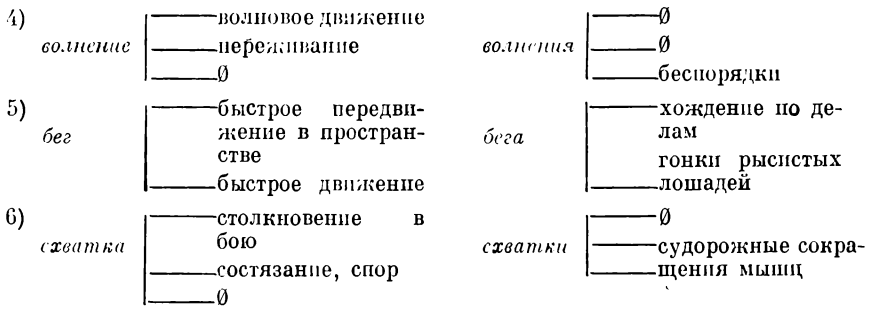
Сравним некоторые формы слов, которые были рассмотрены выше, с точки зрения состава их лексико-семантических вариантов [7]:

1)	*камень*	твердая порода обломок твердой породы Ø	*камни*	Ø обломки твердой породы болезнь
2)	*слово*	единица речи дар речи Ø	*слова*	единицы речи Ø текст вокального произведения
3)	*гонка*	быстрая езда спешка Ø	*гонки*	Ø состязания Ø

[5] Примеры заимствованы у Н. С. Авиловой, 1976, 144.

[6] От вопроса о тождестве слова мы в данный момент отвлекаемся.

[7] Приводимые ЛСВ не исчерпывают смысловой структуры рассматриваемых слов. Полный перечень ЛСВ сделал бы картину трудно обозримой, не изменив существа дела.

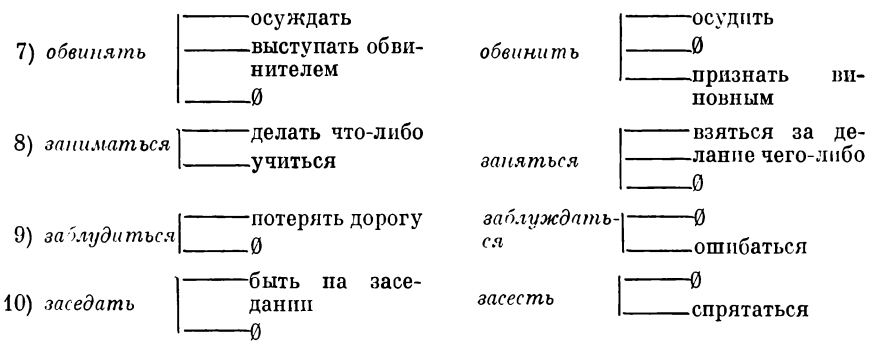


Словарь под редакцией С. И. Ожегова разрывает формы единственного и множественного числа *бег* и *бега*, *схватка* и *схватки* на два отдельных слова. А СРЛЯ подает ед. и мн. число этих слов в одной словарной статье.

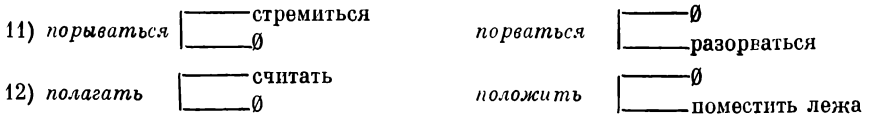
Мы не видим никакой разницы между примерами (3), (4) и (5), (6). В словарях их следует подавать единообразно, т. е. либо во всех случаях в одной словарной статье, либо во всех случаях в разных.

Нет большой разницы и между случаями (1), (2) и (3), (4), (5), (6). Наличие одного (может быть, более чем одного) общего ЛСВ в формах единственного и множественного числа не устраняет семантического различия между ними.

Как упоминалось выше, аналогичное явление имеет место в области видовых корреляций (почти все примеры заимствованы из кн.: Авилова, 1976, 119—120).



Несомненна аналогия случаев (1), (2) и (7), (8), а также (3), (4), (5), (6), и (9), (10). Можно привести случаи несколько более отдаленной и сомнительной семантической связи между формами СВ и НСВ:



Случаи (11), (12) также похожи на случаи (3), (4), (5), (6). Очевидно, вопрос о тождестве слова должен решаться аналогичным образом как для числовых, так и для видовых корреляций.

Споры по поводу того, являются ли формы вида и числа формами одного и того же слова или разными словами, не являются разрешенными. Основным аргументом в пользу того, чтобы формы вида и числа считать разными словами, является нетождественность их по лексическим значениям.

Для того чтобы формы вида и числа можно было отнести к формам одного и того же слова (даже в тех случаях, где у разных форм нет ни одного общего ЛСВ), существенно понятие регулярности этих форм. Регулярность форм числа заключается в том, что вне форм и значений числа нет имени. Регулярность форм вида заключается в том, что вне форм и значений вида нет глагола (см. сноску на стр. 51). Регулярность форм проявляется в том, что если таковая имеется (а ее не может не быть), ее грамматическое значение во всех случаях одинаково (либо достаточно сходно — см. ниже, с. 70). Форма единственного числа всегда выступает со значением нерасчлененности, форма множественного числа всегда выступает со значением расчлененности (счетных или не-счетных объектов). Форма НСВ выступает со значением непредельности действия, а форма СВ — со значением предельности[8]. То, что у одних ЛСВ есть обе формы вида или числа, а у других одна, не нарушает указанной регулярности. Подобная регулярность могла бы быть нарушенной только в том случае, если бы

[8] См., например, у Маслова Ю. С.: «На двух противоположных полюсах глагольной лексики расположены два разряда непарых глаголов несов. и сов. вида т. е., с одной стороны, глаголы, которые обозначают процессы, лишенные внутреннего предела и не поддающиеся моментализации, с другой стороны, глаголы, которые обозначают внезапные скачки и другие действия, не поддающиеся процессуализации» (Маслов, 1948, 316). Ср. также у Н. С. Авиловой: «...если глагол *говорить* имеет несколько значений, то в группу „предельных" глаголов он попадает в значении ‘выражать речью какую-то мысль, сообщать что-то’, и в этом значении этот глагол имеет соотносительную супплетивную видовую пару *сказать* (*говорить — сказать правду*). В значениях „непредельных", например, в значении ‘иметь способность к чему-н’. (*Человек говорит, а животные — нет*), в значении ‘заниматься чем-н’. (*Все говорят, говорят* — Чехов. Три сестры) глагол *говорить* является одновидовым глаголом несовершенного вида, так как его основа „непредельна", в значении этом нет возможности достичь внутреннего предела действия» (Авилова, 1933, 10).

имелись ЛСВ, не различающие вида (для глаголов) или числа (для существительных), но таковых в языке нет [9].

Для тождества слова существенны семантические сходства и семантические различия между ЛСВ, допустимые при полисемии [10], а не их грамматическое оформление или словообразовательная структура (Soboleva, 1976).

Существенны также регулярные структурные сходства и различия между формами одного и того же слова. Такие сходства и различия имеют место как в числовых, так и видовых корреляциях (по крайней мере при имперфективации).

Если настаивать на условии тождества лексических значений различных грамматических форм слова, как это, например, делает Н. С. Авилова для категории вида (Авилова, 1976, 36), то тогда все случаи расхождения форм по лексическим значениям следует вывести из морфологии и рассматривать в сфере словообразования. Препятствий со стороны соотношения лексических значений для такого подхода не имеется, так как смысловые отношения производящего и производного сродни смысловым отношениям внутри многозначного слова. Препятствия для такого подхода возникают со стороны структуры и значений формантов вида и числа. Для словообразования характерна значительно более высокая степень полисемии формантов, чем это имеет место при число- и видообразовании. Кроме того, для словообразования характерна высокая степень синонимии формантов. При число- и видообразовании (имперфективации) синонимия формантов практически не имеет места.

Учитывая сказанное, мы присоединяемся к тем исследователям, которые формы числа и вида (имперфективацию) рассматривают в пределах одного и того же слова [11] даже в тех случаях,

[9] Для глагола таковыми можно было бы считать слова типа *использовать, исследовать, последовать,* которые в зависимости от контекста могут выступать как со значением несовершенного, так и совершенного вида (Молошная, 1973, 173). Однако морфологическая невыраженность значения совершенного вида в данном случае лишь говорит о переносе функции на лексикосинтаксическое окружение глагола. Ср. выражение единичности предмета для форм множественного собирательного и pluralia tantum. Как отмечает Т. М. Молошная, использование формы НСВ в значении СВ — явление более типичное для других славянских языков, нежели русского.

[10] Вопрос о том, какие семантические сходства и различия допустимы при полисемии, а какие характерны для омонимии, здесь не рассматривается.

[11] Об отношении видовых пар в пределах слова см.: Маслов, 1948; Мучник, 1956; Тихонов, 1958, и некоторые другие. Относительно числовых пар см., например, Реформатский, 1960, 399; Зализняк, 1976, 55—62; Грамматика-70, 303 и др.

Ср. менее жесткую точку зрения: «Для признания двух образований видовой парой при многозначности глаголов достаточно тождества по крайней мере в одном лексическом значении» (Бондарко, 1971, 9).

когда сопоставленные формы не имеют ни одного общего ЛСВ, но когда между ними имеют место отношения, допустимые в рамках полисемии.

Очевидно, слово следует считать тождественным самому себе при условии ожидаемо-предсказуемых сдвигов значения — метафорических, метонимических, генерализации значений и т. п., свойственных данному синхронному состоянию языка. Так, например, *камни* в смысле 'камнепочечная болезнь' метафорически связывается с *камень/камни* в значении 'обломок/обломки твердой породы'. *Слова* как 'текст вокального произведения' является синекдохой по отношению к *слова* 'единицы языка'. *Сбережение* и *сбережения* связываются как действие и результат, т. е. метонимически. В паре *заблудиться/заблуждаться* имеет место генерализация конкретного значения 'потерять дорогу', которое переосмысляется в абстрактное значение 'ошибаться', ср. *потерять дорогу* и *потерять мысль*.

В том же случае, когда семантические отношения между разнооформленными значениями не укладываются в рамки допустимой для данного языка полисемии, их нельзя рассматривать в пределах одного и того же слова: *очко/очки, городок/городки, осадить/осаждать*.

Для признания слова тождественным самому себе несущественно совпадение форм словоизменения для всех его лексико-семантических вариантов. Разные лексико-семантические варианты одного и того же слова могут принимать как одинаковые, так и разные формы словоизменения (ср. также английское hang — hung — hung и hang — hanged — hanged), которые, с нашей точки зрения, не разные слова, а разнооформленные лексико-семантические варианты одного и того же слова). Существенна лишь живая семантическая связь лексико-семантических вариантов, допустимая синхронной полисемией.

Таким образом, лексема остается константной не только при морфологической вариативности и вариативности словообразовательных структур (Soboleva, 1976), но и при сопровождающей их допустимой для данного синхронного состояния языка полисемии.

О ТИПАХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЕДИНСТВЕННЫМ И МНОЖЕСТВЕННЫМ ЧИСЛОМ

Ряд исследователей считает число чисто словоизменительной категорией: «Если неединичность дана в языке особой формой, и это не собирательность.., то это не выражение особой предметности, не новая номинативность, а выражение отношения к числу» (Реформатский, 1960, 399).

Для других исследователей существенным критерием грамматичности категории является регулярность ее формального выра-

жения: «Для словоформ... номинативные элементы единичности и множественности очевидным образом являются обязательными и регулярными, и, следовательно, должны быть признаны грамматическими» (Зализняк, 1967, 55).

Однако некоторые исследователи, учитывая влияние лексико-семантических разрядов существительных на значение форм числа, относят категорию числа к лексико-грамматическим категориям: «Категория числа в строе имен существительных, так же как и категория рода, является категорией лексико-грамматической» (Виноградов, 1947, 156). Аналогичной точки зрения на число придерживается и Д. И. Арбатский (Арбатский, 1954, 6).

Исходя из несинтаксичности форм числа, другие ученые рассматривают категорию числа как категорию словообразовательную: «Форма числа существительных является формой несинтаксической, а именно формой словообразовательной, т. к. обозначает различные предметы мысли независимо от словосочетания, заключающего слова с этой формой» (Дурново, 1924, 142). Эта точка зрения восходит к Ф. Ф. Фортунатову (Фортунатов, 1956, 162) и П. С. Кузнецову (Кузнецов 1961, 95).

Некоторые исследователи относят только часть числовых форм к словообразованию. Так, А. И. Смирницкий, рассматривая «лексикализацию» типа *крылья* (*два крыла*), *ноты* при *нота/ноты*; *часы* при *час/часы*; *леса́* (*на стройке*) при *лес/леса*, а также с отсутствием нелексикализованных форм множественного числа *бега́* при *бег*, отмечает: «В последнем случае числовое различие имеет несомненно словообразовательный характер: *бега́* и *бег* — два разных слова». (Смирницкий, 1955, 30). А. И. Сумкина, исследуя пары типа *высевка — высевки*, *емкость — емкости*, относит их к деривационным корреляциям (Сумкина, 1964, 222). С. Д. Кацнельсон, приводя пары *песок — пески*, отмечает, что «...в содержательном плане они различаются не «значениями» единичности и множественности... а своими лексическими значениями, которые хотя и связаны между собой синхронно-деривационными отношениями, но все же не могут рассматриваться как словоизменительные варианты одной лексемы. Слово *песок* ...означает: ‘масса сыпучих крупинок минерала...’, а слово *пески* означает: пространства, изобилующие песком’ (Кацнельсон, 1972, 27). Примеры различного отношения к числу можно было бы продолжить.

Что касается реального положения дел, то, по всей видимости, не во всех случаях категория числа является чисто словоизменительной и не во всех — чисто словообразовательной. Скорей всего, правы те исследователи, которые в ряде случаев усматривают словоизменительные отношения, а в ряде других случаев — словообразовательные. Однако неочерченными в полной мере остаются до сих пор ни сфера словоизменения, ни сфера словообразования в области числа.

Прежде чем разобраться в этом вопросе остановимся на нашем понимании отношений между словоформами единственного и множественного числа. Таких отношений можно выделить два типа.

1. Грамматический тип отношений между формами единственного и множественного числа. Этот тип отношений бывает трех родов.

а) Грамматический тип отношений первого рода имеет место тогда, когда в формах единственного и множественного числа значение слова остается тождественным: *дом — дома, яблоко — яблоки, море — моря* и др.

б) Грамматический тип отношений второго рода имеет место тогда, когда некоторое значение потенциально присутствует или является конструктивно связанным в форме единственного числа, а в форме множественного числа становится явным, объективируется. К таким значениям относятся, например, значения сортов, видов, появляющиеся во множественном числе у вещественных существительных типа *масло — масла, спирт — спирты, белок — белки, нефть — нефти* и др., а также значения инстанций качества и состояния, появляющиеся во множественном числе у абстрактных существительных типа *ёмкость — ёмкости, глубина — глубины.*

Значение сорта вещества существует в конструктивно связанном виде у вещественных существительных и в единственном числе, например *Нефть, добываемая в этом районе, низкого качества*; *Этот белок нестойкий.* Оба предложения могут быть развернуты: *Сорт нефти, добываемой в этом районе, низкого качества; Этот сорт белка нестойкий.* Тогда как предложения *Забила нефть* и *Белок свернулся* не могут быть развернуты с помощью слова *сорт.* Формы нефти, белка, масла, спирта и др. образуются не от первого вещественного значения, а от второго, конкретного значения, конструктивно связанного лимитирующим определением.

Значение инстанции качества и состояния развивается у многих абстрактных существительных и в единственном числе Ср. *глупость этого человека* и *сделать глупость*; *пошлость мещанской жизни* и *сказать пошлость*; *высота полета* и *взять высоту* и т. д. По аналогии с такими существительными можно предположить потенциальное существование конкретных значений и у таких слов, у которых эти значения не зафиксированы словарями. Например, у слов *емкость* и *глубина.* Поэтому употребления типа *морские глубины, емкости для сыпучих тел* можно рассматривать наравне с *радости жизни, делать глупости, говорить пошлости, ужасные гадости* и др. Как и в первом случае, где имеет место не отношение «вещество — сорта вещества», а «сорт вещества — сорта вещества», так и во втором случае имеет место не отношение «качество (состояние) — инстанция качества (состояния)», а «инстанция качества (состояния) — инстанции качества (состояния)».

Поэтому отношения между формами единственного и множественного числа в данном случае грамматические (ср. выше точку зрения А. И. Сумкиной на пары типа *емкость — емкости*).

в) Грамматический тип отношений третьего рода между словоформами единственного и множественного числа имеет место тогда, когда значение множественного числа ожидаемо предсказуемо на основании значения единственного числа. Сюда относятся, например, пары типа *рука — руки, крыло — крылья, ус — усы, туфель — туфли, перчатка — перчатки* и др. Множественное число во всех этих случаях выступает со значением парносоставности. Ср. *взять в руки* и *лес рук; взмахнул крыльями* и *валялись отрубленные головы и крылья.*

Если бы в русском языке до сих пор существовало двойственное число, то отношения типа *ус — усы, рука — руки* являлись бы грамматическими первого рода. Однако грамматическое множественное число первого рода в настоящее время выступает с более обобщенным значением множества предметов независимо от их количества. Поэтому значение парносоставности приходится считать специфическим значением множественного числа, появляющимся под влиянием лексических значений слов.

К значениям множественного числа, также ожидаемо предсказуемым, относятся и значения многосоставности, которым обладают во множественном числе, например, существительные, обозначающие сложные органы человека или животного: *зуб — зубы, кишка — кишки, ноготь — ногти, коготь — когти, ресница — ресницы, волос — волосы* и др.

Существительные, обозначающие природные явления: *ветер — ветры, снег — снега, вода — воды, лед — льды, дождь — дожди, шторм — штормы,* во множественном числе передают значение протяженности в пространстве или во времени.

Существительные со значением сыпучих или вязких веществ и растительности, занимающих какое-либо пространство, во множественном числе обозначают пространства, покрытые этим веществом или растительностью: *песок — пески, грязь — грязи, снег — снега, лес — леса, овес — овсы, озимь — озими.* Это значение близко к предыдущему.

Существительные, обозначающие ощущения отрицательного характера: *боль — боли, му́ка — муки, страдание — страдания, переживание — переживания,* во множественном числе обозначают действия бо́льшей интенсивности, чем соответствующие действия в единственном числе.

О грамматическом типе отношений между единственным и множественным числом во всех этих случаях и им подобных можно говорить потому, что ожидаемая предсказуемость грамматических значений на основании лексических значений исходных форм свойственна ряду грамматических категорий. В частности это

характерно для форм вида, залога и перфекта. Очевидно, с этой точки зрения к категориям вида, залога и перфекта примыкает и категория числа. Вместе с тем, нельзя не заметить, что грамматические отношения третьего рода близки к словообразовательным.

2. Лексико-семантический тип отношений между формами единственного и множественного числа. Этот тип отношений имеет место тогда, когда между формами единственного и множественного числа имеется непредсказуемое различие в значениях. Однако значение множественного числа семантически выводимо из единственного. В качестве примера семантической выводимости множественного числа из единственного можно привести формы типа *леса — леса,* где *леса* означает 'временное сооружение из досок или металлических трубок...', а *лес* означает 'срубленные деревья как строительный... материал'. Примером семантической выводимости множественного числа из единственного служит также значение словоформы *хоры* 'открытая галерея... (первонач. для помещения хора, оркестра)'. В единственном числе слово *хор* значит, в частности, 'группа певцов'. Еще одним примером может послужить пара словоформ *тело — телеса,* где телеса означает 'тело толстяка или толстухи'. В этих и подобных примерах форма единственного числа может быть обычной, т. е. грамматически соотносительной с множественным числом: *тело — тела, хор — хоры* или sing. tant., например *лес* (как строительный материал). Множественное же число, семантически выводимое из единственного, всегда только несоотносительное, т. е. plur. tant. К семантически выводимым формам множественного числа можно также отнести *часы, клещи.* С соответствующими формами единственного числа у форм типа *леса, хоры, часы, клещи* и др. — живая метонимическая или метафорическая связь, не позволяющая говорить об образовании омонимов. В словарях, к сожалению, распространена практика подачи этих форм в качестве самостоятельных слов.

Лексико-семантический тип отношения между словоформами единственного и множественного числа сродни отношениям между значениями одного и того же слова. Видимое различие заключается в том, что в данном случае эти значения оформлены разными числами. Вместе с тем индивидуальное числовое оформление различных значений слова не исключение, а довольно распространенное явление при полисемии. Ср. выше *стол/столы* 'предмет мебели' и *стол* 'диэта', *акварель* 'краска' и *акварель/акварели* 'картина', *камень* 'твердая порода'; *камень/камни* 'обломок твердой породы', *камни* (*в почках*) 'болезнь', *слово/слова* 'единица речи', *слово* 'речь' (*дар слова*), и *слова* 'текст вокального произведения' (*романс на слова Пушкина*) и т. д.

Лексико-семантическая связь между словоформами, различающимися по числу (*лес — леса, хор — хоры, клещ — клещи*), так же

как и между словоформами, не различающимися по числу, непредсказуема. Возможные типы лексико-семантической связи достаточно хорошо известны из самасиологии (метафора, метонимия, синекдоха и др.). Однако реализацию связи невозможно предвидеть в каждом конкретном случае: почему клещи — инструмент, хоры — галерея, а камни — заболевание? Почему производное значение у русского слова *стол* — диета, а английского table — таблица и горное плато?

Непредсказуемость производных значений при их явной семантической выводимости из производящих не может служить аргументом в пользу признания их омонимами.

Следует подчеркнуть, что как грамматический, так и лексико-семантический тип отношений между словоформами единственного и множественного числа не нарушает тождества слова. Так, *спирт — спирты, емкость — емкости, зуб — зубы, снег — снега* одно и то же слово, и *камень — камни* (*в почках*), *лес — леса* (*строительные*), *хор — хоры* (галерея) и др. являются одним и тем же словом.

ЛЕКСИКАЛИЗАЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

К лексикализованным формам множественного числа относятся обычно весьма разнородные явления. Это и формы множественного собирательного числа со значениями сложносоставности, например, *руки, глаза, номера* (гостиница), грамматически соотносительные с единственным числом. И формы plur. tant. отглагольных существительных типа *бега, скачки,* находящиеся в отношениях равнопроизводности с соответствующими формами единственного числа *бег, скачка.* И фигуративные значения, развившиеся от формы множественного числа, соотносительного с единственным, например *барашки* 'пенистые волны; белые облака; цветы ивовых деревьев' производное от *барашек — барашки* ягнята' И значения plur. tant., соотносительные со значениями единственного числа по линии лексической семантики. Это так называемые семантически выводимые формы множественного числа типа *лес* 'срубленные деревья как материал' и *леса* 'временное сооружение из досок или металлических стержней', *тело* 'организм человека' и *телеса* 'жирное тело толстяка или толстухи', *хор* 'группа певцов' и *хоры* 'открытая галерея, балкон (первонач. для помещения хора, оркестра)', см. Смирницкий, 1954, 16—17; Смирницкий, 1955, 30; Виноградов, 1960, 1, 4: Новиков, 1960, 98 и др.

Кроме примеров множественного собирательного типа *руки, ноты,* все остальные категории форм, рассматриваемых как лексикализованные, объединяются по принципу утраты или отсутствия соотносительности с единственным числом.

Вместе с тем отсутствие соотносительности с единственным числом является необходимым, но не достаточным условием для лексикализации множественного числа. Отсутствие соотносительности не всегда связано с лексикализацией, хотя лексикализация всегда связана с отсутствием соотносительности.

Рассмотрим множественное собирательное, а также все случаи отсутствия соотносительности между множественным и единственным числом для того, чтобы решить, какие из них могут быть квалифицированы как лексикализация. Рассмотрим также возможные типы лексикализации множественного числа.

СЛУЧАИ ТИПА РУКА — РУКИ, ПЕСОК — ПЕСКИ

Сторонники «лексикализации» форм множественного собирательного числа полагают, что значение сложносоставности носит скорее лексический, нежели грамматический характер [12]. Основанием для такого заключения служит та семантическая надбавка, которая имеет место в каждом отдельном случае употребления множественного собирательного. Выше, на стр. 61, мы уже говорили об этой семантической надбавке. Вместе с тем в пользу грамматической трактовки множественного собирательного говорит его больша́я регулярность и предсказуемость производного значения. Так, любой объект, существующий в виде пары симметрических элементов во множественном собирательном получает значение парносоставности: *глаза, усы, руки, плечи, ноги, туфли, перчатки, гамаши, наушники, почки, легкие, мозги, гантели* и др. (см. Чельцова, 1977, 114, 117).

Не менее регулярно значение многосоставности для названия непарных органов человека или животного: *зубы, кишки, волосы, когти, ресницы.* С тем же значением сложносоставности выступают наименования произведений по их составной части: *куплеты* (сатирическая песенка), *стансы* (станс — строфа стихотворения, представляющая собой законченное синтаксическое целое, стансы — стихотворения из таких строк), *ноты, слова* (текст к музыке); наименования помещений тоже по составной части: *номера* (гостиница), *палаты* (дворец). Со значением протяженности в пространстве или во времени выступают наименования атмосферных явлений: *холода, ветры, дожди, снега, льды, воды, торосы.* Со значением интенсивности выступают во множественном числе значения отрицательных эмоций человека: *боли, муки, страдания, переживания.* Значение протяженности в пространстве и во вре-

[12] См., например: «...Отношение к определенному числу превращается уже в признак данного комплексного предмета. Ср., например, *усы*... где грамматическая множественность... выступает уже как выразитель л е к с и ч е с к о г о момента (разрядка моя.— *П. С.*). Единица *усы* в указанном выше значении становится уже другим словом...» (Смирницкий, 1954, 16—17).

мени, так же как и значение интенсивности, являются разновидностями значения сложносоставности; также со значением сложносоставности выступают наименования игр по совокупности орудий: *кегли, карты* (колода), *орехи* (играть в орехи), *блошки, шашки* (а также любые другие предметы, которые могут быть использованы для игры). Для одушевленных существительных множественное коллективное называет семью по ее членам: Форсайты, Ростовы, Романовы и национальность по ее представителям: французы, немцы.

Как следует из вышеизложенного, некоторые лексико-семантические разряды существительных, способные образовывать множественное собирательное, представляют собой открытые ряды. Это наименования парных объектов, названия национальностей, имена семейств, названия игр. Другие образуют закрытые ряды. Это, как правило, неодушевленные многосоставные объекты.

Отношения между единственным числом и множественным разделительным похожи на отношения между единственным числом и множественным собирательным только в области открытых рядов, т. е. для парносоставных (*туфля — туфли, легкое — легкие*), многосоставных органов человека и животного (*зуб — зубы, коготь — когти*), наименования игр по орудиям (*солдатик — солдатики, орех — орехи*), а также одушевленных существительных (*член семьи — семья, представитель нации — нация*). Эти отношения близки морфологическим. Отношение же между единственным и множественным числом в остальных случаях (*нота — ноты, станс — стансы, слово — слова, номер — номера, песок — пески,* 'пространства, покрытые песком', *вода — воды* 'толщи воды и пространства, покрытые водою') и др. скорей напоминают словообразовательные, нежели чисто морфологические. Отношения между «производящим» и «производимым» в данном случае отвечает всем критериям словообразовательных отношений: имеются лексически ограниченные классы первичных слов, имеется одинаковый предсказуемый сдвиг значения у вторичных слов, имеется формант, который можно рассматривать как носитель словообразовательного значения. Что касается открытых рядов, т. е. многосоставных наименований игр, органов человека или животного, а также существительных одушевленных (*семья, национальность*), то имеется возможность рассматривать их и как приближающихся к морфологическим и как остающихся словообразовательными. Очевидно, было бы разумно все случаи образования множественного со значением сложносоставности рассматривать единообразно.

Так как возможности рассматривать все случаи образования множественного собирательного как морфологическую деривацию не имеется, приходится в целях унификации рассматривать все случаи образования множественного собирательного как лексическую деривацию, т. е. словообразование. Теперь мы можем отве-

тить на вопрос, являются ли случаи типа *руки, ноты, карты* лексикализацией множественного числа существительных.

Как нам представляется, возможны два понимания явления лексикализации множественного числа — узкое и широкое.

Под лексикализацией множественного числа в узком смысле слова можно понимать некоторый сдвиг значения слова во множественном числе по сравнению с его значением в чисто грамматическом множественном числе, т. е. множественным разделительным. Как следствие этого — ослабление или утрата соотносительности с единственным числом. Классическим примером такой лексикализации являются случаи типа *барашки* 'пенистые волны, перистые облака', метафорически производное от *барашки* 'ягнята'.

Под лексикализацией множественного числа в широком смысле можно понимать любое нарушение соотносительности между значением слова во множественном числе и его значением в единственном. Если принять вторую точку зрения, все одночисловые лексико-семантические варианты слов придется считать лексикализованными, как sing. tant., так и plur. tant., так как в этих случаях нет соотносительности либо с единственным либо с множественным числом. Если отсутствие грамматической соотносительности по числу между лексико-семантическими вариантами слова всегда считать лексикализацией числа, то тогда весь класс существительных будет в значительной степени лексикализован. Последнее представляется сомнительным [13]. Особенно сомнительно широкое понимание лексикализации как любого разрыва соотносительности между единственным и множественным числом в тех случаях, где смысловая структура слова складывается только из sing. и plur. tant. (только лексикализованные формы по А. А. Реформатскому: *выбор/выборы, грязь/грязи, гонка/гонки, сбережение/ сбережения, копчение/копчения, высевка/высевки* и др.). Получается, что разрыв соотносительности по числу здесь приходится констатировать у лексико-семантических вариантов слова, которые по своей природе соотносительными быть не могут.

В связи со сказанным выше мы принимаем первое, более узкое понимание лексикализации множественного числа.

Если полагать, что формы *руки* 'пара рук', *зубы* 'орган человека или животного', *карты* 'колода игральных карт' являются производными от *руки* 'множество рук', *зубы* 'множество зубов', *карты* 'множество карт', а не от соответствующих форм единственного числа, то тогда можно было бы ставить вопрос о лексикализации этих форм. При этом, правда, пришлось бы считать

[13] Ср., однако, у А. А. Реформатского: «В случаях pluralia и singularia tantum... можно констатировать лексикализацию связи с утратой оппозиции числа» (Реформатский, 1960, 393). Ведь во многих случаях этой оппозиции никогда не было и быть не может!

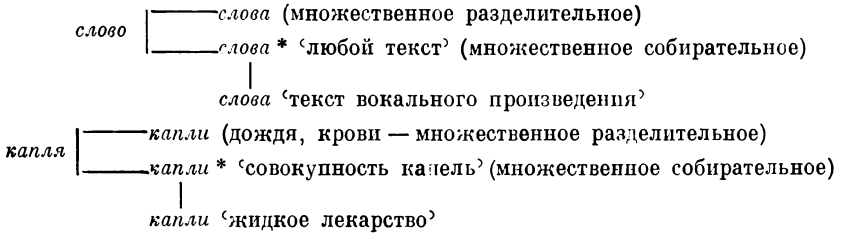
множественное собирательное производным, вторичным по отношению к множественному разделительному. Вряд ли, однако, можно представить себе такую ситуацию, когда, например, *туфли* 'пара туфель' было бы производным от *туфли* 'множество разрозненных туфель' или *зубы* 'орган для откусывания и жевания' было бы производным от 'множество отдельных зубов'. Очевидно существует прямая соотносительность *туфля* + *туфля* 'пара туфель' и *зуб* — *зубы* (как орган). Возможно, для множественного собирательного более правильным направлением деривации следовало бы считать «множественное число→единственное», а не наоборот, т. е. *руки* — *рука, глаза* — *глаз, легкие* — *легкое, почки* — *почка, зубы* — *зуб, ногти* — *ноготь, ресницы* — *ресница* и т. д. (см. Чельцова, 1976, 9). Если слова типа *руки, волосы, зубы* не являются переосмыслением множественного разделительного, а выступают в самостоятельной форме множественного собирательного, их нельзя считать лексикализованными формами множественного разделительного. В том же случае, если признать выводимость некоторых из них из множественного разделительного (например, *ноты, номера*), то тогда их следует считать лексикализованными формами.

Вместе с тем, если отношения типа «элемент собирательного множества — собирательное множество» (или проще «часть — целое») мы находим возможным рассматривать как словообразовательные, то естественно искать в парах, соотносящихся по этой модели, другой тип лексикализации, а именно, словообразовательную лексикализацию.

Под словообразовательной лексикализацией понимается сдвиг значения производного относительно общего или частного значения деривационного шага (Соболева, 1974, 193—202). Так, например, лексикализованной формой считается форма *писатель* потому, что писатель — это не просто тот, кто пишет, но тот, кто пишет литературные произведения. Ср. нелексикализованные *нагнетатель, разрыхлитель* и др.

Кожанка значит не любой предмет, сделанный из кожи, скажем, 'кожаные перчатки' или 'кожаная шапка', а только 'кожаное пальто'. Ср. нелексикализованные *взрывчатка, обутка, однолетка. Бегун* обозначает не всякого бегущего, а только профессионального участника соревнования; *плывун* — не все, что плавает или расплывается, а насыщенный водой грунт, обладающий способностью расплываться, растекаться (ср. нелексикализованные *ворчун, капризун, шалун, врун*); *танцор* обозначает как любого танцующего, так и профессионального танцовщика, а *танцовщица* — только профессионалку и т. д. Специализация значения в этих и подобных случаях не обусловлена ни значениями деривационного шага, ни производящего слова, ни значением словообразовательного форманта.

Аналогичные лексикализованные формы можно найти и у множественного собирательного. Это, например, *капля* ‘маленькая отдельная частица жидкости округлой формы’ — *капли* ‘жидкое лекарство, принимаемое по счету таких частиц’. Нелексикализованным было бы гипотетическое значение типа ‘совокупность капель любой жидкости, заполняющая склянку’. Также *слово* ‘единица речи, служащая для выражения понятия’ — *слова* ‘текст вокального произведения’. Нелексикализированным было бы гипотетическое значение типа ‘любой ограниченный текст’. Схему формирования лексикализованных словообразовательных значений для множественного собирательного можно показать на следующем чертеже (схема).



Итак, у множественного собирательного есть все, что необходимо для производного слова, включая лексикализованные формы.

Естественно возникает вопрос о том, какой характер словообразовательных отношений имеет место в данном случае. О каком способе словообразования может идти речь?

О способе словообразования множественного собирательного

Способ словообразования определяется путем сопоставления форм производящего и производного. Совокупность форм производящего в данном случае складывается из оппозиции единственного числа и множественного разделительного: *рука — руки* (лес рук), *капля — капли* (капли крови, дождя). Совокупность форм производного складывается из оппозиции единственного числа множественному собирательному: *рука—руки* (пара рук), *капля — капли* (жидкое лекарство).

Сравнение форм производящего и производного дает возможность обнаружить словообразовательное средство, являющееся носителем словообразовательного значения. Словообразовательным средством в данном случае могут быть либо парадигма, либо нулевой словообразовательный аффикс. В любом случае тогда отношения между производящим и производным определялись бы как отношения по конверсии.

Если словообразовательным средством считать парадигму, то придется констатировать, что достаточным условием для того, чтобы считать парадигму иною — является различие в значениях флексии только множественного числа, так как значения флексий единственного числа можно считать идентичными, как в случае пар слов, связанных отношениями разделительного множества, так и в случае пар слов, связанных отношениями собирательного множества (оппозиции «один — много» и «часть — целое» достаточно близки).

Выше, в связи с другими вопросами, мы уже говорили о том, что различия в значениях флексий множественного числа не носят характера омонимии; из-за наличия общего инвариантного значения расчлененности они носят характер грамматической полисемии. Следовательно, мены одной парадигмы на другую не происходит. В данном случае меняются варианты одной и той же парадигмы. И эти варианты, пожалуй, не настолько различаются, чтобы служить словообразовательным средством для той разновидности конверсии, которую мы здесь подозреваем.

Обычно одному и тому же явлению безаффиксного словопроизводства может быть предложено альтернативное описание. Либо как мена парадигмы (Смирницкий, 1954), либо как нулевая деривация (Marchand, 1960), либо как то и другое вместе (Лопатин, 1975).

В случае множественного собирательного, в отличие от пар типа love — love, doctor — doctor, *супруг — супруга, золото — золотой, ходить — ход, синий — синь*, для которых может быть предложено любое описание, альтернативное описание не может быть предложено, так как парадигмы не настолько различаются, чтобы служить словообразовательным средством.

Учитывая это, более убедительным является постулирование нулевого аффикса как словообразовательного средства для случаев типа *руки, ноты,* если мы хотим считать их словообразовательными формами [14].

Имеется и другая возможность в трактовке данных отношений (в пределах словообразовательного понимания). Можно в данном случае усмотреть отношения аффиксации, если доказать, что флексии множественного числа подвергаются лексикализации, т. е. превращаются из словоизменительных в словообразовательные. Опять же это касается только флексий множественного числа. Такой подход вполне возможен.

---

[14] *Ноты* можно понимать и как форму множественного совместного и как pluralia tantum. Подробнее см. с. 78, а также сноску 15 на с. 71.

О двух значениях множественного числа и тождества слова

В результате нулевой деривации или лексикализации флексий у слова возникает вторая форма множественного числа, которую мы вынуждены считать в некотором смысле омонимичной первой, так как одна из них словоизменительная, а другая словообразовательная (схема, с. 70). Как можно квалифицировать эту омонимию? Прежде всего следует отметить, что эта омонимия не может считаться лексико-семантической, так как значения слова в обеих формах множественного числа связаны, по крайней мере, опосредованной связью через значение слова в единственном числе. Эта омонимия могла бы быть признана грамматической в том случае, если стать на позицию лексикализации флексий множественного числа или считать форму множественного разделительного и множественного собирательного грамматическими омонимиями, что невозможно из-за наличия у них общего инвариантного значения расчлененности. Если придерживаться гипотезы о нулевом словообразовательном суффиксе, то и для грамматической омонимии не остается места. Единственный вид омонимии, который здесь можно безусловно констатировать, это омонимию словообразовательную, так как сравниваемые формы различаются словообразовательной структурой. Формы разделительного множественного относятся к категории непроизводных имен R_2O, а формы собирательного множества — к категории отыменных имен R_2R_2O.

рука — *руки*[1] (лес рук)
рука — *руки*[2] (пара рук)
капля — *капли*[1] (дождя, крови)
капля — *капли*[2] (валерьяновые)
нота — *ноты*[1] (взял две ноты)
нота — *ноты*[2] (переписал ноты к песне)

Как мы полагаем (Soboleva, 1976), различие лексико-фразеологических форм (лексико-семантических вариантов) слова по их словообразовательной структуре не является достаточным условием для нарушения тождества слова. См., например два значения слова *лакейство:* «сословие лакеев» R_2R_2O (*лакей — лакейство*) и «угодничество» $R_2R_1R_2O$ (*лакей — лакействовать — лакейство*), два значения слова химия: «наука» R_2O и «прическа» $R_2R_3R_2O$ (*химия — химическая прическа — химия*), два значения слова *пилка* (‘маленькая пила’ R_2R_2O и ‘пиление’ $R_2R_1R_2O$) и другие случаи.

Очевидно, и в данном случае различие в значениях, лексических и даже грамматических, поддержанных различием в словообразовательной структуре, еще недостаточно для того, чтобы считать разные формы множественного числа разными словами. Речь может идти только о словообразовательной омонимии. А словообразовательная омонимия сама по себе не достаточна для того, чтобы говорить о нарушении тождества слова [15].

Итак, образования типа *руки, зубы, куплеты, Форсайты* и др. не являются в большинстве случаев лексикализованными. Это одна из форм множественного числа со значением сложносоставности. Имеется ряд оснований рассматривать это значение как словообразовательное, а формы множественного числа как производные от единственного. О лексикализации в связи с этими образованиями можно говорить в следующих двух случаях:

а) о лексикализации словообразовательной, в случаях типа *капли, слова;*

б) о лексикализации флексий, если усматривать отношения аффиксации между единственным и множественным числом.

О двух степенях лексикализации

Обратимся к схеме рис. 3, на которой, в частности, показана лексикализация значения ‘сорта, виды воды’. Как видно из схемы, процесс лексикализации не останавливается на стадии образования значения ‘минеральные воды’. Он продолжается и приводит к образованию значения ‘курорт с минеральными источниками’. Аналогичное явление наблюдается и в форме *грязи*. На основе значения ‘лечебный ил’ развивается значение ‘место, где им лечатся’.

Если исходным грамматическим значением множественного числа (гипотетическим в данном случае) было значение разделительного множества, то у производного первой степени (семантической) производности, ставшим plur. tant., это значение преобра-

[15] Ср. другую точку зрения по этому поводу: «Когда при словоформах единственного числа имеются и соответствующие словоформы множественного числа с тем же лексическим значением (*ноты* ‘музыкальные звуки, их знаки’, при *нота* ‘музыкальный звук, его знак’), особое, специальное лексическое значение у словоформ множественного числа, неизвестное в единственном числе (*ноты* ‘запись музыкального произведения’) может расщеплять каждую словоформу множественного числа на два омонима, вследствие чего получаются и два слова, являющихся частично омонимами; например: *нота/ноты и ноты*. Наличие здесь омонимии (а не многозначности) определяется не тем, что смысловая связь между разными лексическими значениями утрачивается: эта связь может оставаться; но различия в семантическом характере самих форм множественности и соединенность определенных лексических значений с оформлением в виде plur. tant. создают тот внутренний разрыв, который характерен для омонимии» (Смирницкий, 1955, 30).

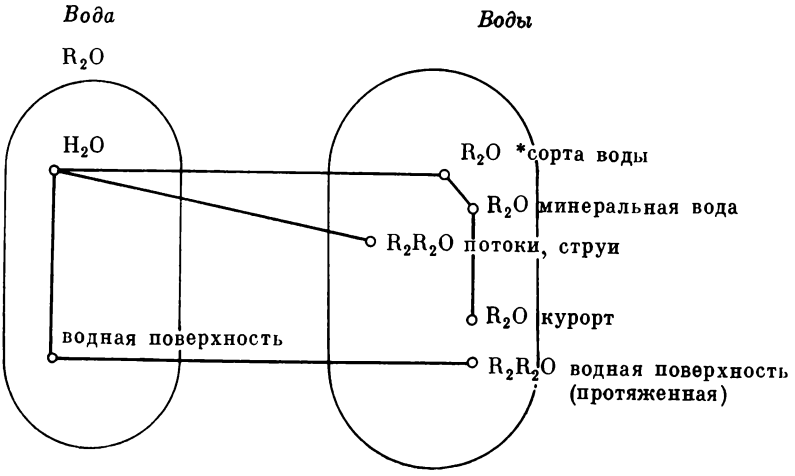


Рис. 3

зуется в значение сложносоставности: у *грязи* и *воды* возникает значение сложносоставного объекта. У значений второй степени производности нивелируется значение сложносоставности, т. е. множественного числа вообще. Флексии множественного числа десемантизируются.

Явления, рассмотренные в словах типа *воды, грязи,* позволяют говорить о различных степенях лексикализации; конечным этапом которой является полная десемантизация флексий множественного числа.

Семантическое развитие множественного числа разделительного

Лексикализованными в полном смысле этого слова следует считать формы типа *барашки* ‘небольшие белые пенистые волны’, а также ‘небольшие перисто-кучевые облака’. Ср. *барашек* уменьш. к *баран* ‘ягненок; выделанная шкура молодого барана’. *Арабески* ‘собрание мелких литературных или музыкальных произведений’. Ср. *арабеск, арабеска* ‘узорчатый орнамент из листьев, цветов, геометрических фигур’. *Верхушки* ‘привилегированная часть какой-нибудь социальной группы’, ср. *верхушка* ‘верхняя часть чего-н.’ (верхушка дерева). *Блошки* ‘костяные кружочки, подпрыгивающие при нажимании их краев’, ср. *блошка,* уменьш. от *блоха. Основы* ‘исходные главные положения чего-н’., ср. *основы* ‘внутренняя опорная часть предметов, остов’ (деревянная основа дивана). *Ряды* ‘ларьки, магазины’ (торговые ряды), ср. *ряд* ‘линия ровно расположенных однородных предметов’. *Пики* ‘в игральных

картах: название черной масти с изображением наконечника копья' (дама пик), ср. *пика* 'колющее оружие, род копья'. *Верхи* 'высшая, руководящая часть общества', ср. *верх* 'наиболее высокая часть чего-н.' *Зады* (твердить зады), ср. *зад* 'задняя часть чего-н'. *Низы* 'непривилегированная часть населения', ср. *низ* 'нижняя часть чего-н'. и др.

Во всех случаях лексикализации множественного числа живо ощутим троп, как правило, метафора. Поэтому нам представляется необоснованной подача в словаре лексикализованных форм как отдельных слов. Например, словарь под ред. С. И. Ожегова приводит формы *барашки, блошки* и *пики* как отдельные словарные статьи. Их следовало бы трактовать аналогично другим лексикализованным формам типа *верхи, верхушки, зады, арабески, ряды, низы* и др.

Что касается семантического сдвига, то он во всех случаях налицо. Грамматическое значение множественного числа тоже видоизменяется в связи с тем, что в лексикализованном значении слово теряет соотносительность с единственным числом и превращается в plur. tant. Значение plur. tant., как говорилось выше, это значение сложносоставности. Так как носителем значения сложносоставности является система флексий множественного числа plur. tant., то эти слова в каком-то смысле напоминают членимые слова со связанными основами. Аналогия производности для них создается формами собирательного множественного, соотносительными с единственным числом (*руки, зубы, куплеты, капли, слова*).

В отличие от сравнительных с ними соотносительных форм собирательного множества формы plur. tant. типа *барашки, арабески* не могут рассматриваться в полном смысле словообразовательными. Для этого нет самого необходимого условия, а именно регулярно предсказуемого сдвига значения для определенных классов слов. Каков будет метафорический перенос в каждом конкретном случае, непредсказуемо. Одного условия, а именно наличия общего «словообразовательного» значения сложносоставности недостаточно для диагностирования словообразовательных отношений.

Но если все-таки предположить, что между лексикализованными и нелексикализованными формами существуют словообразовательные отношения, т. е. отношения производящего и производного, например между *барашки* 'ягнята' и *барашки* 'пенистые волны', *блошки* 'маленькие блохи' и *блошки* 'костяные кружочки' и др., то, как и в случае *зуб — зубы* (или *зубы — зуб*), *куплет — куплеты* (или *куплеты — куплет*), встанет вопрос о характере этих словообразовательных отношений. Очевидно, что в данном случае имеется больше оснований говорить о конверсии, ибо происходит мена полной парадигмы на ущербную, как, например, при субстантивации прилагательных.

Можно было бы также усмотреть здесь отношения аффиксации, если предположить лексикализацию флексий множественного числа и превращение их в словообразовательный формант со значением сложносоставности. Однако по чисто семантико-словообразовательным соображениям — отсутствие регулярного предсказуемого сдвига значения для лексико-семантических разрядов слов — мы склоняемся к первой точке зрения, т. е. считаем формы типа *барашки*, *блошки*, *верхи*, *низы* словоизменительными, но не словообразовательными [16].

Таким образом, лексикализация множественного числа, сопровождаемая образованием отдельного значения слова, не создает ни лексических, ни словообразовательных омонимов и не нарушает тождества слова.

Говоря о лексикализации множественного числа, следует остановиться не только на случаях грамматической соотносительности первого типа, т. е. на случаях полного совпадения значений единственного или множественного числа, но и на случаях грамматической соотносительности второго типа, а именно объективации во множественном числе значений, потенциально присутствующих или конструктивно связанных в единственном числе. К ним относятся, например, значение сортов, видов вещественных предметов, с которым выступает множественное число слов типа *спирт, медь, нефть, грязь, вода, масло, крупа* и др. Некоторые из них во множественном числе лексикализуются. Например, значение *грязи* ‘озерный или лиманный ил как лечебное средство’ можно объяснить как лексикализацию множественного числа от *грязь* ‘размякшая от воды почва’. Нелексикализованная форма *грязи* в этом случае значила бы сорта, виды такой почвы. Одним из видов грязей являются лечебные грязи, за которым и закрепляется это название.

Иное объяснение появлению plur. tant. *грязи* можно предположить, если установить отношения семантической выводимости между *грязь — грязи* (как в случаях *хор — хоры, лес — леса, тело — телеса*). Об этом мы будем говорить в следующем разделе.

Другим примером лексикализации множественного числа со значением сорта может служить форма *воды* в значении ‘минеральные источники’. Возникновение этого значения можно объяснить через лексикализацию множественного числа со значением ‘сорта́, виды воды’. За одним сортом, а именно «минеральным», закрепилась форма множественного числа. Если не усматривать лексикализацию множественного числа, придется рас-

[16] Ср., однако, другую точку зрения: «Использование формы двойственного или множественного числа в целях словообразования приводит к образованию форм типа pluralia tantum, в которых форма числа лексикализована и несет формальную функцию непродуктивной словообразовательной формы» (Кацнельсон, 1972, 31).

www.ruslang.ru

сматривать форму воды как семантически выводимую из единственного числа *вода*.

На примере формы *вода* можно показать сложную смысловую структуру множественного числа. Форма *вóды* значит: 1) водное пространство какого-н. района (территориальные воды, внутренние воды); 2) потоки струи, волны, водная масса (весенние воды, воды Волги); 3) минеральные источники; 4) курорт с такими источниками.

Значение (1) является множественным собирательным от значения *вода* ‘водная поверхность’. «Словообразовательным» значением в данном случае служит значение ‘протяженность в пространстве’.

Значение (2) является также множественным собирательным от значения *воды* ‘прозрачная бесцветная жидкость’. «Словообразовательное» значение ‘протяженность в массе’. Третье значение, как мы говорили выше, является результатом лексикализации грамматического множественного числа ‘сорта, виды воды’. И четвертое — дальнейшая метонимизация этого значения. Соотношение значений единственного и множественного числа показано на рис. 3. Значение ‘потоки, струи и водная поверхность’, являясь собирательным множественным по отношению к единственному числу слова *вода*, могут рассматриваться как словообразовательно производные от него со структурой R_2R_2O. Как явствует из рис. 3, основные значения множественного числа связаны между собой опосредованно, через значения единственного числа.

Следует заметить, что опосредованная связь значений является одним из критериев производности слова (Соболева, 1960). Очевидно, наше предположение о словообразовательном характере значения собирательного множественного находит подтверждение и в смысловой структуре словоформы множественного числа.

Множественное число, семантически производное от единственного

Выше было рассмотрено plur. tant., семантически производное от plur. Такое множественное число мы назвали лексикализованным. В процессе рассмотрения лексикализованного множественного числа возникали такие случаи, которые небесспорно возводились к множественному грамматическому (разделительному). Это были случаи типа *грязи* и *воды*. Там же была упомянута другая допустимая трактовка этих случаев, а именно семантическая выводимость множественного числа из единственного. Рассмотрим несомненные случаи такой выводимости, которую исследователи тоже относят к области лексикализации множест-

венного числа. (Смирницкий, 1954, 1955; Новиков, 1960; и др.). Так, значение *хоры* ‘открытая галерея, балкон в верхней части большого зала (первонач. для помещения хора, оркестра)’ может быть выведено только из *хор,* так как на галерее располагался один хор, а не несколько. Значение *леса* ‘временное сооружение из досок или металлических стержней у стен здания для строительных или ремонтных работ’, *здание в лесах* может быть выведено только из значения *лес* ‘срубленные деревья как строительный материал’, которое относится к категории sing. tantum и вообще не употребляется во множественном числе. Значение *телеса* (о жирном теле толстяка или толстухи) даже формально отличается от множественного числа *тела.* Значение *весы* ‘прибор для определения веса’ выводится из единственного числа *вес* ‘тяжесть кого — чего-н., определенная какой-н. мерой’. В этом значении *вес* во множественном числе не употребляется. Значение *клещи* ‘металлические щипцы’ выводимо из единственного числа *клещ* ‘мелкое членистоногое животное из отряда паукообразных’ потому, что действие щипцов можно уподобить хватке клеща (а не клещей). Форму *часы* ‘прибор для измерения времени’ можно считать семантически производной как от единственного, так и от множественного числа. Выбрать первую альтернативу нас заставляет отсутствие типовой смысловой соотносительности, которая наблюдается между формами множественного числа при лексикализации. Это обычно яркая живая метафора (*барашки, блошки, верхи, ряды* и др.) или синекдоха (*воды, грязи*). Что же касается семантической выводимости из единственного числа, то она слабо поддается систематизации.

Следует отметить, что словарями такие случаи часто трактуются как отдельные слова. Исследователи явления лексикализации считают эти слова утратившими семантическую связь с соответствующими формами единственного числа (Новиков, 1960, 98—101). Противоположной точки зрения, по крайней мере на один из рассмотренных выше случаев, придерживается К. П. Авдеев: «Ю. С. Сорокин полагает, что *лес* и *леса* (строительные) — это омонимы. Но почему не разные значения одного слова? *Лес* (растущий), *лес* (доски и бревна), *леса* (строительные, которые возводятся из этих бревен и досок) — разве все это семантически не связано друг с другом и разве эта семантическая связь перестала ощущаться?» (Авдеев, 1960, 83). То же самое можно сказать и относительно всех приведенных выше случаев.

Не беря на себя смелость констатировать семантический разрыв или отсутствие такового во всех рассмотренных случаях, отметим, что он в принципе возможен. Так, именно деривацией от единственного числа возникло слово *мощи* ‘высохшие останки людей, считаемые церковью святыми’. Такова же история возникновения слов *очки, городки* и многие другие (Новиков, 1960).

Каковы же отношения между единственным и множественным числом в рассмотренных выше случаях?

Как и при лексикализации множественного числа существуют две возможности трактовки этих случаев. Первая — словообразовательная, вторая — лексико-семантическая. В пользу словообразовательной трактовки этих случаев говорит возможность выделения общего словообразовательного значения, такого же, как и при лексикализации множественного числа. Это значение сложносоставности. Как и при лексикализации, множественное число здесь обозначает сложный предмет. В данном случае парносоставный (*весы, клещи*) или многосоставный (*леса, телеса, хоры, часы*). Словообразовательным средством может служить мена парадигмы полной на ущербную. В отношении же частных словообразовательных значений здесь возникают такие же затруднения, как и при лексикализации множественного числа. Не удается выделить лексико-семантические разряды «производящих» с типовыми значениями производных. В каждом отдельном случае значение индивидуально. Кроме того, при рассмотрении слов типа *леса, хоры, клещи, часы* и др. как производных возникает тот же парадокс, что и при рассмотрении под этим углом зрения лексикализованных форм. Как и при лексикализации, при лексико-семантическом производстве возникают plur. tant., т. е. утрачивается соотносительность с единственным числом. Отсутствие соотносительности при четко выделимом форманте и «словообразовательном» значении заставляет рассматривать эти слова как членимые, но не производные. Таким образом, одно и то же слово получается одновременно производным и непроизводным. Очевидно, одно из наших предположений ошибочно. Аргумент отсутствия регулярно предсказуемого сдвига значений для лексико-семантических разрядов «производящих» достаточно убедителен, чтобы отказаться от словообразовательной трактовки и склониться в пользу лексико-семантической деривации рассматриваемых ЛСВ в форме plur. tant. Форма plur. tant. в данном случае не словообразовательная, а словоизменительная. Схема связи значений внутри форм множественного числа при семантической деривации показана на рис. 4—6.

Как видно из рисунков, значения внутри форм множественного числа связаны опосредованной связью.

Как следует из изложенного, между формами единственного числа и множественного, возникшего способом лексико-семантической деривации, существуют отношения, не укладывающиеся в рамки ни словообразовательных отношений, ни лексической либо грамматической омонимии. Отношения между ЛСВ словоформ единственного и множественного числа это отношения типовой полисемии.

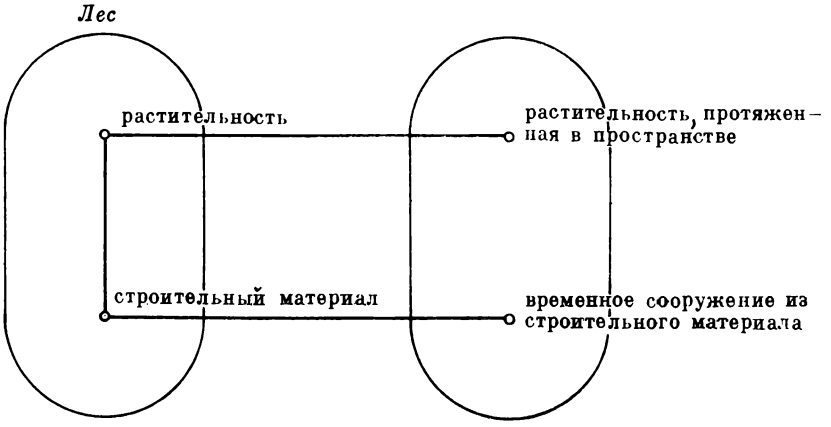


Рис. 4

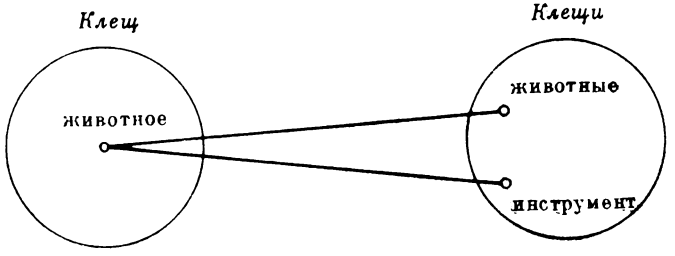


Рис. 5

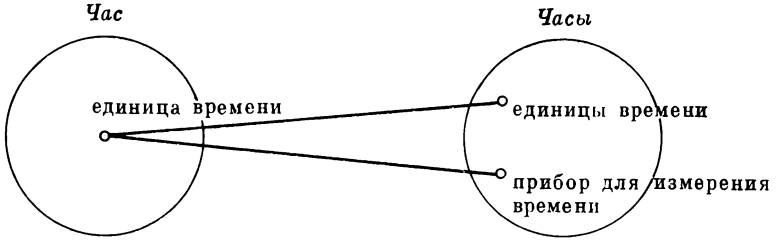


Рис. 6

Примечание. Имеются, однако, и случаи, которые затруднительно отнести к тому или иному типу отсутствия соотносительности между единственным и множественным числом. Так, например, *ноты* ‘текст музыкального произведения’ можно рассматривать и как форму множественного собирательного с последующей лексикализацией первой степени, а затем и второй; *ноты* ‘тетрадь с текстами музыкальных произведений’ и как лексико-семантическое развитие ЛСВ *нота* ‘нотный знак или звук’. Во втором случае лексикализация отсутствует.

Параллельная отглагольная деривация

Отсутствие грамматической соотносительности между единственным и множественным числом имеет место и тогда, когда в результате повторной деривации[17] у производного слова возникают значения, оформленные разными числами. Это случаи типа *бег — бега, выбор — выборы, записка — записки, залежь — залежи, обивка — обивки, обмотка — обмотки, отброс — отбросы, отход — отходы, россыпь — россыпи, схватка — схватки, счет — счеты* и др.

О параллельной деривации отглагольных имен можно говорить в данных случаях хотя бы потому, что ЛСВ sing. tant. и ЛСВ plur. tant. образуются (в синхронном плане) с помощью разных словообразовательных формантов. Словообразующим средством в большинстве случаев является нулевой словообразовательный суффикс либо суффикс *-к-* плюс парадигма. В случае sing. tant.— парадигма в формах единственного числа, а в случае plur. tant.— множественного. В отдельных случаях формы ед. и мн. числа имеют общие ЛСВ. Это, например, *записка/записки* (коротенькое письмо), *схватка/схватки* (битва) и некоторые другие.

Двучисловые ЛСВ обладают полной парадигмой, т. е. флексиями единственного и множественного числа. Как в случаях ущербных парадигм, так и полных мы вынуждены говорить о разных словообразовательных средствах, с помощью которых образуются сопоставляемые отглагольные имена, а следовательно, и о различных актах словопроизводства. Роль парадигмы при словообразовании не менее важна, чем роль суффикса (Соболева, 1969).

Отсутствие грамматической соотносительности между единственным и множественным числом становится очевидным, если обратиться к словарным дефинициям: *бег* ‘действие по глаголу *бегать* и *бежать*’ (остановить лошадь на полном бегу; бег его утомил; упражнение или состязание в бегании (спорт); чемпион бега; бег на 100 метров); *бега* ‘гонка на скорость рыси упряжных лошадей’ (пойти на бега; играть на бегах). Для *бег* словари дают помету *только ед.*, для *бега* — *только мн.* Оба отглагольных имени

[17] Ср. иное, хотя тоже словообразовательное понимание форм типа *высевка — высевки* (Морфология и синтаксис современного русского языка, 1968, 145).

производятся с синхронной точки зрения от *бегать/бежать*. Первое со значением абстрактного имени действия, второе со значением специализированного имени действия.

Слово *выбор* значит ‘действие по глаголу *выбирать* в 1 знач.— *выбрать*’ (выбор помощника; право выбора); *выборы* ‘избрание голосованием должностных лиц, представителей’ (выборы в совет; послан на выборы). Слово в единственном числе обозначает абстрактное действие, слово во множественном — специализированное действие. Оба значения соотносятся с различными значениями производящего *выбрать/выбирать*. Первое значение связано с *выбирать* ‘выделять, отбирать из многого (отдавая предпочтение лучшему, более нужному)’ (выбрать материю на платье; выбрать нового помощника); второе значение связано с *выбирать* ‘голосованием, баллотировкой избирать, выделять для использования каких-л. обязанностей’. Значение форм *выбор* и *выборы* связаны между собой не непосредственно, а через значения производящего.

Слово *залежь* значит ‘скопление, месторождение полезного ископаемого в земле или на ее поверхности (геол.)’. А *залежи* ‘то, что остается долго лежать, без движения, употребления (разг.)’. *Залежь* и *залежи* производятся от разных глаголов. *Залежь* от *залегать* в значении ‘лежать, находиться, быть расположенным где-н’. (руда здесь недалеко залегает). *Залежи* производится от *залежаться* ‘пролежать слишком долго, дольше, чем следует’ (такой товар не залежится). Оба глагола *залегать* и *залежаться* относятся к одному словообразовательному гнезду (рис. 7).

Залегать — производное четвертой степени производности ($R_1R_1R_1R_1O$). *Залежаться* — второй (R_1R_1O). Соответственно отглагольные производные имеют словообразовательные структуры $R_2R_1R_1R_1R_1O$ и $R_2R_1R_1O$. Таким образом, *залежь* и *залежи* — словообразовательные омонимы. Оба значения инструментальные — ‘то, что залегает или залежалось’. Между ними имеется и стилистическое различие. Первое — геологический термин, второе употребляется в разговорной речи.

Слово *записка* значит ‘клочок бумаги, на которой что-н. записано’, а *записки* ‘тетрадь с заметками, записями; сами записи // дневник, мемуары, беллетристическое произведение в форме дневника, мемуаров’, а также ‘название научных и литературных журналов’ (Ученые записки...). Раньше слово *записка* имело значение имени действия. Сейчас *записка* и *записки* — объект действия (то, что пишут, записывают). Оба значения отглагольного имени — словообразовательные омонимы, так как производящими являются парные слова одного и того же гнезда (рис. 8).

Слово *обмотка* значит ‘действие по глаголу *обмотать — обматывать* (спец.)’ (обмотка катушек), ‘то, чем обмотано или обматывается что-н’ (проволочная обмотка попорчена’; *обмотки* ‘при-

надлежность мужской одежды для ног — широкая лента, которой обматывают голени' (затянуть на ногах обмотки). Оба значения отглагольного имени инструментальные — 'то, чем обматывают(ся)'. Однако одно не выводимо из другого, а оба выводятся из глагола *обмотать*.

Слово *отход* значит 'действие по глаголу *отойти — отходить*', а *отходы* 'отработанный в данном производстве материал, годный для использования в другом производстве' (отходы кожевенного производства). Значения эти настолько разошлись, что их принадлежность к одному словообразовательному гнезду сомнительна. Возможно в данном случае имеет место лексическая омонимия.

Форма ед. числа *россыпь*, в частности, значит 'действие по глаголу *рассыпать, рассыпать*' (россыпь гравия или песка по шоссейным дорогам); разговорное значение 'то, что рассыпано или рассыпалось' (россыпь бумажных листов; Каска валялась в траве среди целой россыпи уже позеленевших автоматных гильз). Форма *россыпи* имеет более специализированное значение: 'рыхлые обломочные отложения, содержащие зерна или кристаллы полезных минералов (золота, платины, алмазов и т. п.)' (В районах разрушения гранитов собирались кварцевые россыпи, в них накапливались золото, вольфрам). Обе формы и *россыпь* и *россыпи* производятся от *рассыпать — рассыпаться*. Первое скорее от *рассыпать*, второе — от *рассыпаться* (рис. 9). Обе формы — словообразовательные омонимы $R_2R_1R_1O$ и $R_2R_1R_1R_1O$.

Форма *схватка* значит 'столкновение в бою, в борьбе, в драке' (Ведь были ж схватки боевые, Да, говорят, еще какие!), А форма *схватки* значит 'непроизвольные болезненные сокращения мышц (живота, матки)' (родовые схватки). Оба значения — словообразовательные омонимы (рис. 10). Ср.: *схватиться с врагом* и *боль схватила шибко*; *его схватила подагра, лихорадка*. Непосредственно множественное число не выводится из единственного.

Форма *счет* значит, в частности, 'действие по глаголу *считать*', а форма *счета* 'запись хозяйственно-денежных операций, подсчет расходов и доходов' (Сидя на высоком стуле перед конторкой, тетушка сводила счета по объемистым книгам.— А. Н. Толст. Петушок). Вторая форма множественного числа *счеты* значит 'взаимные расчеты, денежные дела' (Не вздумайте прислать мне денег без моей просьбы. Счеты с вами когда-нибудь сведу). Форма единственного числа производна от глагола *считать*, форма *счета*, очевидно, тоже. А *счеты* скорее соотносятся с *рассчитываться* или *считаться*. *Счеты* в значении 'инструмент для счета'. *Считать на счетах* тоже соотносится с глаголом *считать*. *Счета* имеет значение результата действия, а счеты — специализированного действия и инструмента действия.

Итак, производные формы в разных числах не выводимы одна из другой, а выводятся из одного и того же значения производя-

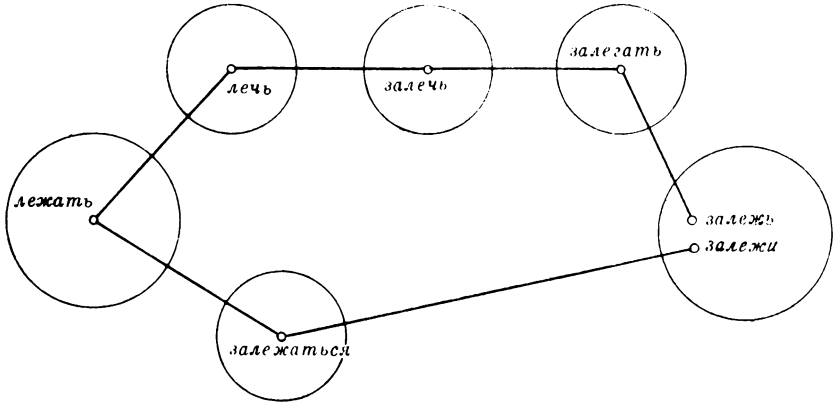


Рис. 7

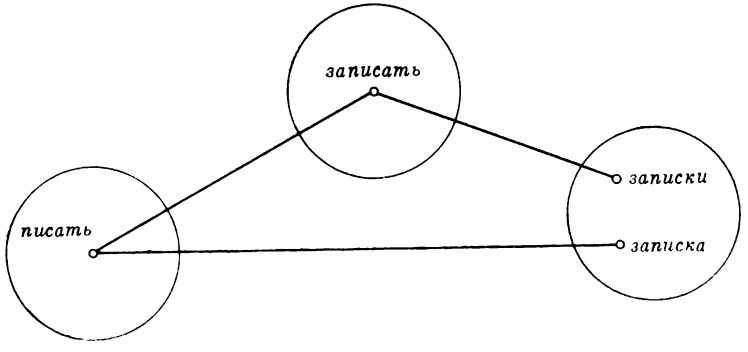


Рис. 8

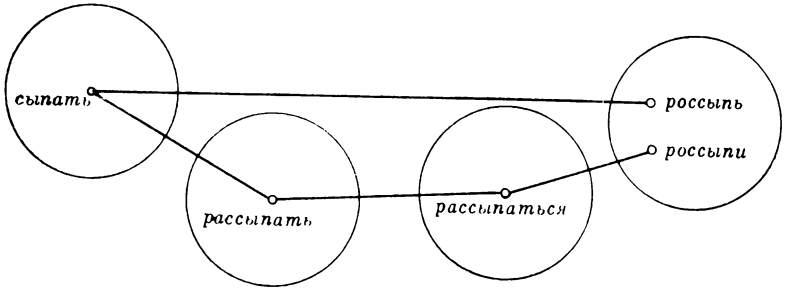


Рис. 9

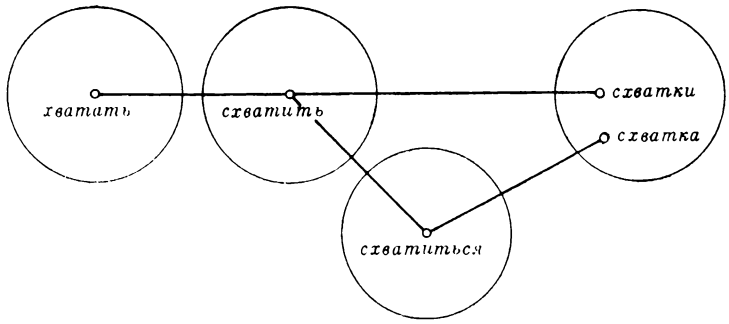


Рис. 10

щего глагола (*бег* и *бега обмотка* и *обмотки*), разных значений (*выбор* и *выборы*) и разных слов одного и того же гнезда (*залежь* и *залежи, записка — записки, россыпь* и *россыпи, схватка* и *схватки, счет* и *счеты*). В третьем случае возникают словообразовательные омонимы. Лексическими омонимами (за исключением пар типа *отход — отходы*) разночисловые значения отглагольных имен не становятся потому, что они связаны между собою через производящее или производящие слова.

В большинстве приведенных примеров форма единственного числа — sing. tant., так как ею оформляется имя действия. Это слова типа *бег, выбор, отход, обмотка.* В некоторых случаях формы единственного числа имеют более конкретное значение и могут принимать множественное число. Это слова типа *схватка, записка.* Во втором случае форма множественного числа двусмысленна, как и при значениях множественного собирательного: *руки, много рук* и *руки, пара рук*; *капли — много капель* и *капли* (жидкое лекарство), лексикализации множественного числа: *барашки* (много барашков) и *барашки* 'перистые облака, пенистые волны' и лексико-семантической выводимости значения множественного из единственного: *леса* (много лесов, протяженный лес) и *леса* 'временные строительные сооружения'. Как и во всех упомянутых выше случаях значения внутри формы множественного числа связаны опосредованной связью.

В случаях типа *бег — бега, выбор — выборы* лексикализация множественного числа не имеет места. Во-первых, потому, что множественного числа «нелексикализованного» у большинства отглагольных имен не было и быть не может. Во-вторых, потому, что даже в тех случаях, когда оно имеется (*записки, схватки, счета, счёты, часы* и т. д.) формы plur. tant. семантически и грамматически соотносятся не с ними, а с соответствующими ЛСВ производящих глаголов.

В результате рассмотрения четырех источников утраты или изменения соотносительности между единственным или множественным числом мы пришли к выводу о том, что лексикализацией

множественного числа в полном смысле этого слова можно считать только второй источник, а именно образное переосмысление множественного числа разделительного, иногда собирательного, сопровождающееся преобразованием значения раздельности, множественности в значении сложносоставности. Это слова типа *барашки, блошки, грязи, воды, слова, капли.*

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов Р. И., Сидоров В. Н. Очерк грамматики русского литературного языка. М., Учпедгиз, 1945.
Авдеев К. П. Выступление на дискуссии по омонимии.— Лексикографический сборник, вып. IV. Л., 1960.
Авилова Н. С. Вид глагола и семантика глагольного слова. М., «Наука». 1976.
Авилова Н. С. Способ глагольного действия, глагольная семантика и вид глагола.— Вопросы синтаксиса и лексики современного русского языка. Сборник трудов МГПИ им. В. И. Ленина. М., 1973.
Арбатский Д. И. Значение форм множественного числа имен существительных в современном русском литературном языке. Канд. дис. М., 1954.
Бондарко А. В. Виды глагола и способы действия в русском языке.— Русский язык в национальной школе, 1971, № 2.
Виноградов В. В. Об омонимии и смежных явлениях.— ВЯ, 1960, № 5.
Виноградов В. В. О формах слова.— Изв. ОЛЯ АН СССР, 1944, т. III, вып. 1.
Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., Учпедгиз, 1947.
Гловинская М. Я. О некоторых трудностях в изучении семантики видов.— Болгарская русистика, 1977, № 3.
Грамматика современного русского литературного языка. М., «Наука», 1970.
Гузев В. Г., Насимов Д. М. К интерпретации категории числа имен существительных в тюркских языках.— ВЯ, 1975, № 3.
Дурново Н. П. Грамматический словарь (грамматические и лингвистические термины). М.— Пг., 1924.
Кацнельсон С. Д. Типология языка и речевое мышление. Л., «Наука», 1972.
Кузнецов П. С. О принципах изучения грамматики. М., Изд. МГУ, 1961.
Лексикографический сборник, вып. IV. Л., 1960.
Лопатин В. В. Проблема нулевого словообразовательного аффикса.— В кн.: «Актуальные проблемы русского словообразования». Ташкент, 1975.
Маслов Ю. С. Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке.— Изв. ОЛЯ АН СССР, 1948, т. VII, вып. 4.
Маслов Ю. С. Заметки о видовой дефективности (преимущественно в русском и болгарском языках).— В сб.: Славянская филология. Л., Изд. ЛГУ, 1964.
Манучарян Р. Е. Существительные pluralia tantum и пути их образования в русском литературном языке. Автореф. канд. дис. М., 1960.
Мейе А. Общеславянский язык. М., Издательство иностранной литературы, 1951.
Молошная Т. Н. Непарные глаголы совершенного и несовершенного вида в русском языке в сопоставлении с болгарским.— В кн.: Проблемы грамматического моделирования. М., «Наука», 1973.
Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., «Наука», 1968.
Мучник И. П. О видовых корреляциях в системе спряжения глагола в современном русском языке.— ВЯ, 1956, № 6.
Новиков Л. А. К проблеме омонимии.— Лексикографический сборник, вып. IV. Л., 1960.

Новиков Л. А. Омонимия существительных в современном русском литературном языке, возникающая в результате распада полисемии и связанная с категорией числа. Автореф. канд. дис. М., 1961.
Реформатский А. А. Введение в языкознание. М., Учпедгиз, 1955.
Реформатский А. А. Число и грамматика.— В сб.: Вопросы грамматики. Сборник статей к 75-летию академика И. И. Мещанинова. М.— Л., «Наука», 1960.
Смирницкий А. И. К вопросу о слове (проблема тождества слова).— Труды Института языкознания АН СССР, т. IV. М., 1954.
Смирницкий А. И. Лексическое и грамматическое в слове.— В сб.: Вопросы грамматического строя. М., Изд-во АН СССР, 1955.
Смирницкий А. И. По поводу конверсии в английском языке.— Иностранные языки в школе. 1954, № 3.
Соболева П. А. Моделирование словообразования.— В сб.: Проблемы структурной лингвистики. 1971. М., «Наука», 1972.
Соболева П. А. О структуре словообразовательного форманта.— В сб.: Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие. М., «Наука», 1969.
Соболева П. А. Об основном и производном слове при конверсии.— ВЯ, 1960. № 2.
«Современный русский язык. Морфология». М., Изд-во МГУ, 1952.
Тихонов А. Н. Заметки о вторичной имперфективации глаголов с чистовидовыми приставками.— Труды Самаркандского гос. ун-та. Новая серия, вып. 92. 1958.
Филин Ф. П. Выступление на дискуссии по омонимии.— Лексикографический сборник, вып. IV. Л., 1960.
Фортунатов Ф. Ф. Избранные труды, т. I. М.
Холодович А. А. Категория множества в японском в свете общей теории множества в языке.— Уч. зап. ЛГУ, вып. 10, 1946.
Чельцова Л. К. Форма множественного числа существительных как объект лексикографии. Автореф. канд. дис. М., 1976.
Чельцова Л. К. Форма множественного числа имен существительных как исходная форма в лексикографии.— В сб.: Грамматика и норма. М., «Наука», 1977.
Яцкевич Л. Г. Об общем значении категории числа имен существительных в современном русском языке.— В кн.: Праблемы мовы і літературы. Минск, 1972.

Forsyth J. A grammar of aspect. Cambridge, 1970.
Karcevski S. Systeme du verbe russe. Prague, «Plamja», 1927.
Marchand H. The categories and types of present-day English word-formation. A synchronic-diachronic approach. Wiesbaden, Harrassowitz, 1960.
Menner R. J. The conflict of homonyms in English.— Language, vol. 12, N 4, 1936.
Nida E. Morphology: the descriptive analysis of words.— Word, vol. 6, N 1, 1946.
Soboleva P. A. Derivational structure of the Russian lexicon.— In: Trends in Soviet theoretical linguistics. Dordrecht — Holland. D. Reidel publishing company, 1973.
Soboleva P. A. Derivational word structure and the typology of homonyms.— In: Theoretische Linguistik in Osteuropa. Tübingen, herausgegeben von V. Girke und H. Jachnow, 1976.
Wierzbicka A. In the semantics of the verbal aspect in Polish.— In: To honor Roman Jacobson. The Hague — Paris. Mouton, 1967.
Yespersen O. A modern English grammar on historical principles, pt VI. London, 1946.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

КАТЕГОРИЯ РОДА НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Г. А. СМИРНОВА

В русском языке любое существительное характеризуется отнесенностью к одному из трех родов: мужскому, женскому, среднему. У склоняемых существительных род выражается 1) системой флексий падежных форм существительных единственного числа, 2) системой форм определяющего прилагательного, 3) системой родовых форм глагола, 4) родовыми формами кратких прилагательных и причастий. Категория рода склоняемых существительных определенным образом соотносится с категорией одушевленности — неодушевленности. Распределение по родам неодушевленных существительных лишено семантического основания, оно является только синтаксическим. Распределение по родам одушевленных существительных связано со значением самих существительных, причем более очевидна эта связь у существительных, названий лиц.

В Грамматике современного русского литературного языка (М., 1970, сокр. АГ-70) распределение по родам всех несклоняемых существительных, а не только одушевленных, считается семантически обусловленным. «Семантика грамматической категории рода отчетливо проявляется при определении родовой принадлежности несклоняемых существительных. В соответствии с противопоставлением среднего рода (неодушевленность) мужскому и женскому (одушевленность и неодушевленность), неодушевленные существительные нулевого склонения относятся к среднему роду, например: *алиби, амплуа, бюро, депо, драпри, жюри, интервью, какао, кашне, па, пальто, пенсне, портмоне, рагу* и т. п. Отнесение к мужскому или женскому роду одушевленных существительных нулевого склонения отвечает противопоставлению родовых значений, характеризующих все одушевленные существительные. К женскому роду относятся слова, называющие лиц женского пола: *мисс, миссис, мадам, фрау, леди* и др., имена и фамилии женщин: *Бетси, Мари, Кармен, Элен; Засулич, Педерсен* и др.; к мужскому роду относятся слова, называющие лицо

(или совокупность), а также животных, безотносительно к принадлежности к тому или иному полу: *буржуа, рантье, какаду, кенгуру, шимпанзе* и др.» (Грам. 1970, с. 321).

Анализ данных словарей современного русского языка различных типов позволил прийти к такому предварительному заключению: выражение категории рода несклоняемых существительных при некоторых особенностях в целом не отличается от выражения категории рода в склоняемых существительных. Неодушевленные несклоняемые существительные могут иметь средний род (их большинство), мужской и женский. Одушевленные несклоняемые существительные распределяются между мужским (количественное преобладание) и женским родом, но есть несклоняемые одушевленные существительные и среднего рода.

Несклоняемые существительные — явление сравнительно новое в истории русского литературного языка, возникло оно не раньше XVIII в. До сих пор не закончено становление этой лексической подсистемы русского языка, становление ее грамматических категорий, в частности категории рода. Составители словарей при любом несклоняемом существительном дают помету рода [1]. К сожалению, помета рода не всегда подкрепляется в словарной статье текстами из литературных источников. Например, в словаре русского языка АН СССР в 4-х томах (М., 1957—1961, сокр. МАС) зафиксировано 137 несклоняемых существительных с финалью *-о*, при всех есть помета рода, но примеры из литературы находим лишь в 39 словарных статьях. Но и при наличии текста не всегда возможно судить о роде несклоняемого существительного.

Приведем несколько примеров из МАС: *домино*, нескл., ср. *В пестроте, в многолюдстве собранья,... Злою скукой томимый давно, У колон встретил я домино* (Полонский, Маска); *зеро*, нескл., ср.— *Я всех лучших виртуозов самолично слышал,— продолжал г. Ратч — все они перед покойным Фильдом — тьфу! Нуль! Зеро!!* (Тургенев, Несчастная); *рококо*, нескл., ср. *Весь стиль рококо... имел черты какой-то мелочности, бонбоньерочности, искусственности, фривольности, легкомыслия* (Луначарский, История западноевропейской литературы).

Некоторые тексты находятся в противоречии с пометой рода (примеры взяты из словаря современного русского литературного языка АН СССР в 17 томах, М.— Л., 1948—1964, сокр. БАС): *алкали*, нескл., м. и ср. *Процедив, паки едкой алкали летучей, Процеди и прибавь* alcali vegetal (Радищев, Описание моего владения II, 377); *мальборо*, нескл., ср. *Одним из лучших сортов*

[1] Исключение составляет словарь ударений для работников радио и телевидения (М., 1967, сокр. СУРТ), не дающий при несклоняемых словах пометы рода.

малины для сбора семян рекомендую мальборо, по ее из ряда вон выдающейся выносливости к морозам (Мичурин, Выявление новых культурных сортов плодовых деревьев); *казино*, нескл., ср. *Иду гулять. Уж благосклонный Открыт* Casino; *чашек звон Там раздается; на балкон Маркер выходит полусонный* (Пушкин, Евгений Онегин).

Наибольшее число текстов из литературных источников есть в словаре современного русского литературного языка АН СССР в 17 томах. Охват текстов очень широк: художественная литература XIX—XX вв. (от Карамзина, Вяземского, Марлинского до наших современников), научная литература (Миклухо-Маклай, Пирогов, Вернадский, А. Н. Крылов, Мичурин, Мензбир, Эдельштейн и многие другие), извлечения из работ русских композиторов (Чайковский, Римский-Корсаков, Глинка, Кюи, Бородин), художников, деятелей театра, музыкальных и театральных критиков. Тексты из семнадцатитомного словаря дают богатый материал для изучения становления категории рода несклоняемых существительных на протяжении XIX в. и до 60-х годов XX в.

Большинство несклоняемых существительных в БАС имеют одну помету рода, некоторые слова снабжены двумя или даже тремя пометами рода. Эти пометы могут быть равноправны, например, как при существительных *авизо* (ср. и м.), *авто* (м. и ср.), *аи* (м. и ср.), *болеро* (ср. и м.), связаны с разными значениями слова: *боа* — в значении ‘змея’ — *м.*, в значении ‘шарф’ — ср., *травести*, ср. (роль), *травести*, ж. (актриса), или разным временным употреблением слова: одна из помет принадлежит современному употреблению слова, другая указывает на устаревающее, уходящее в прошлое употребление слова (например, *контральто*, ср. и м. устар).

Словарь «Трудности словоупотребления и варианты норм русского литературного языка» (Л., 1973, сокр. СВН) четко проводит грань между современным, уходящим в прошлое и ушедшим из современного литературного языка употреблением слова. Например:

авто, нескл. ср. и м. *Авто генерала, вздымая пыль, промчалось мимо гебитскомиссариата* (Былинов, Улицы гнева); *Ярко-желтый авто разбит* (Лунберг, Дневник писателя).

контральто, ср. и устар. *контральто*, м., нескл. *И вот Егор Павлович сидел с обидой на превратную актерскую судьбу, слушая ненавистное контральто* (Федин, Необыкновенное лето); *Она училась пению в Московской консерватории. У нее было прекрасное контральто* (Паустовский, Повесть о жизни); *Сочный, сильный контральто лился широкой вибрирующей струей* (М. Горький, Гривенник); *Пели женщины и в грубом и нежном плетении их голосов хорошо выделялся низкий, вторящий контральто Марьи Фроловны* (Фадеев, Последний из удэге);

сопрано, нескл., ср. и устар. *сопрано*, нескл. м. *Легко и весело взвивалось веселое сопрано кудрявой Любы Матушкиной* (М. Горький, Жизнь Матвея Кожемякина); *У нее было нежное, девически чистое сопрано редкой артистической красоты* (Павленко, Отдых); пример устарелого употребления: *У ней был прекрасный сопрано, безукоризненный слух* (Каратыгин, Записки);

какао, нескл., ср. *Потом Аленка пила какао, пахнущее полынью* (С. Антонов, Аленка).— Употребление слова *какао* в муж. роде устарело, ср.: *Павел Петрович похлебывал свой какао* (Тургенев, Отцы и дети); *И он с шипеньем всасывал через усы горячий какао* (Федин, Похищение Европы);

пальто, нескл., ср., в лит. языке XIX в. слово *пальто* употр. и в форме муж. рода. *Он не любил сюртуков и носил всегда просторный пальто* (Н. Некрасов, Три страны света).

В словаре трудностей русского языка (М., 1976, сокр. СТ) по сравнению с другими словарями наиболее отчетливо проведена тенденция связать признак рода несклоняемых существительных с их денотативным признаком, принадлежностью к определенной лексической группе.

памперо, нескл. (по аналогии с родом слова *ветер*) м. *Знойный памперо. Сирокко*, нескл., м. *Знойный сирокко. Торнадо*, нескл. (по аналогии с родом слова *ветер*) м. *Разрушительный торнадо*;

бенгали, нескл. (под влиянием родового понятия «язык») м.; *пехлеви*, нескл. (под влиянием рода слова язык) м. Существительные *арго* и *эсперанто* в СТ, помимо обычной пометы рода «ср.», имеют вторую помету «м.». Родовая помета «м.» приписана словам *арго* и *эсперанто* в СТ по аналогии с родом слова *язык*, для существительного *арго* возможна еще одна аналогия — с родом слова *жаргон*.

па-де-труа, нескл., ср. и (под влиянием родового понятия «танец») м. *Изящное* (*изящный*) *па-де-труа; шимми*, нескл. (под влиянием слова *танец*) м. *Вошедший тогда в моду шимми;*

пенальти, нескл., ср. и (под влиянием синонимичного русского словосочетания «одиннадцатиметровый штрафной удар» и просторечного слова *пенальт*) м. *Удачно пробитое* (*пробитый*) *пенальти*;

цунами, неизм. и нескл. ср. (под влиянием родового понятия «волна» возможно ж.) *Лаборатория сообщила о приближении волн цунами. Цунами приближалось* (*приближалась*).

Данные словарей о распределении признака рода в несклоняемых существительных: пометы рода, авторские примеры составителей словарей, тексты из литературных источников приводят к выводу, что становление категории рода несклоняемых существительных происходит в основном под воздействием трех факторов: морфологической системы склоняемых существительных, денота-

тивной отнесенности несклоняемого слова, рода несклоняемого слова в языке-источнике. Первые два фактора, по-видимому определяющие. Третий играл более значительную роль в прошлом веке, особенно в XVIII в., на начальном этапе становления этой лексической категории. Взаимодействие этих факторов и в историческом аспекте становления грамматических категорий несклоняемых существительных, и в синхронном плане изучено далеко недостаточно. Можно, например, предполагать, что морфологический фактор сильнее воздействует на формирование категории рода несклоняемых существительных с финалями *-о, -е, -а* (орф. *-о, -е, -ё, -а, -я*), имеющими корреляции конечного гласного с признаком рода, аналогичные корреляциям флексий *-о, -е, -а* (орф. *-о, -е, -ё, -а, -я*) и признака рода исходной формы склоняемых существительных.

Денотативная отнесенность слова активнее проявляет себя в формировании категории рода у несклоняемых существительных с финалями *-и, -у*, где воздействие морфологической системы ослаблено из-за отсутствия соответствующих корреляций конечного гласного с признаком рода у исходной (словарной) формы склоняемых существительных.

В настоящей работе дано описание корреляций конечный гласный — признак рода несклоняемых существительных с финалями *-о, -е, -а* в сопоставлении с корреляциями конечный гласный — признак рода исходной формы склоняемых существительных с аналогичными флексиями.

КОРРЕЛЯЦИИ ФЛЕКСИИ И ПРИЗНАКА РОДА СКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

Склоняемым существительным в исходной (словарной) форме присущи определенные корреляции флексии с признаком рода. Так, например, существительные с флексией *-о* имеют две корреляции: 1) флексия *-о* — признак среднего рода (основная корреляция), 2) флексия *-о* — признак мужского рода. Корреляции флексии с признаком рода рассматриваются отдельно для ударного и безударного варианта флексии.

Корреляции ударной флексии *-а* с признаком рода

На месте флексии *-а* в ударном слоге произносится звук [а] — позиционно сильный вариант фонемы ⟨а⟩. У существительных с флексией [а] ударное при корреляции конечного [а] с признаком рода: 1) [а] конечное ударное — признак женского рода, 2) [а] конечное ударное — признак мужского рода, 3) [а] конечное ударное — признак среднего рода. Корреляция [а] конечное ударное — признак женского рода — основная корреляция. Она есть у

большинства непроизводных и производных существительных женской разновидности I склонения[2], как неодушевленных, так и одушевленных, например *арба, борьба, возня, езда, жена, сова, толпа, швея* и т. п. Корреляцию [а] конечное ударное — признак мужского рода имеют ряд одушевленных существительных, названий лиц: *ага, голова, паша, слуга, судья* и пек. др. Корреляция [а] конечное ударное — признак среднего рода есть у одного одушевленного существительного *дитя*, принадлежащего ко II склонению.

Существует ряд одушевленных существительных с ударным конечным (а), которым в словарях приписаны две пометы рода: *балда*, м. и ж., *брюзга*, м. и ж., *егоза*, м. и ж., *зуда*, м. и ж. и т. п. Эти существительные известны в русской грамматической традиции под названием «существительные общего рода». Термин «общий род» вряд ли является удачным. В одном контексте эти одушевленные существительные не могут иметь одновременно две корреляции: [а] конечное — признак женского рода и [а] конечное — признак мужского рода, выбор корреляции определяется соотнесенностью с внеязыковой действительностью (полом живого существа). В зависимости от семантического контекста эти существительные могут быть мужского или женского рода. Вероятно, было бы целесообразнее в словарях при подобных существительных давать пометы рода: *м.* или *ж.* вместо *м.* и *ж.*

Корреляции ударной флексии *о* с признаком рода

На месте флексии *-о* (орф. *-о, -е*) в ударном слоге произносится звук [о] — позиционно сильный вариант фонемы ⟨о⟩. У существительных с флексией [о] ударное две корреляции конечного [о] с признаком рода: 1) [о] конечное ударное — признак среднего рода, 2) [о] конечное ударное — признак мужского рода. Первая корреляция — основная, она есть у всех непроизводных и большинства производных существительных (*брюшко, гнездо, долото, кольцо, молоко, письмецо* и т. д.). Вторая корреляция присуща единичным отглагольным существительным на [ло]: *мазло* (о плохом стрелке), *трепло* (о болтливом человеке) и небольшой лексически замкнутой группе существительных на [ко]: *воронко, гнедко, карько, серко, сивко* (клички лошадей), стоящей на грани собственных и нарицательных имен.

Корреляции ударной флексии *-е* с признаком рода

На месте флексии *-е* (орф. *-е*) в ударном слоге произносится звук [э] — позиционно сильный вариант фонемы ⟨э⟩. У существительных с флексией [э] ударное — одна корреляция [э] конечно-

[2] В статье использована классификация склонений АГ-70.

го с признаком рода. Корреляция [э] конечное ударное — признак среднего рода встречается в единичных производных словах: *бытие* (*инобытие*), *житие, питие.*

Корреляции безударной флексии-*а* с признаком рода

На месте флексии *-а* (орф. *-а, -я*) в заударном слоге произносится редуцированный нелабиализованный гласный [ъ] среднего подъема, среднего или средне-заднего ряда[3].

У существительных с флексией [ъ] (орф. *-а, -я*) — три корреляции конечного [ъ] с признаком рода. Первая, основная, корреляция [ъ] конечный безударный — признак женского рода. Корреляция есть у большинства неодушевленных и одушевленных существительных женской разновидности I склонения (*антилопа, бронза, волчиха, жалоба, тема* и т. п.). Вторую корреляцию [ъ] конечный безударный — признак мужского рода находим у непроизводных и производных существительных, названий лиц мужского пола, склоняющихся по женской разновидности I склонения (*батя, братишка, мазила, рикша, чинуша* и т. п.) и у производных существительных, названий животных (*волчишка, зайчишка, соловушка, зверина* и т. п.). Часть одушевленных существительных с конечным [ъ] в зависимости от денотативной отнесенности распределяются между первой и второй корреляциями (*бродяга, вояка, мямля, недотрога* и т. п.). Третья корреляция [ъ] конечный безударный — признак среднего рода у 10 существительных на [м' ъ], склоняющихся по II склонению (*бремя, время* и т. д.).

Корреляции безударной флексии-*о* с признаком рода

На месте флексии *-о* в заударном слоге, как и на месте флексии *-а,* произносится редуцированный звук [ъ]. У существительных с безударной флексией [ъ] (орф. *-о*) — две корреляции: 1) флексия [ъ] — признак среднего рода, 2) флексия [ъ] — признак мужского рода. Первая корреляция характеризует все непроизводные существительные и большую часть производных (*блюдо, бревнышко, молотило, русло* и т. п.). Вторая корреляция есть у некоторых производных существительных на [кь]: *носишко, огородишко, соловейко, хлебушко* и т. п. и на [лъ]: *светило* (об известном человеке), *сверлило* (жук), *страшило* (о живом существе).

---

[3] О произношении [ъ] в безударных слогах см.: Р. И. Аванесов, 1972.

Корреляции безударной флексии *-е* с признаком рода

Не существует одного мнения о качестве звука на месте флексии *-е* в заударной позиции. В формах им. и вин. пад. слов среднего рода на *-е*, по Р. И. Аванесову, возможно двоякое произношение: с [ъ] — гласным среднего подъема, среднего или среднезаднего ряда и [э], гласным, по подъему языка средним между [э] и [и] (Аванесов, 1972, с. 70). М. В. Панов считает, что в формах им. и вин. пад. слов среднего рода на *-е* произносится гласный [ъ] (Панов, 1967, с. 317). В данной работе принимается, что на месте безударной флексии *-е* исходной формы существительных возможны оба произносительных варианта **[э] и [ъ]**, записывается [э/ъ].

У существительных с флексией [ъ] (орф. *-е*) — две корреляции конечного безударного [ъ] с признаком рода: 1) [ъ] конечный безударный — признак среднего рода, 2) [ъ] конечный безударный — признак мужского рода. Первую корреляцию имеют непроизводные и производные неодушевленные существительные (*вече, горе, лезвие, море, ненастье, аканье, безумие, лежбище* и т. п.) и единичные одушевленные существительные (*исчадие, сокровище* (о ребенке), *чудище, чудовище*). Вторая корреляция у производных одушевленных и неодушевленных существительных мужского рода (*гвоздище, домище, морозище, подмастерье* и т. п.).

Фонетическое, фонологическое и морфонологическое тождество флексий исходной (словарной) формы существительных

На месте флексий *-а, -о, -е* под ударением произносятся звуки [а], [о], [э] — позиционно сильные варианты фонем [а], [о], (э). Морфонологически различаются [$а_1$] — конечный ударный звук существительных женской разновидности I склонения и [$а_2$] — конечный ударный звук существительных II склонения *дитя*.

На месте флексий *-а, -о, -е* в заударной позиции произносится звук [ъ]. Фонологически звук [ъ] отождествим со звуками [а], [о] — позиционно сильными вариантами фонем ⟨а⟩, ⟨о⟩. Отождествлению звука [ъ] со звуком [э] мешает ограниченность синтагматики последнего (звук [э] встречается только после [j]) и единичность лексического материала.

Морфонологически существует три звука [ъ]: [$ъ_1$] — член словоизменительной парадигмы существительных женской разновидности I склонения (орф. *-а, -я*), [$ъ_2$] — член словоизменительной парадигмы существительных мужско-средней разновидности I склонения (орф. *-о, -е*), [$ъ_3$] — член словоизменительной парадигмы существительных II склонения (орф. *-я*). Звуки [$ъ_1$], [$ъ_2$], [$ъ_3$] коррелируют с наборами звуков, характерными для разных парадигм.

КОРРЕЛЯЦИИ КОНЕЧНОГО ГЛАСНОГО С ПРИЗНАКОМ РОДА У НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

По аналогии со склоняемыми существительными у несклоняемых выделены корреляции конечного гласного с признаком рода. Существительные с финалями *-а, -о, -е* противостоят существительным с финалями *-и, -у*: в исходной (словарной) форме склоняемых существительных нет корреляций конечных *-и, -у* с признаком рода. В настоящей работе описание корреляций конечного гласного с признаком рода проведено для существительных с финалями *-а, -о, -е* (орф. *-а, -я, -о, -е, -ё*). Количественно среди несклоняемых существительных с финалями *-а, -о, -е* преобладают существительные с финалью *-о*, второе место принадлежит существительным с финалью *-е*, и совсем немногочисленную группу составляют существительные с финалью *-а*. Корреляции конечного гласного с признаком рода рассматриваются в связи с редукцией гласных *о, е, а* в безударном слоге отдельно для ударного и безударного варианта финалей *-о, -е, -а*.

Корреляции ударной финали [о] с признаком рода

Несклоняемым существительным с ударной финалью [о] свойственны три корреляции конечного [о] с признаком рода: 1) [о] конечное ударное — признак среднего рода, 2) [о] конечное ударное — признак мужского рода, 3) [о] конечное ударное — признак женского рода. Первая основная корреляция [о] ударное конечное — признак среднего рода совпадает с основной корреляцией склоняемых существительных. Эта корреляция характеризует большинство существительных с ударной финалью [о] и является для перечисленных ниже существительных единственной корреляцией. Во всех словарях существительные *депо, кашпо, тюрбо, квипрокво, лото, манто, пальто, плато, шапито, бордо* (вино), *дзюдо, ландо, рондо, кюрасо, лассо, серсо, харчо, клико, трико, бонмо, трюмо, эскимо, домино, казино, кимоно, кино, лино, панно, терно, гало, руло, стило, бистро, бордеро, бюро, зеро, метро, ситро, фигаро, шевро, мумиё, фаблъо* имеют помету среднего рода.

Вторая корреляция несклоняемых существительных [о] конечное ударное — признак мужского рода есть у слов *авто, арго, бибабо, жабо, жако, маго, мсьё, рококо, пьеро, статус-кво*. У одушевленных существительных *мсьё* и *пьеро* эта корреляция единственная. У существительных *авто, арго, болеро, жабо, рококо, статус-кво* вторая корреляция сосуществует с корреляцией [о] конечное ударное — признак среднего рода.

авто: м. и ср. (БАС, МАС, СВП), ср. (СУ, СЗ, ОС); *арго*:

м. (реже) и ср. (СТ), ср. (БАС, МАС, СУ, СПУ, СЗ, ОС, ССВ); *болеро*: м. и ср. (БАС, ССВ), ср. (МАС, СУ, СО, ОС, СТ) *В Севилье существует особое место, куда сходятся по вечерам танцоры и любители национальных танцев. Там только, с полной непринужденностью, во всем великолепии исполняется настоящий, типический болеро* — Григорович, Корабль «Ретвизан», VI (БАС); *жабо*: м. и ср. (БАС, МАС, ССВ), ср. (СУ, СПУ, СЗ, ОС, СТ); *рококо*: м. и ср. (СУ, СЗ, ССВ), ср. (БАС, МАС, ОС, СТ), *статус-кво:* м. (БАС, МАС, СУ, ССВ), м. и ср. (СЗ, СТ), ср. (СПУ, ОС), *Устойчивый (устойчивое) статус-кво.*

У существительных *бибабо, жако, маго* вторая корреляция сосуществует с корреляцией [о] конечное ударное — признак женского рода. *Жако*: м. (БАС, МАС, СУ, ОС, ССВ), м. и ж. (СЗ); *маго*: м. (ОС), ж. (СУ), м. и ж. (СЗ, ССВ); *бибабо*: м. (СЗ), м. и ж. (ССВ), ж. (ОС), м. и (реже) ср. (СТ). В БАС и МАС при слове *бибабо* не указано признака рода, есть одна помета «нескл.».

Вторая корреляция [о] конечное ударное — признак мужского рода есть и у склоняемых существительных, но лексические группы несклоняемых и склоняемых существительных, которым свойственна эта корреляция, настолько различны, что они фактически не сопоставимы. Вторая корреляция у склоняемых существительных характеризует производные одушевленные существительные на [ло] и [ко], у несклоняемых эта корреляция присуща существительным непроизводным с конечными сочетаниями [бо], [во], [то], [ко], [го], [ро] и за исключением слов *мсьё, пьеро* — неодушевленным.

Третья корреляция несклоняемых существительных [о] конечное ударное — признак женского рода есть у слов *бибабо, жако, маго.* Те же существительные характеризуются еще одной корреляцией [о] ударное конечное — признак мужского рода, слово *бибабо* может иметь и признак среднего рода. Третья корреляция отсутствует у склоняемых существительных с флексией *-о.*

Корреляции ударной финали [э] и признака рода

У несклоняемых существительных с ударной финалью [э] выделены три корреляции конечного [э] с признаком рода: 1) [э] конечное ударное — признак среднего рода, 2) [э] конечное ударное — признак мужского рода, 3) [э] конечное ударное — признак женского рода. Первая корреляция как единственная выступает у слов *абреже, амбре, апаше, аппликe, ателье, аутодафе, безе, беф-брезе, бильбоке, бланманже, брыле, букле, буле, буриме, бурре, буле, буриме, бурре, варьете, верже, галифе, дезабилье, декольте, дефиле, досье, драже, желе, кабаре, канапе, канотье, каре, кафе, кашне, киле, клише, койне, колье, коммюнике, консоме, крем-брюле, креп-гофре, кроше, купе, лансье, матине, монпасье,*

моралите, лье, мулине, панье, пресс-папье, пате, пароле, пенсне, пике[1], *пике*[2], *пирке, плаке, плие, плиссе, портмоне, пралине, пресс-клише, псише, пуантилье, пюре, радаме, радиоателье, радиореле, резюме, реле, реноме, ришелье, руте, саше, сомье, сосьете, соте, суаре, суфле, сюзане, тире, турне, телеателье, фотореле, фрикасе, фуле, фуэте, шале, шассе, шоссе, экарте, экспозе, эссе.*

Вторая корреляция [о] ударное конечное — признак мужского рода есть у ряда одушевленных и неодушевленных существительных. У существительных одушевленных, названий лиц, вторая корреляция выступает как единственная: *атташе, конферансье, крупье, куртье, мосье/месье, портье, пресс-атташе, рантье, шансонье, шевалье.* Одушевленные существительные *адыге, удэге, протеже,* называющие лиц, и существительные *рамбулье, шимпанзе,* названия животных, в зависимости от контекста, могут иметь вторую или третью корреляции. [Летчик Андрей Шаховской:] *Я хороший математик. Я не просто воздушный извозчик, как твой протеже Марков* — Лавренев, Враги (СВН); — *Полюбуйтесь, пожалуйста, на вашу протеже! У Ольгиного станка было, как на танцплощадке* — Комс. правда, 11 янв. 1964 (СВН); *Шимпанзе повис на дереве. Шимпанзе кормила детеныша* (СТ).

Неодушевленные существительные *каберне, муаре, наргиле, па-де-де,* наряду со второй корреляцией, могут иметь и первую. *Каберне:* м. (БАС, МАС), ср. (СЗ, ОС—1, ОС—5, ОС—13, ССВ), *муаре:* м. и ср. (БАС); *наргиле:* м. (МАС), м. и ср. (БАС, СУ, СЗ, ОС, СТ, ССВ), *Сходный (сходное) с кальяном наргиле* (СТ); *па-де-де*: м. (БАС), м. и ср. (СЗ, СТ, ССВ), ср. (СПУ, ОС), *Блестяще исполненный (исполненное) па-де-де* (СТ).

Третья корреляция [э] ударное конечное — признак женского рода как единственная выступает у существительных *цеце, пе,* несклоняемого варианта сущ. *чайхана — чайхане.* Сущ. *медресе,* помимо третьей корреляции, имеет первую: ж. и ср. (БАС, СТ, ССВ), ср. (МАС, СПУ, СЗ, ОС). *Старая (старое) медресе* (СТ).

В склоняемых существительных с флексией [э] ударное нет ни второй, ни третьей корреляций конечного [э] с признаком рода. Первую корреляцию имеют единичные производные существительные с конечным сочетанием [jэ]: *бытие (инобытие), житие, питие.* Несклоняемых существительных с ударной финалью [э] около 150, они в основном непроизводны, разнообразны по своим конечным сочетаниям (ударная финаль [э] сочетается с 18 предшествующими согласными) и семантике.

Корреляции ударной финали [а] с признаком рода

Три корреляции конечного [а] с признаком рода находим у существительных с ударной финалью [а]. Корреляция [а] конечное ударное — признак среднего рода есть у существительных

амплуа, антраша, баккара, бра, па, патуа, трема, ча-ча-ча. Корреляция [а] конечное ударное — признак мужского рода как единственная есть у одушевленных существительных *ара* (попугай), *боа* (змея), *буржуа, папá, подеста, фра.* Одушевленные существительные *альпака/альпага* (порода лам), *кечуа* (народ), *саха* (народ) могут иметь корреляцию конечного [а] с признаком мужского или с признаком женского рода. Корреляция ударной финали [а] с признаком женского рода как единственная отсутствует в несклоняемых существительных. Общей корреляцией для склоняемых и несклоняемых существительных с конечным ударным [а] является корреляция [а] с признаком мужского рода. Корреляция [а] конечное ударное с признаком женского рода, основная для склоняемых существительных с флексией [а], в несклоняемых встречается в единичных существительных (*альпага, кечуа, саха*), которые в зависимости от контекста могут иметь и корреляцию [а] с признаком мужского рода. Корреляции [а] конечного с признаком среднего рода нет в склоняемых существительных.

Корреляции безударной финали *-о* с признаком рода

В заударной позиции произношение финали *-о* отличается от произношения флексии *-о*. Произношение безударной флексии *-о* подчиняется общим орфоэпическим нормам произношения гласных в безударных слогах. На месте безударной флексии *-о* (орф. *-о*) произносится редуцированный нелабиализованный гласный [ъ] среднего подъема, среднего или средне-заднего ряда. На месте безударной финали *-о* произносятся два звука: редуцированный звук [ъ] и звук [о] без редукции. М. В. Панов считает, что произношение [о] безударного в иноязычных словах в настоящее время не является нормой (Панов, 1967, с. 323—324). Словари указывают на произношение [о] конечного безударного у небольшого числа несклоняемых существительных. Три словаря СПУ, СТ, СУРТ отмечают произношение [о] безударного в словах *вето* [то], *ватерполо* [ло], СПУ и СУРТ — в конце слов *авизо* [зо], *манго* [го]; СПУ и СТ — в словах *кредо* [до], *сомбреро* [ро]. Наличие помет у небольшого числа несклоняемых существительных с финалью *-о* свидетельствует в пользу произношения звука [ъ] на месте безударной финали *-о* и об отсутствии какой бы то ни было нормы произношения гласного [о] без редукции, что дает право ограничиться рассмотрением корреляций конечного безударного [ъ] с признаком рода.

Несклоняемым существительным с безударной финалью [ъ] (орф. *-о*) свойственны три корреляции конечного [ъ] и признака рода: 1) [ъ] безударный конечный — признак среднего рода, 2) [ъ] безударный конечный — признак мужского рода, 3) [ъ]

безударный конечный — признак женского рода. Первая, основная, корреляция совпадает с основной корреляцией склоняемых существительных. Она свойственна большинству неодушевленных существительных, для которых является единственной корреляцией, например: *авокадо, аллегро, альбедо, барокко, бельканто, бунгало, гальвано, гетто, гуано, дурро, индиго, квебрахо, импетиго, коло, легато, либретто, магнето, маренго, мотто, нейтрино, пианино* и т. п. Вторая корреляция есть у ряда неодушевленных и одушевленных существительных. Неодушевленных существительных, которые имеют вторую корреляцию, немного: *авизо, габбро, ин-кварто, ин-октаво, контральто* (голос), *концертино, крузейро/крусейро, манго, мокко, памперо, песо/пезо, сирокко, солидаго, сольдо, торнадо, торпедо* (род машины), *цицеро, эсперанто.* Для четырех слов *памперо, сирокко, солидаго, торнадо* — это единственная корреляция, в остальных словах вторая корреляция сосуществует с первой, т. е. перечисленные выше лексемы обнаруживают колебания в роде, они могут иметь и признак мужского рода и признак среднего рода. *Авизо*: м. и ср. (БАС, СТ, ССВ), ср. (МАС, СПУ, СЗ, ОС); *ин-кварто:* м. (БАС), м. и ср. (МАС), ср. (СЗ); *ин-октаво*: м. (БАС), м. и ср. (МАС), ср. (СЗ); *контральто* (голос): м. (устар.) и ср. (БАС, МАС, СУ, СТ, СВН, ССВ), м. и ср. (СПУ), ср. (СО, СЗ, ОС); *концертино*: м. и ср. (СУ), ср. (БАС, МАС, СПУ, СЗ, ОС, СТ, ССВ); *крузейро-крусейро*: м. и ср. (СЗ), ср. (ССВ); *манго*: м. и ср. (БАС, ССВ), ср. (МАС, СУ, СО, СПУ, СЗ, ОС, СТ), *мокко*: м. (СУ, СПУ), м. и ср. (СТ, СЗ), ср. (БАС, МАС, ОС, ССВ); *песо/пезо*: м. и ср. (СЗ), ср. (МАС, СО, ОС, СТ, ССВ); *сольдо*: м. и ср. (СЗ), ср. (БАС, МАС, СУ, СПУ, ОС, СТ, ССВ); *торпедо:* м. (СУ), ср. (ССВ); *цицеро*: м. (СУ, ОС), м. и ср. (СТ), ср. (БАС, МАС, СЗ); *эсперанто*: м. и ср. (СТ), ср. (БАС, МАС, СУ, СО, СПУ, СЗ, ОС, ССВ).

Одушевленные существительные, в которых есть вторая корреляция, являются названиями лиц: *гидальго/идальго, джинго, инкогнито, кабальеро, квазимодо, маэстро, микадо, суперкарго, тореро, факино* и животных: *гокко, гуанако, динго, каллимико, палоло, торпедо* (рыба), *фламинго.* Для всех перечисленных существительных, названий лиц, кроме сущ. *инкогнито,* вторая корреляция единственная. СТ для слова *инкогнито* в значении лица указывает две корреляции, вторую и третью. Вторая корреляция у одушевленных существительных, названий животных, выступает как единственная у слов *гокко, каллимико, палоло, торпедо.* У существительных *гуанако, динго, фламинго,* помимо второй корреляции, отдельные словари отмечают третью. *Гуанако*: м. (ОС), м. и ж. (СЗ) *динго*: м. (БАС, СПУ, ОС), м. и ж. (СО, СЗ, СТ, ССВ); *фламинго*: м. (БАС, МАС, СУ, СО, СПУ, СЗ, ОС, ССВ), м. и ж. (СТ).

Корреляция [ъ] конечный безударный — признак мужского

рода есть и у склоняемых существительных, но лексические группы склоняемых и несклоняемых существительных со второй корреляцией резко отличаются друг от друга конечными сочетаниями, словообразовательной структурой, семантикой. У склоняемых существительных всего два конечных сочетания: [къ] и [лъ]. Склоняемые существительные с конечным [къ] по своей словообразовательной структуре представляют отыменные образования с суффиксами субъективной оценки *-ко, -ишко, -ушко,* слова с конечным [лъ] — отглагольные образования названий живых существ, главным образом людей. Несклоняемые существительные в основном непроизводны, они достаточно разнообразны по своим конечным сочетаниям [въ], [тъ], [съ], [зъ], [гъ], [нъ], [ръ] и семантике.

Третья корреляция [ъ] конечный безударный — признак женского рода свойственна в основном одушевленным существительным. Единственное неодушевленное существительное, где есть эта корреляция, существительное *динамо. Динамо*: ж. (СУ), ж. и ср. (БАС, ОС, СВН, ССВ), ср. (МАС, СО, СЗ, СТ). Третья корреляция есть у существительных *контральто, меццо-сопрано, сопрано,* называющих лиц женского пола по их голосу. Выше уже отмечалось, что в определенном контексте существительные, называющие животных, могут иметь третью корреляцию. СТ помету рода при существительных *динго* и *фламинго* сопровождает такими пояснениями: *динго*, нескл. м. и (при обозначении самки животного) ж.; *фламинго*, нескл. м. и (при указании на самку) ж. Третья корреляция отсутствует у склоняемых существительных с безударной флексией *-о.*

Корреляции безударной финали -е с признаком рода

Произношение безударной финали *-е* отличается от произношения безударной флексии *-е* исходной (словарной) формы существительных. На месте флексии *-е* в заударном слоге произносится редуцированный звук [ъ]. В безударном слоге позиционно различается произношение финали *-е*: а) после твердых согласных, б) после мягких согласных. Безударная финаль *-е* сочетается с твердыми губными [б], [в], [м], твердыми парными зубными [т], [д], [з], твердыми парными сонорными [н], [р]. В словарях слова с безударной финалью *-е* имеют орфоэпические пометы, указывающие на твердость предшествующего согласного и одновременно на произношение на месте финали *-е* после твердого согласного звука [э] без редукции. Орфоэпические пометы в СПУ у слов *анданте* [тэ], *морзе* [зэ], *нотабене* [нэ], *форте* [тэ], в СУРТ — у слов *анданте* [тэ], *альдине* [нэ], *альдине* [нэ], *арпеджионе* [нэ], *бирбине* [нэ], *граве* [вэ], *кураре* [рэ], *маконде* [дэ], *манде* [дэ], *мачете* [тэ], *мизерере* [рэ], *момме* [мэ], *морзе* [зэ],

нотабене [нэ], *сайнете* [тэ], *сукре* [рэ], *форте* [тэ], *чичероне* [нэ], *шютте* [тэ], *эре* [рэ]. Отсутствие произносительных помет у слов *бере, делькредере, кукебурре, мествире, падре, ребе, сутартине,* вероятно, недосмотр словарей, вряд ли на конце этих слов произносится редуцированный [ъ]. В безударном слоге финали *-е* сочетается с пятью мягкими согласными: губным [ф'] (*кофе*), заднеязычным [г'] (*пенге*), небно-зубным [ч'] (*виваче, дольче, дуче, фолькздойче*), сонорным [л'] (*биенале/бьеналле, блездингеле, кантабиле, кантеле, кесле, кокле, матабеле, промилле, экстемпоралe*) и среднеязычным [j] (*медье*). Указание на произношение [э] без редукции есть только в СПУ всего для трех слов: *дуче* [че], *кантеле* [ле], *факсимиле* [ле]. В лингвистической литературе нет ясных указаний на качество звука в заударной позиции на месте буквы *е* в словах иноязычного происхождения. «В словах же с мягким согласным перед гласным на месте буквы *е* в безударном положении согласно общему правилу (см. § 19) звучит [и^{э}] (в 1-м предударном слоге) или [э] в других предударных слогах).. [Аванесов, 1972, с. 175]. В заударном слоге в грамматических окончаниях существительных на месте буквы *е* обычно произносится звук [ъ]. Какой редуцированный звук произносится на месте безударной финали *-е* после мягких согласных [э] или [ъ], без специальных исследований сказать трудно. В настоящей работе равновозможными принимаются оба произносительных варианта [э] и [ъ], записывается [э/ъ].

Безударной финали *-е* (орф. *-е, -э*) свойственны три корреляции с признаком рода. Корреляция финали *-е* с признаком среднего рода как единственная есть у неодушевленных существительных *алоэ, аквафорте, апноэ, виваче, граве, делькредере, каноэ, кантабиле, каратэ, мачете, мизерере, морзе, нотабене, перпетуммобиле, сальто-мортале, факсимиле, форте, экстемпорале, эре.* Корреляция финали *-е* с признаком мужского рода является единственной для существительных *дуче, падре, ребе, чичероне,* называющих лиц мужского пола, и одного неодушевленного существительного *альдине* (типогр. шрифт). Две корреляции конечного *-е* с признаком м. и ср. рода имеет в современном русском языке сущ. *кофе. Кофе*: м. (БАС, МАС, СО, СПУ, ОС), м. и ср. (разг.) (СУ, СТ, СВН, ССВ), м. и ср. (СЗ). Корреляция финали *-е* с признаком женского рода есть у одушевленного существительного *кукебурре* (птица) и неодушевленных сущ. *бере, промилле. Бере*: ж. (СТ), *промилле*: ж. (БАС, ОС, СТ). У сущ. *кантеле* (муз. инстр.) — две корреляции конечного *-е* с признаком среднего и женского рода: *кантеле,* ср. (МАС, СПУ, СЗ, ОС, СТ), ж. (БАС), ср. и ж. (ССВ). Родовая принадлежность сущ. *биеннале/бьеннале* определяется его семантикой: *биеннале* (выставка) имеет корреляцию конечного *-е* с признаком женского рода, *биеннале* (фестиваль) — корреляцию конечного *-е* с признаком мужского рода.

Одушевленное существительное *фольксвойче* в зависимости от контекста может иметь корреляцию конечного *-е* с признаком мужского или с признаком женского рода.

Корреляции безударной финали *-а* с признаком рода

Произношение финали *-а* в безударном слоге не отличается от произношения безударной флексии *-а,* орфоэпических помет о качестве звука на месте безударной финали *-а* в словарях нет. На месте безударной финали *-а* произносится редуцированный [ъ].

У существительных с безударной финалью [ъ] (орф. *а*) две корреляции конечного [ъ] с признаком рода: 1) [ъ] конечный безударный — признак мужского рода, 2) [ъ] конечный безударный — признак женского рода. Корреляция [ъ] конечный безударный — признак мужского рода есть у существительных, называющих языки: *амхара, иоруба, хауса,* у сущ. *мокка* (сорт *кофе*) и сущ. *туранга* (тополь). *Амхара*: *м.* (ОС), *иоруба*: м. (СЗ), *хауса*: м. (СЗ, ОС), *мокка*: м. (БАС, СУ, ССВ), *туранга*: м. (БАС). Корреляция [ъ] конечный безударный — признак женского рода у существительных *персона грата* (*персона нон грата*), *фейхоа* (кустарник). Одушевленные существительные *иоруба, хауса, ультра,* названия лиц мужского или женского пола в зависимости от контекста имеют корреляцию [ъ] конечный — признак мужского рода или [ъ] конечный — признак женского рода. Корреляция [ъ] конечный безударный — признак женского рода, основная у склоняемых существительных с флексией [ъ] (орф. *-а, -я*), в несклоняемых представлена в единичных словах: *персона грата, персона нон грата, фейхоа.* Корреляция [ъ] конечный безударный — признак мужского рода есть у непроизводных и производных одушевленных склоняемых существительных и производных неодушевленных. У несклоняемых эту корреляцию как единственную находим в основном у непроизводных неодушевленных существительных (*амхара, иоруба, хауса* — названия языков, *туранга* — вид тополя). Корреляция [ъ] конечный — признак среднего рода представлена у склоняемых существительных с конечным сочетанием [м'ъ] (орф. *-мя*). У несклоняемых существительных эта корреляция отсутствует.

Фонетическое, фонологическое и морфонологическое тождество финалей-о, -е, -а несклоняемых существительных (орф. -о, -е, -ё, -а]

На месте финалей *-о, -е, -а* под ударением произносятся звуки [о], [э], [а], позиционно сильные варианты фонем ⟨о⟩, ⟨э⟩, ⟨а⟩.

На месте финали *-о* в заударной позиции произносятся звуки [ъ] и [о]. Звук [ъ] вытесняет из произношения звук [о] без редукции. На месте финали *-е* в заударной позиции после твердых согласных произносится звук [э] без редукции. После мягких согласных на месте безударной финали *-е* могут произноситься редуцированные звуки [ъ] или [э] и в единичных словах звук [э] без редукции. Редуцированный [э/ъ] вытесняет из произношения звук [э] без редукции. На месте финали *-а* в заударной позиции произносится редуцированный [ъ].

Безударные гласные [о] и [э] без редукции фонетически отождествимы с ударными гласными [о], [э]. Фонологически ударные конечные [о], [э], [а] и безударный конечный [ъ] однозначно отождествить не удается. Безударный [ъ] может быть возведен к фонемам ⟨о⟩, ⟨э⟩, ⟨а⟩, поскольку в сильной позиции может находиться любой из позиционно сильных вариантов фонем ⟨о⟩, ⟨э⟩, ⟨а⟩ — [о], [э], [а]. Морфонологически отождествимы только финали потенциально склоняемых существительных. Ударное [о] потенциально склоняемых существительных отождествимо с ударной флексией [о], [ъ] безударный морфонологически отождествим с безударными флексиями [$ъ_1$] и [$ъ_2$] (см. об этом выше).

ВЫВОДЫ

Распределение по родам несклоняемых существительных с финалями *-о, -е, -а* лишено четкости, свойственной распределению по родам склоняемых существительных с аналогичными флексиями. Оно определяется в основном двумя факторами: морфологической системой склоняемых существительных, денотативной отнесенностью несклоняемого слова. Сфера воздействия грамматических корреляций конечного гласного с признаком рода склоняемых существительных на формирование категории рода несклоняемых существительных ограничена неодушевленными существительными. Род одушевленных существительных определяется соотнесенностью с внеязыковой действительностью, принадлежностью полу живого существа. Несклоняемые существительные, называющие живые существа, имеют в основном корреляции конечного гласного с признаком мужского или женского рода. Однако некоторые словари у существительных *сопрано,*

контральто в знач.'певица' допускают и признак среднего рода. Признак среднего рода имеет сущ. *имаго* (насекомое). У неодушевленных существительных с финалями *-о, -е* — явная тенденция к корреляции конечного гласного с признаком ср. рода, что связано, по-видимому, с воздействием основной корреляции флексий *-о, -е* с признаком рода. В словарях современного русского литературного языка (в том числе и словарях-справочниках) зафиксировано около 240 неодушевленных существительных с финалью *-о*, помету среднего рода имеют 216 существительных, помету мужского рода — 4 существительных (*памперо, сирокко, торнадо, солидаго*), 19 существительных могут иметь как признак среднего, так и признак мужского рода и одно существительное (*динамо*) — признак среднего и женского рода. Неодушевленных несклоняемых существительных с финалью *-е* около 140. Признак среднего рода у 120 существительных, два существительных — мужского рода, пять существительных — женского рода, семь существительных могут быть и среднего и мужского рода, три существительных — среднего и женского рода. У неодушевленных существительных с финалью *-и* (таких существительных около 90) средний род занимает не такое господствующее положение как среди существительных с финалями *-о* и *-е*. Существительных среднего рода — 53, мужского рода — 10, женского рода — 7, мужского и среднего рода — 15, женского и среднего рода — 5, среднего, мужского и женского — 1 (*виски*).

Сравнительное распределение родов у существительных с финалями *-о, -е, -и* наглядно представлено в таблице.

Финали	Общее число сущ.	ср.	м.	ж.	м. и ср.	ж. и ср.	м., ж. и ср.
-о	240	216	4		19	1	
-е	140	120	2	5	7	3	
-и	90	53	10	7	15	5	1

Существительных среднего рода с финалью *-о* от общего числа соответствующих неодушевленных существительных — 90%, существительных среднего рода с конечным *-е* — 85,7%, существительных среднего рода с финалью *-и* — 56,6%. Сопоставление этих цифр (90%, 85,7% 56,6%) и говорит в пользу выдвинутой гипотезы о более активном воздействии морфологического фактора при формировании категории рода несклоняемых существительных, имеющих финали, отождествимые структурно с флексиями словарной формы склоняемых существительных. Но нельзя не заметить, что средний род преобладает и у существительных с

финалью *-и*, которая не может быть отождествлена структурно с флексией соответствующей словарной формы из-за отсутствия таковой в морфологической системе русского языка. На существительных с финалями *-и*, *-у* наиболее отчетливо прослеживается тенденция семантизации среднего рода, связи категории среднего рода с категорией неодушевленности. Приходится признать, что формирование категории рода несклоняемых существительных находится под воздействием еще одного фактора: существующей в современном русском языке семантической корреляции среднего рода с категорией неодушевленности.

Интересные данные дает распределение родов у неодушевленных существительных с финалью *-а*. Существительных с финалью *-а* всего 20, из них существительных среднего рода — 8, мужского рода — 5, женского рода — 1 (*фейхоа*), м. и ср. р. — 6. Может показаться, что морфологический фактор бездействует при формировании категории рода неодушевленных существительных с финалью *-а*. Среди этих несклоняемых существительных есть одно существительное женского рода, хотя у склоняемых существительных корреляция конечного *-а* с признаком женского рода — основная. Эти парадоксальные, на первый взгляд, данные свидетельствуют о более мощном воздействии склоняемых существительных с флексией *-а*, по сравнению со склоняемыми существительными с флексиями *-о*, *-е*. Грамматическая корреляция существует не только между конечным гласным словарной формы и признаком рода, но и между конечным гласным исходной формы и системой падежных форм. Признак женского рода существительных с конечным *-а* однозначно влечет за собой изменение существительного по женской разновидности I субстантивного склонения, признак среднего рода существительных с конечным *-о* или *-е* изменение существительного по средней разновидности I субстантивного склонения. Существует несколько факторов, препятствующих реализации этой зависимости, один из них — морфонологическая структура слова. Не могут склоняться существительные, если финалям *-а*, *-о*, *-е* предшествует гласный. Не могут склоняться существительные с конечными *-а*, *-о*, *-е*, если перечисленным финалям предшествуют согласные, не встречающиеся перед флексиями склоняемых существительных. Наибольшие ограничения касаются сочетаемости флексии *-е*. Флексия *-е* сочетается всего с 7 предшествующими согласными, флексия *-о* — с 16, флексия *-а* с 29 предшествующими согласными. Воздействие морфологической системы на лексическую подсистему несклоняемых существительных осуществляется не только при формировании категории рода несклоняемых существительных, но и в вовлечении любого иноязычного или вновь созданного существительного (это касается и аббревиатур) в систему склонения.

Сложность вопроса о категории рода несклоняемых существительных и состоит в том, что род несклоняемых существительных может быть по-настоящему осознан и описан лишь в контексте всей морфологической системы русских существительных и прежде всего в соотношении с категорией падежа.

ЛИТЕРАТУРА

Аванесов Р. И. Русское литературное произношение. М., Просвещение, 1972.
Грамматика современного русского литературного языка под ред. Н. Ю. Шведовой. М., «Наука», 1970.
Мучник И. П. Категория рода и ее развитие в современном русском литературном языке.— В кн.: Развитие современного русского языка. М., Изд-во АН СССР, 1963.
Мучник И. П. Неизменяемые существительные, их место в системе склонения и тенденции развития в современном русском литературном языке.— В кн.: Развитие грамматики и лексики в современном русском языке, М., 1964.
Мучник И. П. Грамматические категории глагола и имени в современном русском литературное языке. М., «Наука», 1971.
Панов М. В. Русская фонетика. М., «Просвещение», 1967.
Русский язык и советское общество. Морфология и синтаксис современного русского литературного языка. М., «Наука», 1968.
Чурганова В. Г. Очерк русской морфонологии. М., «Наука», 1973.

О ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ В СИСТЕМЕ ТЕКСТОВ

М. А. ПРОБСТ

1. Для того чтобы выяснить задачи, стоящие перед преобразованиями текстов, для того чтобы выяснить, какие допустимые преобразования, т. е. переводящие тексты снова в тексты, имеются в языке, нам потребуется специальное рассмотрение языковой системы как системы моделирования, обладающей специфическими свойствами. Но предварительно остановимся на той роли и значении, которые играют преобразования в любой системе.

Что мы понимаем под преобразованием в любой системе объектов? Преобразованием, или отображением, в системе объектов называется такой способ соответствия между объектами системы, при котором каждому преобразуемому объекту ставится в соответствие один и только один объект системы, называемый образом преобразуемого объекта при данном преобразовании, и для каждого объекта из множества образов найдется прообраз — объект системы, из которого он «получился» в результате преобразования. Заметим следующие две особенности преобразований в системе объектов.

1) Преобразования позволяют разбить множество объектов системы на классы, каждый из которых содержит объекты с «одинаковым поведением» по отношению к данному преобразованию. Другими словами, набор преобразований в системе позволяет ввести классификацию объектов системы. И вообще изучение системы объектов равносильно изучению всей совокупности преобразований, которые преобразуют объекты системы снова в объекты той же системы.

2) В силу того, что преобразования вводят отношения эквивалентности (одинаковости по отношению к преобразованиям), можно не только «уменьшить» разнообразие рассматриваемых объектов, но и упростить формальную структуру системы, т. е. тот свод правил, который выделяет данную систему объектов из прочих совокупностей объектов.

Этот свод правил, состоящий из сигнатуры отношений Σ — списка имен отношений — и из множеств аксиом A и преобразований Π, которые устанавливают связи между различными отношениями из Σ, будем называть абстрактной грамматикой и обозначать через $\Gamma=(\Sigma, A, \Pi)$. Абстрактная грамматика подобна правилам построения и отождествления сложных имен, названий для соединений, которые используются в химии. Но система появляется лишь тогда, когда выбрано определенное множество элементов, называемое несущим множеством системы, и для каждого имени отношения из сигнатуры указаны k-местные наборы, последовательности элементов несущего множества, которые соответствуют данному k-арному имени отношения, причем эти

отношения удовлетворяют аксиомам A и преобразованиям $П$ из абстрактной грамматики $Г$. Под объектом системы мы будем понимать последовательность элементов несущего множества M с определенными на них отношениями из Σ. Одна и та же пара $\langle M, Г\rangle$ может задавать различные системы в зависимости от выбора соответствия между именем k-арного отношения из Σ и набором последовательностей, состоящих из k элементов множества M.

2. Мы будем рассматривать язык как систему, которая моделирует представления человека о действительности и служит средством общения между людьми. Представляется важным то, что язык моделирует именно представления о действительности, а не саму действительность. Ведь меняются в основном лишь представления о действительности, а не сама действительность, и именно изменения в системе представлений о действительности приводят к изменениям в языке. Будем считать, что представления о действительности образуют определенную систему, которую можно рассматривать в виде графа, вершинами которого служат наши представления об объектах действительности, а ребра, т. е. пара вершин, соответствуют отношениям между объектами в системе наших представлений. На графе, т. е. на множестве вершин и на множестве ребер заданы так же унарные отношения или характеристические функции, с помощью которых вводится типология как вершин, так и ребер. Тем самым мы ограничиваемся рассмотрением лишь бинарных отношений в системе представлений. Рассмотрение k-арных или k-местных отношений привело бы к усложнениям — пришлось бы вместо графа рассматривать комплекс, в котором вместо множества пар вершин — ребер задаются произвольные подмножества вершин. Граф наших представлений будем обозначать через G, а его абстрактную грамматику через $Г_G = (\Sigma_G, A_G, П_G)$.

3. Теперь постараемся выяснить, каким условиям должна удовлетворять система моделирования, каковой является, по нашему мнению, язык. Под моделированием системы S_2 с помощью системы S_1 будем понимать такое соответствие между несущими множествами и абстрактными грамматиками этих систем, при котором объекту системы S_1 сопоставляется такой объект системы S_2, который получен из первого путем замены как элементов несущего множества M_1 на элементы, им соответствующие, из множества M_2, так и отношений из Σ_1 на соответствующие им отношения из Σ_2. Система S_1 может быть «шире» системы S_2, так как в ней могут быть как «лишние» (которым ничего не соответствует в системе S_2) элементы несущего множества M_1, так и «лишние» компоненты абстрактной грамматики $Г_1$. С аналогичной ситуацией мы сталкиваемся в языке при рассмотрении вводных слов, связок и т. п.

Условиями, которым должна удовлетворять такая система моделирования (ее мы будем обозначать L), каковой является язык, являются следующие.

I. Условие полноты. Для любой части графа G в системе L должен существовать такой объект, который при моделировании отобразится именно в эту часть графа.

Нужно отметить, что при моделировании можно с помощью системы L «передавать» не все свойства графа G, а лишь некоторые. Для этого нужно перед моделированием задать точность моделирования или, что то же самое, задать отношение эквивалентности на G, и в один класс эквивалентности попадут те объекты, которые мы хотим считать одинаковыми, а при моделировании из каждого класса эквивалентности в G будет выбираться лишь по одному представителю.

II. Условие дискретности и конечности. Несущее множество M_L системы L конечно и каждый объект системы L содержит лишь конечное число элементов множества M_L.

III. Условие линейности. Каждый объект системы L есть линейная последовательность элементов из M_L и на этой последовательности заданы отношения из L_L.

Условие линейности есть специфическое свойство системы L. Оно, например, присуще естественному языку, но уже не выполняется для языка живописи. Это свойство, как мы увидим дальше, приводит к ряду особенностей системы моделирования.

IV. Условие многозначности. В системе L должно существовать достаточно много различных объектов, имеющих один и тот же образ в системе G. Говоря иначе, в системе должны существовать такие преобразования объектов, которые не изменяют соответствующий объекту образ в системе G.

Мы уже отмечали, что язык рассматривается и как средство общения. Но для последнего нужно иметь возможность передачи «авторской точки зрения». Многозначность или наличие преобразований, не меняющих образ объекта в G, и служат этой цели.

V. Условие минимальной повторяемости. В линейной последовательности, составляющей объект в системе L, должно быть минимизировано число повторений входящих в нее элементов.

Такое требование вызвано тем, что во-первых, повторения делают громоздкой конструкцию объекта в системе и неэкономной, и, во-вторых, избегать нужно повторений в силу ограниченности во времени числа восприятий человека.

VI. Условие адаптивности. Система должна обладать адаптивностью по отношению к изменениям в G — в системе представлений о действительности: возникновение в G новой вершины, нового ребра, т. е. нового объекта, нового

отношения, не должно менять всей системы L, оно должно приводить лишь к добавлению новых элементов в M_L, новых компонент в Γ_L.

«Новая» система должна содержать «старую» систему и должна быть расширением «старой» системы». Это условие говорит, что расширение системы может быть получено путем «малых» изменений, т. е. нечто вроде непрерывности расширений.

4. Задача построения объектов системы L есть задача построения таких линейных последовательностей элементов в системе L, чтобы множество различных элементов этой последовательности и множество пар соседних по последовательности элементов в результате моделирования, т. е. в результате соответствия, задаваемого моделированием, совпало со множеством вершин и множеством ребер заданной части графа G; такую часть графа будем обозначать через G_i. Для облегчения решения этой задачи или, как говорят, задачи линеаризации графа, предварительно упростим граф, заменив его на набор более простых графов. При этом потребуем, чтобы множество различных вершин таких графов и множество различных ребер этих графов совпадали со множествами вершин и ребер графа G (такие графы называются изоморфными). Набор графов, изоморфный данному графу, будем называть представлением графа. Условием, которому должны удовлетворять «более простые» графы, является условие планарности графов. Граф называется планарным, если он может быть изображен на плоскости без введения новых вершин или, что то же самое, без пересечения ребер. Далеко не всякий граф оказывается планарным, а с другой стороны, представление графа в виде набора планарных графов-срезов напоминает представление трехмерного тела через плоские проекции этого тела.

Линеаризацию графа можно проводить разными способами: с помощью матрицы смежности, в которой для каждой вершины выписываются все вершины, смежные с данной вершиной, и указывается вид смежности, т. е. тип отношения, или же с помощью набора простых путей таким образом, чтобы каждая вершина и каждое ребро графа вошли бы хоть в один простой путь. Простым путем в графе называется последовательность вершин графа без повторений, в которой две вершины оказываются соседними в последовательности только тогда, если они принадлежат одному ребру графа. Каждый из этих способов линеаризации имеет свои достоинства и недостатки. Матрица смежности хорошо передает свойства смежности каждой вершины, локальные свойства графа, но плохо передает свойства связности всего графа и числю повторений каждой вершины в матрице велико — каждая вершина повторяется в матрице столько раз, сколько имеется для нее смежных вершин. Набор простых путей хорошо описывает связность всего графа, но локальные свойства вершин передаются

плохо, да и число повторений вершин еще может быть достаточно велико, особенно, если каждая вершина связана в графе со многими вершинами — ведь простой путь может передать лишь две связи вершины: с предыдущей и с последующей.

По-видимому для языка и, следовательно, для системы L характерно то, что часть текста, т. е. часть объекта системы L, должна одновременно передавать как локальные свойства, так и интегральные характеристики — «уметь в мелочах видеть целое». Нечто подобное происходит и со зрением человека. Можно поставить задачу: найти такой способ линеаризации графа, который бы, во-первых, уменьшил повторяемость вершин, во-вторых, передавал как смежность вершины, так и связность графа, в-третьих, не нарушил бы моделирования, т. е. сохранил бы однозначность соответствия между линейным образом графа и самим графом, в-четвертых, сложность искомых образов графа не должна быть «слишком большой», так как она должна быть «меньше» сложности исходного графа; в случае матрицы смежности сложность возросла за счет перехода к несвязным графам-звездам, которых много, при простых путях оказывается все же много путей, и наконец, в-пятых, нужно создать условия для возможности неоднозначного «изображения» графов G_i в системе L. Чтобы совместить такие противоречивые требования, можно пойти на усложнение системы: ввести в систему дополнительные средства выражения и искать компромиссный путь между матрицей смежности и набором простых путей. Представление в виде планарных графов и есть такой путь — сокращается повторяемость вершин, сохраняется передача как локальных, так и интегральных свойств графа, сохраняется также и однозначность при моделировании. Но в силу того, что планарный граф в отличие от простого пути и строки матрицы смежности не является линейным, в нем существуют «параллельные» пути, необходимо ввести специальные функции — пометки в каждой вершине. С помощью них можно будет указывать тип вершины и другой конец ребра, т. е. смежную вершину. Введение в систему совокупности характеристических функций-пометок хотя и приводит к усложнению системы, но дает возможность с помощью планарных графов G_i^t осуществить линеаризацию графа G_i. Но одно из главных достоинств совокупности характеристических функций-пометок состоит в том, что с помощью них можно сделать более свободной структуру объектов в системе L. Действительно, в случае использования характеристических функций-пометок, порядок элементов в линейной структуре объекта системы стал менее жестким в силу того, что связи между вершинами стали передаваться через пометки, а не только с помощью линейного порядка. Таким образом, введение характеристических функций-пометок, которое было вызвано уменьшением повторяемости вершин с одновременной передачей локаль-

ных и интегральных свойств графа, с одной стороны, и планарностью графов-срезов, с другой, оказалось средством для «разрушения» жесткой конструкции объекта в системе L, что приводит к возможности неоднозначного изображения графов G в системе L.

Еще раз отметим, что планарность графов-срезов G_i^t в представлении графа G_i есть условие, которое дает возможность уменьшить повторяемость вершин в линейной записи объекта системы без потери однозначности соответствия между объектами системы L и графами G_i, являющимися частями графа G. Но обилие различных характеристических функций-пометок, конечно, приводит к усложнению системы. Нужно постараться уменьшить как общее число характеристических функций в системе, так и число различных характеристических функций-пометок, которые используются в линейной записи каждого объекта в системе L. Последнее условие является следствием не только стремления уменьшить общее число характеристических функций, но упоминавшегося уже ранее условия локальной передачи интегральных характеристик — по части можно судить о целом.

Из всего сказанного следует, что в системе L существуют по крайней мере три противодействующих друг другу условия:

а) стремление сделать менее жесткой конструкцию объектов в системе L, т. е. увеличить число преобразований объекта, сохраняющих образ этого объекта в G;

б) стремление уменьшить повторяемость вершин с одновременной передачей как локальных, так и интегральных свойств графа в малом, с помощью части объекта системы L;

в) стремление уменьшить число различных характеристических функций-пометок как в системе L, так и в объекте T.

Легко видеть, что независимое решение каждого условия ведет к нарушению других условий: увеличение числа преобразований объекта ведет к увеличению числа характеристических функций-пометок, а минимизация повторяемости вершин ведет к увеличению числа характеристических функций.

Можно предположить, что существует условие, оптимизирующее эти требования. По нашему мнению, роль условия проективности или условие планарности графов-срезов состоит в том, что, являясь проявлением общего условия оптимальности, это условие позволяет решать часть нужных задач. Во-первых, оно позволяет уменьшить повторяемость вершин без нарушения процесса моделирования. Во-вторых, это условие, хотя и требует введения характеристических функций-пометок в силу увеличения «сложности» по сравнению с простыми цепями, но это увеличение сложности не приводит к существенному уменьшению числа преобразований объекта в системе L. И в-третьих, условие проективности, минимизируя повторяемость вершин, дает возможность

исключить требование минимальности повторений из «общего» условия оптимальности и тем самым сделать это условие оптимальности «лишь» двухпараметрическим.

Отметим, что условие VI — условие адаптивности теперь нужно дополнить, указав, что расширение системы может происходить и за счет «небольших» изменений совокупности характеристических функций-пометок.

В дальнейшем говоря о системе L, мы будем иметь в виду систему $L=\langle M_L, \Gamma_L\rangle$ вместе со множеством характеристических функций-пометок.

Нужно подчеркнуть, что процесс моделирования системой L системы G или, что то же самое, процесс построения в системе L объектов T таких, что их образ в системе G совпадает с заданным графом G_i, происходит в два этапа: первый этап состоит в замене заданного графа G_i на его представление через планарные графы-срезы, а второй этап состоит в «переводе» каждого такого графа-среза в линейную последовательность элементов несущего множества M_L вместе с характеристическими функциями-пометками.

5. Поставим теперь следующую задачу: чем задается и чем определяется объект T в системе L? Или эквивалентную задачу: какие в системе L преобразования, допустимые для объекта T?

Но предварительно отметим следующее свойство некоторых преобразований в системе. Одним из простейших видов преобразований является преобразование типа эквивалентности. Мы уже отмечали, что задаваемая при моделировании точность есть преобразование эквивалентности. Переход от графа G к подграфу G_i, т. е. части графа, задается также преобразованием эквивалентности. Действительно, для того чтобы в графе G выделить нужный подграф, необходимо указать, какие вершины и какие ребра нужно отождествить и что с чем. Аналогичная ситуация возникает и при переходе от подграфа G_i к представлению через планарные графы-срезы, которые аналогичны двухмерным проекциям трехмерного тела. Сами проекции определяются тем, каким образом происходит отождествление точек тела, например, отождествляются ли все точки одной прямой — проектирующей прямой. Важно отметить, что, задавая правила перехода от одной структуры, будь то граф или подграф, к более простой структуре, реализующие эти переходы отношения эквивалентности не определяются однозначно: существует много различных способов задания нужных эквивалентностей, которые определят различные конкретные способы перехода к более простой структуре. Таким образом, сам переход от графа G_i к представлению через планарные графы-срезы допускает много различных вариантов: и в самом наборе графов-срезов и в выборе собственно графов-срезов в наборе. Ситуация аналогичная положению, возникающему при проектировании: можно выбрать различные типы проекции, т. е.

способы соотнесения между собой отдельных проекций, и при выборе способа проектирования можно разными способами соотнести положение тела с направлением осей проектирования.

В силу неоднозначности выбора эквивалентностей, возникает вопрос об инвариантах исходного графа G_i при отношениях эквивалентности, которые реализуют переход от графа G к подграфу G_i, затем переход к планарным графам и, наконец, переход к линейной записи через элементы множества M_L вместе с характеристическими функциями-пометками. В языке такими инвариантами текстов являются контекстуальные свойства единиц текста. Тем самым можно сказать, что контекстуальные свойства единиц текста есть инвариантные свойства относительно отношений эквивалентности, определенных на множестве слов данного языка.

Отметим еще одну черту конструкции объектов T в системе L. В силу того, что объект T может быть изображен в виде планарных графов, можно говорить о «параллельных» ребрах и даже о цепочках параллельных ребер. Действительно, в планарном графе могут быть циклы и это приводит к параллельным ребрам. Но введение характеристических функций — пометок приводит к типологии ребер и поэтому можно рассматривать и параллельные пути, составленные из ребер одного типа. Такая конструкция аналогична системе многожильных проводов в многоканальной связи. Поэтому можно говорить о многоканальности конструкции объектов T в системе L. Свойство многоканальности объектов T представляется, на наш взгляд, весьма интересным и заслуживает специального рассмотрения. Основная причина многоканальности состоит в том, что моделируемый граф G_i имеет достаточно сложную структуру и ее нужно было выразить более простым образом — сначала через планарные графы, а затем в виде линейной последовательности с пометками. Можно сказать, что «передача» многоканальности осуществляется посредством контекстуальных свойств элементов последовательности, составляющих объект T. Но сами контекстуальные свойства определяются через отношения эквивалентности, которые в свою очередь задают граф-срез. Поэтому можно каждому графу-срезу сопоставлять каналы, которые определяются данным срезом, т. е. эквивалентностями этого графа-среза. Интересно выяснить, как соотносятся между собой различные каналы, ведь именно через общие каналы может осуществляться связь между различными графами-срезами. Кроме того, сами срезы должны быть в какой-то мере «ортогональны», т. е. независимы, чтобы обеспечить полную передачу (изоморфизм) свойств моделируемого графа при минимальном наборе графов-срезов в представлении. Выявление таких «ортогональных» отношений эквивалентности представляет несомненный интерес и равносильно выяснению видов преобразований, сохраняющих такую эквивалентность.

Отметим, что каждый «канал» есть лакунарная подпоследовательность в последовательности элементов, составляющих объект T, т. е. подпоследовательность, составленная из неподряд идущих элементов последовательности объекта T. Можно предположить, что наличие в объекте T такой многоканальной структуры есть одно из условий осмысленности текста.

С вопросом о многоканальной структуре объекта T тесно связан вопрос о выборе графов-срезов и о соотношениях между срезами внутри одного набора и срезами из разных наборов. Задача совокупности срезов, составляющих представление заданного графа $G_i \subset G$, состоит в передаче всех свойств графа G_i. Для этого нужно каким-то способом указать не только все вершины графа, но, и это можно сказать самое главное, описать все ребра графа и их типологию, т. е. все связи, существующие между вершинами графа G_i. Но так как срезы задаются совокупностью отношений эквивалентности, то часто возникает ситуация, когда данный срез, входящий в представление заданного графа G_i, схож, «подобен» некоторому другому планарному графу-срезу, подобен по типу отношений, которые «связывают подобные» вершины. В этом случае описание нужного графа, будь то заданный граф G_i или граф-срез из представления графа G_i, можно свести или заменить на описание другого «подобного» графа. Такой переход к другому «подобному» графу часто удобен в силу следующих причин: а) если «подобный» граф ранее изучен, то нет необходимости его подробно описывать, достаточно сослаться на описание такого графа; б) само свойство «подобности» позволяет заметить в изучаемом графе те свойства, которые уже известны для подобного графа (роль аналогии в исследовании хорошо известна); в) замена изучения данного графа на исследование «подобного» графа дает возможность полнее выразить отношение автора сообщения к изучаемому явлению, ситуации (роль ассоциаций при передаче авторства очень велика). Особенно важна такая «подмена» в тех случаях, когда важна не столько «информативная часть смысла» сообщения, сколько «фасцинирующая составляющая смысла» (под «фасцинирующей составляющей смысла» мы понимаем все то, что связано с сообщением и относится к способам воздействия сообщения на воспринимающего сообщение — это и акцентовка, и авторская манера и т. п.).

Для характеристики фасцинирующей составляющей важны следующие особенности: во-первых, как «далеки» между собой различные графы-срезы и им «подобные», ассоциирующие с ними графы — имеют ли они общие точки или другие общие свойства, задающие структуру графа; во-вторых, как расположены подобные графы относительно графа G_i — принадлежат ли они дополнению графа G_i относительно графа G или к дополнению графа G_i' относительно графа G_i, т. е. оставаясь внутри графа G_i;

в-третьих, постоянны ли те отношения эквивалентности, по которым находятся ассоциации — подобные графы, или же эти отношения эквивалентности меняются от среза к срезу, и существует ли область в графе G, в которой расположены подобные графы.

Нам кажется, что для прозы характернее исследование связей внутри G_i, между срезами и внутри срезов. Для поэзии описание связей между срезами и часто внутри срезов идет через «вне G_i», через подобные графы-срезы, которые находятся вне G_i. Для поэзии значение фасцинирующей составляющей смысла становится основным и поэтому ассоциации играют большую роль в поэзии, значительно бóльшую, чем в прозе. Но значение фасцинирующей составляющей смысла тем больше, чем больше вариаций допускает процесс перевода заданного графа G_i в линейный объект T системы L. Обратно, чем меньше вариаций допускается при моделировании заданного графа, т. е. при создании текста с заданной темой, тем меньше черт, характеризующих автора, содержит текст. Это легко увидеть на строго канонических текстах типа приказов, инструкций, в которых авторство не нужно и поэтому форма каноническая, почти не имеющая отклонений. Фасцинирующая составляющая смысла может выражаться в способе выбора определенных графов-срезов и порядка их следования. Так же можно варьировать порядок элементов в линейной последовательности, задающей объект T системы L. Та часть авторской линии, которая содержится в тексте, может передаваться не только путем выбора определенного порядка на составляющих частях, но и путем выбора и отбора лексики или, говоря другими словами, отбора части элементов несущего множества M_L. Можно предположить, что фасцинирующая составляющая оказывается тем больше, чем больше отклонений от каноничности имеется в тексте, т. е. в объекте Т. Появление в объекте непрогнозированного, «неожиданного» всегда увеличивает фасцинацию. Это хорошо видно в музыке, это мы всегда замечаем в живой речи, особенно, когда речь построена не канонично, нестандартно. И вообще речь, по-видимому, потому оказывает более сильное воздействие на слушателей, что речь менее канонизирована, содержит значительно меньше ограничивающих ее правил, в речи всегда бывают отклонения от норм и это придает ей свое очарование, делает речь более поэтичной.

Хотя мы в начале этой части поставили вопрос о нахождении преобразований объекта T, мы выясняли те характерные свойства, которыми определяется объект T. Но поиск преобразований равносилен поиску характерных свойств объекта, так как преобразования объекта T именно и определяются как соответствия, сохраняющие, не меняющие определенные свойства объекта T. Именно такие инварианты и составляют основу совокупности преобразований.

Отметим еще одну черту преобразований объектов T системы L. Все преобразования в той или иной мере изменяют то, что мы привыкли называть смыслом объекта — структуру объекта, которая определяется как порядком элементов, так и множеством самих элементов, которые составляют линейное представление объекта T. Но среди преобразований можно выделить такие, которые локально изменяют объект, изменяя лишь один элемент или группу рядом расположенных элементов и не затрагивая прочих частей объекта T. Наряду с такими локальными преобразованиями есть преобразования, которые не сводимы к локальным.

6. Подводя итог сказанному ранее, мы можем выделить следующие свойства линейных объектов T в системе L и тем самым указать на следующие преобразования объектов — текстов языка.

6.1. Объекты T системы L, которым в графе G, т. е. в системе наших представлений, соответствуют подграфы G_i, характеризуются тем, какими планарными графами-срезами и в каком порядке осуществляется представление G_i. Но, кроме собственно графов-срезов, важны те «подобные» графы, через которые происходит дальнейшее разложение и затем линеаризация графов-срезов. В силу того, что объекту T сопоставляется несколько графов-срезов, важно знать, как соотносятся между собой «подобные» графы, можно ли выделить определенную область в графе G, из которой «выбираются подобные» графы как для всего объекта T, так и для его частей. Всем этим свойствам соответствуют преобразования объекта T, которые определяются этими свойствами.

6.2. Объекты T имеют многоканальную структуру. Важно знать, как соотносятся между собой различные каналы, т. е. как соотносятся различные части графа G_i, которые соответствуют различным каналам. Важны и способы выражения различных каналов. Интересны преобразования, которые изменяют структуру каналов в объекте T.

6.3. Важной характеристикой объектов T являются некоторые отклонения от канонических принципов системы. Этим может быть и нарушение минимальности повторений, и введение в объект новых элементов подобно тому, как в текстах появляются слова другого языка.

6.4. Важной чертой преобразований является их локализованность, т. е. насколько сильно меняется структура объекта и можно ли свести изменения в объекте лишь к одному элементу или к группе соседних по последовательности элементов. Вопрос о локальности преобразований важен и в тех случаях, когда в объекте T имеются нарушения «строгой» канонизации, но которые можно свести к локальным преобразованиям.

6.5. Наряду с теми преобразованиями, которые, изменяя объект T, не меняют соответствующий объекту граф G_i, важны и такие преобразования, которые изменяют соответствие между объ-

ектом T и моделируемым графом G_i. Для таких преобразований важны как различия в структуре объектов, так и в наборе элементов, из которых построен объект Т, и соответствующие этим различиям отличительные свойства моделируемых графов G_i.

В виде иллюстрации рассмотрим следующий пример: разбор различных переводов на русский язык сонета № 66 Шекспира. В сборнике «Мастерство перевода. 1966» (М., «Советский писатель», 1968) этому вопросу посвящена статья А. Финкеля «66-й сонет в русских переводах». Мы не будем излагать содержание статьи, а используем материал статьи для иллюстрации того, какими свойствами характеризуются тексты языка. Задачу сравнения различных переводов 66-го сонета мы можем перефразировать следующим образом: исследуются разные тексты, т. е. объекты T системы L, которые задаются одним и тем же подграфом G_i, а последний определяется оригиналом 66-го сонета. Какие же «параметры» выделяет автор этой статьи для сравнения разных русских переводов 66-го сонета?

1. Перестановки, т. е. как различные переводчики переставляют содержание отдельных стихов сонета. Это соответствует тому, что мы называли порядком графов-срезов в представлении графа.

2. Число объектов в сонете и как сохраняют эти объекты различные переводчики. Это соответствует в нашей модели числу моделируемых вершин графа G_i.

3. Различные семантические эквиваленты, используемые переводчиками: «достоинство», фигурирующее у Шекспира, заменяется на «честь», «нищета» заменяется на «прах», «глупость, проверяющая знания» — на «безумья жалкого чело», и ряд других замен, которые вводят переводчики. Такие замены соответствуют введению различного вида отношений эквивалентностей, о которых мы специально говорили.

4. Различие в синтаксических конструкциях, которые вводят разные переводчики: у Шекспира все дополнения зависят от одного глагола *видеть*, а у Пастернака — инфинитивные предложения при общем существительном *тоска*. Это так же соответствует в нашей модели как порядку элементов в линейной последовательности, так и порядку и выбору планарных графов-срезов.

5. Набор лексики. Очевидно, что это соответствует выбору элементов несущего множества.

6. Важность подтекста. Этому понятию можно сопоставить такие свойства объектов T в системе L, как многоканальность и выделение определенной области в графе G как для самих планарных графов-срезов, так и для «подобных» графов.

Мы не будем продолжать выписывать все параметры, по которым происходит сравнение различных переводов. Приведенные примеры достаточно показали связь между свойствами объектов в системе L и используемыми в лингвистике понятиями.

ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ В ТЕКСТЕ
(«Система языка» и «картина мира»)

Е. М. ВОЛЬФ

Семантические исследования последних лет все более определенно показывают, что при анализе высказывания необходимо учитывать не только собственно языковые, но и экстралингвистические данные, так называемые «фоновые знания», опирающиеся на известную собеседникам картину ситуации и «общий фонд знаний» отправителя и получателя сообщения; см. классификацию «фоновых знаний» в Верещагин, Костомаров, 1976. Если ранее вопрос о разграничении лингвистического и экстралингвистического вставал лишь в лексикографии (различие между толковым и энциклопедическим словарями), то в настоящее время с проблемой соотношения лингвистического знания («система языка»), с одной стороны, и экстралингвистического («картина мира») — с другой, все чаще сталкиваются исследования, посвященные любым, в том числе самым конкретным темам и синтаксиса и семантики. Ср. замечание Т. М. Николаевой, что «в методике описательных исследований последних лет для объяснения языковых фактов все шире привлекаются экстралингвистические факторы широкого диапазона» (Николаева 1977, 308).

Очевидно, что адресат сообщения узнает из полученного им текста не только то, что обозначено отдельными лексемами, их синтаксическими связями и другими компонентами собственно языкового знания («система языка»), но и многое другое, обусловленное различными аспектами ситуации, прямо не обозначенными в тексте, но вытекающими из его содержания, «фоновыми знаниями» получателя сообщения как члена данного языкового коллектива; ср. анализ фразы May we come in? ‘Можно войти?’ (Fillmore 1973), анализ речевых актов и вывод из сообщения промежуточных текстов (Searle 1975), обсуждение проблемы соотношения имплицитного и эксплицитного в понимании высказывания (Шендельс, 1977) и др.

Проблема соотношения лингвистического и экстралингвистического очень сложна. Для нее не существует однозначных решений, не только частных, но и самых общих. Тем не менее эта проблема постоянно и чем дальше, тем чаще встает в логической и лингвистической литературе в связи с обсуждением самых разных вопросов семантики. Так, в частности, с ней неразрывно связано изучение аналитических и синтетических высказываний (Quine 1961), поиски способов выявления метафор (Loewenberg 1975), анализ внутритекстовых связей, многие вопросы перевода. Границы экстралингвистического и лингвистического в семантике весьма неопределенны и лабильны. Как отмечалось и логиками

и лингвистами, «не все истины, относящиеся к миру, можно отличить от истин, относящихся к языку» (Loewenberg 1975, 327) [1]. Попытки определить границу лингвистического и экстралингвистического при анализе языковых фактов всегда приводят к обнаружению принципиально неразличимых случаев. Очевидно, задача лингвиста, по крайней мере в настоящее время, заключается не в том, чтобы строго разделить лингвистическое и экстралингвистическое («систему языка» и «картину мира»), а в том, чтобы выявить точки их соприкосновения и аспекты взаимодействия.

Вопрос о соотношении собственно текста и внетекстовой информации встает при изучении практически любых речевых явлений. Рассмотрим некоторые аспекты этой проблемы на примере атрибутивных групп, т. е. сочетаний существительного с прилагательным-определением, поставив перед собой следующую задачу: выявить, какие факторы влияют на обязательность / факультативность появления прилагательного в тексте и как их можно соотнести с собственно языковыми данными, с одной стороны, и с ситуацией и «картиной мира» — с другой.

Группы «прилагательное+существительное» представляют собой один из наиболее простых и единообразных по структуре видов словосочетаний. Эти сочетания, особенно если рассматривать типовые атрибутивные группы, где существительное обозначает предмет или событие, а прилагательное — его признак, легко сводятся к центральному элементу — существительному. Как известно, такой вид свертывания (*AN→N*, *свежее молоко→молоко*) — один из основных в модели непосредственно составляющих и в трансформационных моделях. Между тем, если рассматривать атрибутивные группы не как изолированные наименования, а в составе текста, то картина меняется; во многих случаях прилагательное становится обязательным элементом высказывания.

Обычно, когда говорят об обязательном прилагательном-определении, имеют в виду конструкции вроде *человек с длинными волосами, парень высокого роста* и т. п., связывая обязательность прилагательного с их синтаксической структурой. Между тем обязательность прилагательного в некоторых видах таких словосочетаний может быть описана через экстралингвистические знания, «знания о мире». В самом деле в структурах типа *человек с длинными волосами* прилагательное обязательно, так как пара *человек — волосы* — это целое и его обязательный атрибут, поскольку волосы, как предполагается из «картины мира», есть у всех людей; поэтому признак «волосы» сам по себе неинформативен и сочетание *человек с волосами* недостаточно по смыслу; здесь необходим

[1] В общем виде эта проблема ставится следующим образом: для предложения *я знаю, что П*, где *П* также предложение, невозможно определить, представляет собой *П* лингвистическое или экстралингвистическое знание (Loewenberg 1975, 327).

еще один «квант» информации — признак: *и видел перед собою коренастого плотного человека, гладко выбритого, с густыми волосами на голове* (с. 315) [2]; нельзя: *...человека, гладко выбритого, с волосами на голове.* Но ср. аналогичные конструкции, где обозначены признаки необязательные — *человек с седой бородой, мальчик с рыжими веснушками;* прилагательное в таких структурах факультативно, вполне осмысленны и сочетания без определения: *человек с бородой, мальчик с веснушками* (см. Селиверстова 1975). Ср. следующий пример: *Евлампия Петровна оказалась царственной дамой с царственным лицом и бриллиантовыми серьгами в ушах* (с. 312). Здесь нельзя опустить прилагательное при слове *лицо* (* *...оказалась дамой с лицом*), но можно при слове *серьги* (*...и с серьгами в ушах*).

Для того чтобы фраза была осмысленной, она должна передавать некоторое сообщение, информативное для адресата, содержать достаточное для данного высказывания и для данного контекста количество смысла. «Достаточность» смысла в фразе с прилагательным или без него ощущается слушающим на основе его знания «системы языка» и соответствующей «картины мира».

Из исследований по логике известно, что при замене одного из элементов логической структуры возможны три основных варианта изменений — отношение между элементами структуры становится бессмысленным, перестает выполняться или выполняется (Шрейдер 1971). В лингвистических конструкциях также можно обнаружить эти три основных типа модификаций, однако они имеют много разновидностей в силу того, что лингвистические структуры сложнее логических и могут представлять собой различные их варианты и комбинации. Рассмотрим следующие случаи, где прилагательное обязательно для того, чтобы фраза была осмысленной. Это легко заметить, если сравнить приводимые ниже примеры и соответствующие высказывания, где прилагательное устранено: 1. Вошла дама *с властным лицом южного типа* (с. 121); ср. * *Вошла дама с лицом типа;* 2. Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слова «вознаграждение» следовало *пустое место* (с. 322); ср. * *Следовало место*; 3. Он произвел на меня впечатление *очень умного, наблюдательного человека* (с. 316); ср. * *Он произвел на меня впечатление человека*; 4. Поликсена посмотрела на Людмилу Сильвестровну *загадочными глазами* (с. 335); ср. * посмотрела глазами; 5. О Независимом театре я слышал, что *это один из выдающихся театров,* но никогда в нем не был (с. 275); ср. * О Независимом театре я

[2] Статья иллюстрируется примерами из «Театрального романа» М. А. Булгакова (*Булгаков. М. А.* Белая гвардия. Театральный роман. Мастер и Маргарита. М., 1973). Однако те виды конструкций, о которых идет речь здесь и далее, встречаются в любых текстах любых авторов, составляя одно из наиболее обычных явлений текстовой структуры.

слышал, что *это один из театров* (как можно видеть, эти фразы при устранении прилагательных становятся бессмысленными) [3].

В следующей серии примеров при устранении прилагательного фразы остаются осмысленными, но в их семантике происходят изменения, иногда весьма существенные: 6. править пьесу — *чрезвычайно утомительное дело* (с. 342); ср. *Править пьесу — дело*; Я его пил из чашки с *отбитой ручкой* (с. 303), ср. *Я его пил из чашки с ручкой*; 8. Коробка раздвинулась до размеров *учебной сцены* (с. 311), ср. раздвинулась *до размеров сцены*; 9. *Нагретый воздух* ласкал лицо и руки (с. 320), ср. *Воздух ласкал лицо и руки*; 10. Бабье лето сдалось и уступило место мокрой осени. *Серый свет* лился в окно (с. 342), ср. *Свет лился в окно.*

Легко заметить, что в приведенной серии примеров при устранении прилагательного перестают выполняться отношения, заданные в исходной структуре; фразы, оставаясь осмысленными, тем не менее сообщают уже не о том, что раньше. Это особенно очевидно, если сравнить приведенные примеры со следующими, где высказывание при устранении определения не меняет значения, а лишь сокращает часть информации, выраженную прилагательным, а основное отношение между элементами выполняется: Я узнал *продранный диван* с выскочившей наружу пружиной (с. 306); можно и: *Я узнал диван*; Приближался *осенний, скверный, туманный рассвет* за окном (с. 393), можно: *Приближался рассвет*; Рядом с *прославленной актрисой* в раме помещалось *фотографическое изображение* человека с усами (с. 316); можно и: Рядом с актрисой в раме помещалось *изображение человека с усами.*

Приведенные выше примеры с обязательным прилагательным различны по синтаксису и семантике. В них встречаются самые разные слова — *лицо, тип, место, человек, глаза, театр, дело, ручка, сцена, воздух, свет* в разнообразных синтаксических позициях,

[3] При анализе именных групп естественно встает вопрос об обязательности как прилагательного, так и существительного. В некоторых типах групп прилагательное несет основную информацию, а существительное оказывается факультативным структурным элементом, выполняя роль транспозитивного суффикса. Такие группы могут быть свернуты в наречия, прилагательные, существительные: Слова эти произвели удивительное действие (с. 380) — подействовали удивительно; Проходили иногда какие-то пожилые женщины, сухонького вида (с. 343) — пожилые женщины, сухонькие; Я лишь не могу забыть одной вещи (с. 290) — забыть одного. В данной статье вопрос о факультативности существительного и возможности свертывания именных групп не ставится, так как обязательность существительного определяется совершенно другими причинами, чем обязательность прилагательного, а именно синтаксическими и словообразовательными, в то время как роль прилагательного связана в первую очередь с семантикой. Ниже рассматривается, таким образом, только один вид преобразований — устранение прилагательного при заданном существительном.

однако всех их объединяет одно: прилагательное в них обязательно и не может быть устранено без искажения смысла высказывания. При анализе этих случаев встают два вопроса: во-первых, что изменяется в высказывании при устранении прилагательного, и во-вторых, чем объясняются эти изменения.

Наибольшее количество различных реализаций имеет вариант, где при устранении прилагательного отношение между элементами высказывания перестает выполняться, т. е. когда при этом не просто сокращается, но и меняется смысл высказывания. Среди них можно, например, выделить случаи изменения логической структуры фразы. Так, высказывание *Иван Петрович — талантливый учитель* при устранении прилагательного остается осмысленным и информативным, но в нем сообщается уже не о том, о чем раньше [4]. В приведенном примере содержатся по меньшей мере две структуры: *Иван Петрович учитель* и *Иван Петрович талантлив*, в первом случае идет речь об отнесении к классу, во втором — о характеризации. В фразе с прилагательным *Иван Петрович талантливый учитель* дается определение референта (*он талантлив*) с ограничением сферы характеризации (*талантлив как учитель*, обычно если уже известно, что Иван Петрович — учитель), в фразе без прилагательного сообщается о принадлежности референта к классу учителей. Отметим, что аналогичное по структуре высказывание *Иван Петрович — талантливый человек* при устранении прилагательного оказывается неинформативным. Это происходит потому, что информация о том, что референт наименования Иван Петрович — человек, заключается в самом имени Иван Петрович, это — аналитическое высказывание. Подобные пары образуются и с нарицательными наименованиями субъектов — в первую очередь людей. Ср. *Моя сестра — опытный инженер* и *Моя сестра — прекрасный человек*; информативно *Моя сестра — инженер,* но не *моя сестра — человек* (если в фразе нет специального оценочного смысла).

Встает вопрос, что́ в описанных структурах и в их семантических преобразованиях при устранении прилагательного-опре-

[4] В бытийных предложениях и в других типах интродуктивных структур возможны разные варианты соотношения существительного и прилагательного по их обязательности / факультативности. При этом выделяются следующие основные случаи: 1) прилагательное необходимо, существительное — факультативно: *Он талантливый человек — он талантлив;* 2) прилагательное факультативно, существительное обязательно: *Он заядлый картежник — он картежник* (здесь прилагательное выступает как интенсификатор); 3) необходимы и прилагательное, и существительное: *Он талантливый учитель.* В данной статье рассматриваются, как уже отмечалось, лишь случаи обязательности прилагательного при заданном существительном, то есть соотношение фраз типа: *Он талантливый человек — Он человек; Он заядлый картежник — Он картежник; Он талантливый учитель — Он учитель.*

деления принадлежит собственно языковым знаниям, а что входит в знания о реальной действительности, составляя экстралингвистический фон, на котором развертывается высказывание.

Как известно, всякое высказывание, как изолированное, так и тем более входящее в текст, накладывается на уже имеющиеся у отправителя и получателя сообщения сведения (пресуппозиции). Эти сведения могут относиться к разным сферам, это прежде всего «фоновые знания», связанные с общей «картиной мира», имеющимися в ней предметами и событиями и их соотношениями (ср. такие сведения, как то, что у человека есть руки, ноги, глаза, лицо и т. п., что ногами ходят, глазами смотрят, что деревья растут, солнце светит и т. п.). Далее, это знания, относящиеся к быту, культуре, социальным установлениям данного языкового коллектива. Так, например, если сообщается, что *Он вышел из дома*, то при этом подразумевается, что у получателя сообщения имеются сведения о стандартной ситуации улицы с домами, мостовой, тротуарами, машинами, прохожими и т. п. (в ситуации города); если сообщается, что *Петя получил плохую отметку*, то подразумевается связь со стандартной ситуацией школы (уроки, учитель, ученики, шкала оценок и т. п.). Все эти сведения нельзя приписать самому высказыванию (*Он вышел из дома*; *Петя получил плохую отметку*), однако очевидно, что говорящий и адресат имеют представление о типовых атрибутах ситуации, о которой идет речь. Близки к этим знаниям и сведения социально-культурного свойства, например, о том, что у людей есть собственные имена, построенные тем или иным образом в каждом языковом коллективе, что города и реки имеют названия и т. п. И наконец, кроме знания «картины мира» и «стандартной ситуации», получатель сообщения располагает сведениями, извлеченными из текста, куда входит соответствующее высказывание — все это и образует некую «данность», на которой строится понимание высказывания и заключение о его информативности (Верещагин, Костомаров 1976; Bellert 1972; Ebert 1973 и др.).

С соотношением «данности» и сообщаемого и связана, очевидно, проблема обязательности того или иного семантического элемента текста. Так, в понимании различия между приведенными выше примерами — *Иван Петрович — талантливый человек* и *Иван Петрович — талантливый учитель* участвуют экстралингвистические сведения о том, что не всякий Иван Петрович — учитель, но любой Иван Петрович — скорее всего, человек. Отсюда неинформативность фразы *Иван Петрович — человек*, которая принадлежит к классу аналитических высказываний — о референте сообщается то, что имплицитно входит в сведения о нем, данные его наименованием. Аналогичное явление наблюдается и в других высказываниях, в первую очередь там, где референт обозначен собственным именем. Так, например, в фразе *МХАТ* —

прекрасный театр прилагательное скорее всего обязательно, так как информация о том, что МХАТ — театр, имеется у носителей языка. Но ср.: *А что это за Когорта?... Когорта — это театр* (с. 309). То, что Когорта — театр, неочевидно для одного из участников диалога (многие эпизоды «Театрального романа» М. Булгакова показывают, что герою плохо знакома соответствующая «данность»).

Вопрос о том, к какой сфере принадлежат аналитические высказывания, к сфере собственно языкового или экстралингвистического, как известно, является спорным. Как утверждает У. Куайн, который первый обратил специальное внимание на эту проблему, не существует аналитических высказываний, истинных только относительно языка. Это точка зрения оспаривалась другими исследователями. (См. материалы дискуссии в Zabeech and oth., 1974). Ср. высказывания типа *Москва — это город*; *МХАТ — это театр.* Если относить собственные имена к языку, то знание их референтов — это языковое знание, как бы локализация собственного имени в языковом пространстве. В то же время, если собственные имена относятся не к системе данного языка, а к «картине мира», то внеязыковыми оказываются и сведения о соответствующих референтах. Скорее всего этот вопрос не может быть решен в общем виде; часть собственных имен может относиться к системе данного языка (в первую очередь имена, получившие внутриязыковые коннотации), а часть — к «картине мира».

Еще один пример возможности двойной трактовки этого высказывания с именами неотторжимой принадлежности, в первую очередь с названиями частей тела. Как уже говорилось, эти структуры хорошо объясняются «картиной мира», обязательностью / необязательностью соответствующего атрибута или целого (ср. *волосы / борода, глаза / веснушки* и т. д.). Однако названиям частей тела можно приписать дифференциальный признак неотторжимости / отторжимости, и тогда соответствующее различие становится внутриязыковым. Так, если лексемы *глаза, нос, волосы* включают сему неотторжимой принадлежности, а лексемы *борода* и *веснушки* — нет, то и различие в описанных выше структурах (* *человек с носом* и *человек с бородой*) оказывается связанным с системой языка. Если эти признаки не включаются в описание языка, то соответствующие сведения скорее относятся к «картине мира». Имеется много промежуточных случаев, где неясно, следует ли объяснить обязательное присутствие определения тем, что существительному приписываются соответствующие семы («система языка») или тем, что соответствующий референт может иметь разные признаки («картина мира»).

Чем теснее связаны часть и целое в «картине мира», тем больше основания приписать имени части признак неотторжимости;

ср. пары *глаза — человек* и *окно — дом*, представляется, что связь в первой паре теснее. Таким образом и здесь имеется зона промежуточных случаев, и вопрос не может быть решен однозначно.

Если рассмотреть факторы, которые влияют на обязательность прилагательного в тексте, то можно обнаружить, что в основном они относятся к трем семантическим сферам, причем в каждой из этих сфер по-разному распределяется влияние собственно языкового и внелингвистического аспектов высказывания.

Одна сфера, которая определяет роль прилагательного в высказывании, это семантика существительного-определяемого, вторая — это семантика предиката, к которому непосредственно относится именная группа, обычно это сказуемое; третья сфера связана с ролью именной группы в семантике высказывания в целом на фоне общей для носителей языка «картины мира» и ситуации, которыми определяются и пресуппозиции данного высказывания [5].

Первый фактор — семантика существительного-определяемого играет ведущую роль в структуре именной группы. Когда мы говорим об обязательности прилагательного, речь идет на самом деле об обязательности места, которое прилагательное занимает при существительном. Существительное требует определения на основе своей семантики и позиции в высказывании, иными словами оно имеет открытую семантическую валентность на качественный определитель, которая и может быть заполнена прилагательным. Лишь в некоторых случаях (здесь они не рассматриваются) обязательность прилагательного определяется его собственной семантикой, а не семантикой существительного.

Среди существительных выделяются несколько подклассов слов, которые имеют валентность на качественный определитель, реализуя ее в определенных синтаксических и коммуникативных условиях. Степень потребности имени в качественных определителях различна. Имеются имена, которым по их собственной семантике не хватает качественной семы, они содержат в своем значении указание на качественный признак, но сам признак в них не обозначен. Это чаще всего имена, обозначающие класс свойств, характеристик, признаков, например, *вид, характер, настроение, выражение, состояние, положение, тип, сорт, разновидность, путь, образ, способ, отношение, позиция, тема, тенденция*

[5] Существенную роль играет здесь и синтаксическая позиция именной группы, однако не прямо, а опосредованно, так как от позиции группы зависят ее связи с разными видами предикатов и ее собственная предикативность, иными словами, в ее синтаксисе отражаются и семантические факторы. Синтаксис словосочетаний с прилагательными здесь не рассматривается не только потому, что подобные синтаксические формы описывались не раз, но и потому, что собственно синтаксическое описание позволяет лишь фиксировать конструкции с обязательными прилагательными, притом далеко не все, но не объясняет их семантическую природу.

и т. п. Семантика этих имен плохо изучена. Это существительные — непредметные по своей семантике, их можно причислить к классификаторам предикатов, обозначающих признак или действие. Их основной актант — неактивный носитель признака и прилагательное-определение при таком существительном характеризует его актант или действие: Кот долез доверху и оттуда оглянулся *с остервенелым видом* (с. 360), очевидно, остервенелым был кот. Существительные этого класса не имеют непосредственных глагольных параллелей, и поэтому не попадают в поле зрения исследователей актантных структур, номинализаций и т. п. Между тем в структуре текста эти слова играют очень большую роль, требуя эксплицитного обозначения признака, входящего в их значение в виде семантической валентности на качество.

Есть и другие подклассы имен, как предметные, так и предикатные, полнозначные сами по себе, но требующие в высказывании указания на признак, это например, имена с параметрическими семами, в том числе обозначения времени — *день, дата* и другие, названия таких считаемых предметов, как *ряд, этаж*, слова типа *рост, размер, степень* и т. п., слова с местоименными характеристиками самого общего свойства, например обозначения места вроде *земля, страна, территория*, обозначения классов лиц, близкие к местоименным,— *человек, парень, девушка, женщина, люди, народ* и т. п. (подробнее см. Вольф 1978). По-видимому, все эти имена имеют валентность на качественный признак, которая реализуется в определенных условиях коммуникативной и синтаксической структуры предложения; ср. следующие примеры: Насчет первого не спорю, а насчет второго предупреждаю *серьезным образом*, что это заблуждение (с. 305); А говорят еще, что писатели *непрактичный народ* (с. 292); Я перестал или еще не умел понимать *серьезные вещи* (с. 306); *С первого же момента* я почему-то подружился с Бомбардовым (с. 316); *Какая-то щемящая мысль* вторглась в меня (с. 291).

Очевидно, присущая этим именам потенциальная валентность на качество входит в их семантическую структуру и относится, таким образом, к системе данного языка. Не случайно конструкции с именами этих подклассов в разных языках не совпадают по своей семантике и по роли в тексте. Семантическая пустота слова или присутствие в нем валентности на качественный определитель — это языковой признак, и обязательность прилагательного в этих структурах относится к сфере языка.

При устранении прилагательного высказывания с такими существительными становятся бессмысленными. Обычно это происходит, когда именная группа входит в сообщаемое (подробнее см. Вольф 1978). В таких структурах обнаруживаются особые закономерности распределения пресуппозитивных и ассертивных сем. Типичным для высказываний с сочетаниями существительных с

валентностью на качество и с прилагательными является то, что пресуппозитивные семы в них содержит существительное, а ассертивные — прилагательное, и следовательно, прилагательное в этих структурах несет основную часть сообщения. Это объясняется семантикой существительных, которые указывают на класс предметов или на класс признаков, в то время как типичной для предикативной позиции является не столько классификация, сколько характеризация; в тексте отнесенность к классу обычно входит в пресуппозиции высказывания, а сообщается — о признаках. Естественно, что при устранении указания на признак имя уже не сообщает ничего или почти ничего, и высказывание оказывается бессмысленным: ср. *Меня встретили удивленными взорами* (с. 291) и *меня встретили взорами*; здесь сообщается, что «меня встретили с удивлением», ассертивную сему несет прилагательное, без прилагательного фраза недостаточна по смыслу.

Необходимо подчеркнуть, что если существительное само содержит качественную сему, то прилагательное обозначает дополнительный признак и оказывается факультативным (ср. *действие — изумление*): Этот вопрос произвел на Пряхину *удивительное действие* (с. 335) — прилагательное обязательно: и Я видел, что возбуждаю в Ильчине *веселое изумление* (с. 309) — прилагательное факультативно.

Отметим, что некоторые конструкции такого рода оказываются осмысленными и без прилагательных, но при этом в них сообщается уже не о том, о чем раньше, т. е. отношения между элементами не выполняются; при этом структуры без прилагательных представляют собой устойчивые сочетания (что определяется «системой языка»); *Это не игнутовское дело* пакеты Ивану Васильевичу относить (с. 323); ср. *Это не дело...*

Сюда примыкают конструкции с именами качества, где обязательно прилагательное-интенсификатор. Они характеризуются специфической синтаксической структурой, т. е. относятся к сфере языкового; ср хрестоматийный латинский пример: vir magnae eloquentiae — *весьма красноречивый* муж; ср. также: Я человек *большого и горького опыта* (с. 281), но не * *Я человек опыта.* О структурах с именами неотторжимой принадлежности, обладающих особыми семантическими и синтаксическими характеристиками, уже говорилось выше (ср. также Селиверстова 1975; Ivič 1970). Как можно видеть, когда обязательность прилагательного связана с семантикой существительного, она чаще всего определяется собственно лингвистическими факторами, «системой языка».

Второй основной фактор, определяющий обязательность прилагательного в именной группе,— это семантика предиката, с этой группой непосредственно связанного. Здесь при анализе роли прилагательного также выявляются два аспекта, собственно язы-

ковой и экстралингвистический, однако разграничить их не всегда оказывается возможным.

Одной из разновидностей конструкций, в которых обязательность прилагательного связана с предикатом, являются сочетания, где глагол и существительное представляют собой действие и один из его постоянных актантов, его присутствие подразумевается действием: *охватывать — чувства, смотреть — глаза, кричать — голос, произносить — слова, ходить — походка* и т. д. Здесь введение в текст наименования актанта не несет никакой специальной информации, и указание на признак обязательно: *Горькие чувства охватывали меня*, когда кончалось представление (с. 311), нельзя: * *чувства охватывали меня;* Улыбка слетела с него, в упор на меня *осмотрели злые, огненные глаза* (с. 380); но не: * *смотрели глаза*; ломовой *кричал* на лошадь *страшным голосом* (с. 324), но не: * *кричал голосом*; Бомбардов прервал себя на полуслове, крепко пожал мне руку, причем *произнес загадочные слова* тихо: (с. 318), но не: *произнес слова*; Тут дверь отворилась, и в предбанник *оживленной походкой вошла дама* (с. 334), но не: * *походкой вошла дама.* Сюда же относятся случаи, когда и глагол, и существительное обозначают действие, дублируя друг друга: *улыбаться — улыбка, смеяться — смех*; ср.: *улыбаясь болезненной улыбкой* (с. 319), но не: * *улыбаясь улыбкой*; Вбежав, дама *засмеялась переливистым смехом* (с. 334), но не: * *засмеялась смехом.*

Аналогичные отношения могут возникать и между существительными, которые соотносятся как актанты стандартной ситуации: ср. *книжка — писатель*: я ничего не извлек *из книжек самых наилучших писателей* (с. 306), но не: *из книжек писателей.* Во всех этих случаях конструкция в целом требует указания на признак. Если же качественный признак содержится в самом существительном, то прилагательное необязательно, ср.: Матушка! — *закричал страшным голосом* человек (с. 331) и вдруг *зарыдал* сам *страшным, глухим, лающим басом* (с. 331). Во втором примере прилагательные факультативны, можно и *зарыдал басом.* Пара *закричал голосом* и *зарыдал басом* в некотором смысле аналогична паре *человек с носом* и *человек с бородой.* В этих случаях трудно ответить на вопрос, связана ли обязательность прилагательных с семантикой слов или с экстралингвистическими знаниями («картиной мира»). Если считать, что актант *голос* входит в семантическую структуру глаголов ряда *говорить, кричать, плакать* и т.п., то обязательность прилагательного объясняется языковыми причинами. Отметим, что многие конструкции такого рода специально предназначены для введения определителей — имеются параллельные им структуры, в которые определители не вводятся: ср. *улыбнулась* и *улыбнулась болезненной улыбкой, закричал* и *закричал страшным голосом* (Гак 1976). Это также свидетельствует

о том, что обязательность прилагательных в этих случаях обусловлена скорее системой языка.

Однако имеется и другой тип конструкций; в нем обязательность прилагательного связана с предикатом, но в основе ее лежат экстралингвистические знания. Такие высказывания могут быть нескольких видов. Так, например, прилагательное обязательно, если высказывание истинно только по отношению к подклассу предметов или событий, обозначенных именной группой; ср.: Где уж ему читать,— заговорил Ликоспастов,— у него нет времени *современную литературу* читать (с. 327). Это не то же самое, что *у него нет времени литературу читать*. В других случях между сказуемым и определением могут устанавливаться дополнительные связи причинного, условного или уступительного характера, ср.: *Требовательные герои* пьесы вносили необыкновенную заботу в душу (с. 342), здесь каузативный предикат *вносили заботу* непосредственно связан с указанием на причину *требовательные*: так как они были требовательны; ср. также: Он прямо и откровенно посмотрел мне в глаза, внимательно изучая меня, как изучают *новый, только что приобретенный механизм* (с. 320), т. е. как изучают механизм, когда (если) он новый, только что приобретенный. Само существование дополнительной предикативной связи в такого рода высказываниях принадлежит «картине мира» и определяется экстралингвистическим знанием причин и следствий событий. Но в то же время эти связи отражаются в системе языка, так как в семантическую структуру каузативного предиката входит указание на причину.

Третья сфера явлений, которые обусловливают обязательность или факультативность прилагательного в именной группе, охватывает уже не только семантику имени и семантику предиката, но высказывание в целом и широкий контекст, а также пресуппозиции, связанные с известной говорящим «картиной мира», стандартной ситуацией и информацией, полученной из данного текста. При этом возникает проблема, которую можно считать основной при изучении этого аспекта структуры именных групп. Это проблема альтернативы, выбора одного из возможных предметов или событий сообщаемого, ср. operation of eliminatory contrasting (OEC) — операцию элиминирующего контрастирования у Богуславского (Bogusławski, 1977), а также связанные с ней проблемы распределения пресуппозитивных и ассертивных сем в именной группе и смысловых акцентов — все это соотносится с общим вопросом о пресуппозициях высказывания[6]. Рассмотрим

[6] Когда идет речь о месте именной группы в семантике высказывания и об обязательности/необязательности в ней прилагательного, в первую очередь встает вопрос о ее роли в коммуникативной структуре. В различных коммуникативных позициях, и прежде всего в идентифицирующей и пре-

следующий пример: После окончания школы он поехал учиться *в провинциальный город*. Ясно, что фраза *Он поехал в город* вполне информативна. Однако при устранении прилагательного здесь не просто снимается признак, а меняется смысл сообщаемого. Это зависит в первую очередь от альтернатив, связанных с данной ситуацией.

Известно, что всякий новый элемент, вводимый в высказывание, предполагает выбор, причем чаще всего выбор из некоторого более или менее определенного набора, объединенного общим признаком класса. Если выбор ориентирован на существительное — один из элементов класса, то прилагательное факультативно: Он поехал учиться *в город*, подразумевает, что здесь выбор произошел из альтернативы *город/деревня*. Но если альтернатива ориентирована на прилагательное (Он поехал *в провинциальный город, а не в столицу*), то определение обязательно. Очевидно, ориентация на ту или иную альтернативу связана с пресуппозициями данного высказывания, которые определяются «картиной мира» или данной ситуацией. Ср. также: И опять те же люди, и опять *дальний город*, и бок рояля, и выстрелы (с. 307). Если снять прилагательное, то возникает имплицитная альтернатива, выбор из класса, включающего существительное: *и опять город* (а не *деревня* или *лес, поле* и т. п.), в то время как в тексте *дальний город* противопоставляется *городу*, в котором находится автор. Ср. еще: Вы прочтите,— веско сказал Егор,— *хорошая книжица* получилась (с. 327). Прилагательное здесь факультативно, если предположить, что могла «получиться» не *книжица*, а другой элемент класса, например *статья, поэма*. Если то, что получилась именно *книжица*, предполагается предыдущим контекстом, то прилагательное обязательно. Ср. также: Я *мокрыми руками* вытащил из-за пазухи договор и вскричал (с. 324). Если предположить, что вытащить договор можно было бы не руками, то прилагательное было бы факультативно. В приведенном примере альтернативы для существительного не подразумевается, и прилагательное несет необходимую для осмысленности высказывания часть информации.

Необходимо подчеркнуть, что возможные альтернативы подразумеваются не только наличием класса, куда входит соответствующее обозначение, но и общими свойствами ситуации, к которой относится высказывание, тем из «возможных миров», где происходит действие. Рассмотрим такой пример: Машина въехала в город и остановилась *перед домом с широкими окнами и черепичной крышей*. Вне ситуации, на основе одной лишь «картины ми-

---

дицирующей, прилагательное ведет себя по-разному. Здесь эта проблема специально не ставится, так как она подробно рассматривается в работе: Арутюнова 1977.

ра» прилагательные здесь бесспорно обязательны, фраза без прилагательных недостаточна по смыслу; ср.: Машина въехала в город и остановилась *перед домом с окнами и крышей* — высказывание неинформативно, так как из стандартной «картины мира» известно, что дома имеют окна и крыши. Однако стоит ввести фразу в специфическую ситуацию, например войны, землетрясения, стройки, как прилагательные оказываются факультативными, так как в этих ситуациях информативно именно наличие у дома окон и крыши, а признаки последних, напротив, могут быть опущены. В этих случаях различная роль прилагательного зависит от картин «возможных миров», где меняются свойства объектов и взаимоотношения их атрибутов (Целищев 1977, 54—55 и след). Соотношение «данности» и «сообщаемого» очень подвижно. Стоит даже незначительно изменить «данность», как меняется набор альтернатив и распределение пресуппозитивных и ассертивных сем — то, что было в пресуппозиции, в данном становится ассертивным, сообщаемым. Очевидно, присутствие альтернативы при объяснении текста может быть эксплицировано конструкцией с *а не*: *в город, а не в деревню* (альтернатива, ориентированная на существительное); *мокрыми, а не сухими руками* (альтернатива, ориентированная на прилагательное). В реальном тексте альтернативный вариант, входящий в пресуппозиции высказывания и обусловленный «картиной мира» или стандартной ситуацией, обычно не выражается, так как пресуппозиции не требуют экспликаций. Но если альтернативный вариант отклоняется от стандарта, или если надо подчеркнуть противопоставление при выборе, то он вводится конструкцией *не.., а*; ср.: Пол кабинета был затянут сукном, но *не солдатским, а бильярдным* (с. 318); противопоставление, отсутствующее в пресуппозиции: *бильярдное сукно* не подразумевает антитезы — *солдатское*; Я... положил браунинг *не в левый, а в правый ящик* стола и отправился на кухню (с. 289); подчеркивается признак из стандартной пары *левый — правый*. Ср., однако, пример, где в первой фразе вводится имя, а во второй его признаки с эксплицированием альтернативного: Присматриваясь, щурясь, я убедился в том, что это картинка. И более того, что *картинка* эта *не плоская, а трехмерная* (с. 307).

Очевидно, в случаях альтернативного выбора обязательность прилагательного связана с «картиной мира» и с экстралингвистической ситуацией. Однако и здесь в какой-то степени затрагивается система языка, поскольку способность слова входить в ряд единиц, подлежащих выбору, связана с его семантикой и со способами выражения языковых категорий. Исследователи структуры текста различают «контрастоспособность» отдельных имен. Так, слова, включающие признак неопределенности вроде *кто-то*, *некто*, не могут выражать в тексте семантику противопоставления (ср.

Harweg 1971 по: Николаева 1977, 310). Не имеют явной альтернативы в тексте и многие другие слова, особенно обладающие местоименными свойствами, ср. *место, человек*. Вопрос о соотношении обязательного/факультативного признака и кванторных показателей неопределенности в каждом данном языке нуждается в специальном исследовании. Так, в русском языке прилагательное бывает обязательно при неопределенной референции имени, при его устранении необходимо поставить показатель неопределенности: Он привычным жестом плеснул из склянки в рюмку *мутную жидкость* (с. 337), здесь можно *какую-то жидкость*, но не *жидкость;* ср. также: *Дальний, мощный голос* страстно пропел (с. 337); здесь можно *какой-то голос*, но не *голос*; В силу этой причины я однажды оказался *в странном помещении* на одном из бульваров Москвы (с. 290), ср. *в одном, каком-то помещении*. В артиклевых языках подобные имена сопровождаются неопределенным артиклем и прилагательное не требует замены.

Отметим, что имеется много случаев, когда обязательность прилагательного определяется не семантикой слов и не «данностью», полученной из «картины мира» и ситуации, а собственно контекстом, где прилагательное связывается с другими элементами высказывания; при его устранении эти связи нарушаются. Ср.: Зачем же гаснет комнатка, зачем на страницах наступает зимняя ночь над Днепром, зачем выступают *лошадиные морды*, а над ними *лица людей* в папахах (с. 309). Ясно, что в этом примере именная группа в целом противопоставляется другой именной группе: *лошадиные морды — лица людей*; ср. также: Ильчин изумился до того, что *правою рукою* стал чесать *левое ухо* и еще сильнее прищурился (с. 309); в этом примере два признака противопоставлены друг другу, устранение любого из них нарушает внутритекстовую связь. В следующем примере прилагательное *странный* обусловливает весь дальнейший контекст, при его устранении нарушается мотивировка событий: А потом мы прошли *мимо странных дверей*, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь (с. 310). Внутритекстовые связи такого рода бесконечно разнообразны, они встречаются как в параллельных синтаксических структурах, так и в любых других.

Таким образом, возможность выбора, существование альтернатив, с одной стороны, и внутритекстовые связи — с другой, определяют семантику именных групп в самых различных видах высказываний.

Необходимо подчеркнуть, что при анализе вопроса об обязательности/факультативности прилагательного в высказывании обнаруживаются, как и следует ожидать, различия между текстом чисто информационным и текстом художественным, который предполагает «эмотивное» воздействие на читателя. В информацион-

ном тексте, где имеют значение только дескриптивные смыслы, пресуппозиции и соответствующий выбор определяются семантикой слов и стандартной «картиной мира», известной участникам акта коммуникации, и не предполагает неожиданностей. Напротив, художественный текст ориентирован на нетривиальные элементы, и в этом смысле возможности внутритекстовых связей и альтернатив значительно расширяются. В художественном, и особенно в поэтическом тексте, внутритекстовые связи и пресуппозиции чрезвычайно сложны и многослойны, и определяемый ими выбор включает гораздо больший, практически бесконечный ряд элементов, связанных самыми сложными ассоциациями. Это вытекает из «суггестивности знака», его способности к тому, чтобы вызывать неопределенные и плохо мотивируемые лингвистическими правилами серии ассоциаций (ср. Stevenson 1944, 79). Таким образом, по отношению к текстам художественных произведений встает в ином аспекте проблема факультативности и обязательности прилагательного. Элементы, факультативные с точки зрения логической структуры высказывания и его информативности при сообщении «голых» фактов, могут быть обязательны в структуре художественного текста, именно они часто включаются в многослойные семантические связи, которые реализуются в тексте. При устранении одного элемента нарушается и обедняется система внутритекстовых ассоциаций. В этой связи можно вспомнить слова О. Э. Мандельштама из «Разговора о Данте»: «Сила дантовского сравнения... прямо пропорциональна возможности без него обойтись. Оно никогда не диктуется нищенской логической необходимостью».

- Рассмотрев свойства именных групп и их роль в высказывании, вернемся к примерам, приведенным на с. 120, 121. Обязательность в них прилагательного объяснима приведенными выше причинами, которые включают и семантическую систему языка, и «картину мира», и ситуацию (синтаксис высказываний здесь, как уже говорилось, не рассматривается). Так, в первом примере прилагательные обязательны, поскольку *лицо* является постоянным, неотъемлемым атрибутом *дамы* и поэтому существительное без определения неинформативно («картина мира» или «система языка»?), а существительное *тип* по своей семантике требует качественного определителя «система языка». Во 2-м примере существительное *место* имеет валентность на качественный признак и к тому же, находясь при предикате презентации *следовать*, не подразумевает альтернатив; скорее всего это существительное относится к именам, у которых отсутствует «контрастоспособность» («система языка»). 3-й пример: существительное *человек* неинформативно по отношению к референту — лицу (*он — человек*), без определений высказывание приближается к аналитическому («система языка» или логическая структура в «картине мира»?).

4-й пример: имя *глаза* — стандартный актант при глаголе *смотреть*, неинформативно без определений («система языка» или «картина мира»?). 5-й пример: при устранении прилагательного высказывание становится неинформативным, тавтологическим (*о Независимом театре я слышал, что это театр*). Оно может стать осмысленным, приобретая особую эмфатическую интонацию, ... *это театр*!, которая придает имени и высказыванию в целом оценочный смысл (система языка). 6-й пример: существительное *дело* требует качественных определителей (система языка). 7-й пример: *ручка* является стандартным атрибутом *чашки*, а контекст не предполагает альтернатив — *с ручкой/без ручки* («картина мира»). 8-й пример: размер сцены и размер учебной сцены — не одно и то же, при устранении прилагательного меняется объем понятия, о котором идет речь, и высказывание перестает быть истинным («картина мира»). 9-й пример: при устранении прилагательного нарушается дополнительная (причинная) связь между предикатом и прилагательным: *теплый воздух — ласкать* («картина мира»). 10-й пример: при устранении прилагательного нарушается связь между именной группой и предыдущим контекстом: *серый свет — мокрая осень* («картина мира»).

Таким образом, вопрос о разграничении лингвистического и экстралингвистического, о влиянии каждого из этих аспектов структуры высказывания на обязательность/факультативность употребления прилагательного сводится в конечном счете к таким проблемам, как семантическая структура слова (включаются ли в состав слова семы, отражающие его связь с другими словами, в частности, «неотторжимость» для слов типа *глаза*, *нос* и т. п., актант для глаголов говорения, движения и т. п., качественный признак для слов вроде *способ*, *положение* и др.), трактовка аналитических высказываний как обусловленных системой языка или экстралингвистическими факторами, и наконец, проблема соотношения данного в высказывании, с одной стороны, и известного собеседникам из пресуппозиций знания стандартной ситуации и общих сведений о мире — с другой.

В заключение необходимо подчеркнуть, что влияние на структуру высказывания, в данном случае на обязательность или факультативность прилагательного и собственного языковых, и экстралингвистических факторов, несомненно. Однако далеко не всегда можно с уверенностью сказать, какой именно фактор действует в каждом конкретном высказывании. Их разделение во многом зависит от способа описания. Часто все эти факторы пересекаются. Семантика высказывания и текста формируется из всех этих компонентов в их взаимодействии.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Номинация и текст.— В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., «Наука», 1977.
Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М., «Наука», 1976.
Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного (на материале иберороманских языков). М., «Наука», 1978.
Гак В. Г. Номинализация сказуемого и устранение субъекта.— В кн.: Синтаксис и стилистика. М., «Наука», 1976.
Николаева Т. М. Лингвистика текста и проблемы общей лингвистики.— Изв. АН СССР, серия лит. и языка, т. 36, 1977, № 4.
Селиверстова О. Н. Компонентный анализ многозначных слов. М., «Наука», 1975.
Целищев В. В. Философские проблемы семантики «возможных миров». Новосибирск, 1977.
Шендельс Е. И. Имплицитность в грамматике.— МГПИИЯ им. М. Тореза. Научные труды, вып. 112. М., 1977.
Шрейдер Ю. А. Равенство, сходство, порядок. М., «Наука», 1971.

Bellert I. On the logico-semantic structure of utterances. Wrocław, 1972.
Bogusławski A. Problems of the thematic-rhematic structure of sentences. Warszawa, 1977.
Ebert K. H. Functions of relative clauses in reference acts.— Linguistische Berichte, 1973, № 23.
Fillmore Ch. May we come in?— Semiotica, v. IX, 1973, № 2.
Harweg R. Ein Mensch, eine Person und jemand.— Zeitschrift für deutsche Sprache. Bd. 27, Hf. 1/2, 1971.
I. Loewenberg. Identifying metaphors.— Foundations of Language, v. 12, № 3. 1975.
Quine W. v. Two dogmas of empiricism.— In: From a logical point of view. N. Y., 1958.
Readings in semantics. Ed. Zabeeh F. und oth.— Univ. of Illinois Press. Urbana. 1974.
Searle J. K. Indirect speech acts.— In: Syntax and Semantics, vol. 3. Speech Acts, Ed. Cole P., Morgan J. L., e. a. Acad. Press, N. Y., 1975.
Stevenson C. L. Some pragmatic aspects of meaning.— In: Readings in Semantics. Ed. Zabeeh F and oth.-Univ. of Illinois Press. Urbana, 1974.

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИМЕНИ СОБСТВЕННОГО. I

Л. И. ВАСИЛЕВСКАЯ

I. Казалось бы, нет ничего более определенного, чем грамматическая категория имени собственного. Являясь, как и любое имя, формой номинации предметов окружающего нас мира, оно всегда направлено на конкретный в пространстве и времени объект — определенное лицо, место, предмет естественный или продукт человеческой деятельности. Собственное имя мыслится как наиболее конкретное из всех возможных типов имен, лишенное в значительной степени сигнификативного содержания[1]. Еще Д. С. Милль писал: «Единственные названия предметов, не сознающие ничего (т. е. не являющиеся, по Миллю, коннотативами.— *Л. В.*), суть имена собственные, которые, строго, говоря, не имеют никакого значения» (Милль 1878, 41).

Вывод об отсутствии у слов данной категории непосредственной понятийной соотнесенности, который делается в большинстве лингвистических работ, посвященных имени собственному, является следствием рассмотрения преимущественно парадигматических характеристик данных единиц номинации. Синтаксические особенности имен собственных вплоть до самого последнего времени занимали исследователей в существенно меньшей мере[2]. При таком аспекте анализа имя собственное оказывается не только денотативом, но также и коннотативом, определяющим связи высказывания с текстом.

Этому кругу проблем, связанных с функционированием слов данной категории, принадлежит и вопрос о вариации значения имени собственного в зависимости от синтаксической позиции в предложении, который стал предметом рассмотрения в настоящей работе. В данной статье будут проанализированы только две синтаксические позиции — подлежащего и сказуемого — для имен собственных в русском языке, обозначающих лицо.

Мы попытаемся показать, что личные собственные имена используются в предложении не только в выделительной функции, но и как заместители пропозиций, несущие информацию о свойствах и особенностях рассматриваемых лиц[3].

II. Имя собственное в предложении в позиции подлежащего, как правило, лишь идентифицирует некоторое называемое лицо в

[1] Общую характеристику основ денотативной и сигнификативной семантики см. Степанов 1975, 10—20.

[2] О возможностях нереферентного использования имени собственного см.: Ackerman 1976; Böer 1975; Burge 1973; Hornsly, 1976; Lockwood 1975; Mates 1975; Peacocke 1975.

[3] Вопросы языковой референции с точки зрения контекстных связей в процессе работы над статьей обсуждались с Е. Л. Гинзбургом.

качестве предмета сообщения. В данной синтаксической позиции оно в наибольшей степени реализует свои денотативные возможности, выступая в качестве знака, тесно связанного с самим называемым предметом без экспликации каких-либо особенностей, присущих данному лицу, исключая разве только ту подробность, что таково его имя: *Иванов написал письмо*; *Борис — верный друг*; *Ильин увлекается живописью* и т. д.[4] Для усиления данного значения имени собственного могут быть использованы указательные местоимения *этот* (*эта*), *тот* (*та*), *это*: *Это Софрон Сивцев* грабит своих сородичей... (А. Алдан-Семенов).

Имена собственные лиц известных исторических деятелей, писателей, художников и т. д. обладают специфическими индивидуальными коннотациями, что определяет и особенности их синтаксического использования в предложении. Д. С. Милль писал: «Соозначаемое свойство может также заключаться в связи с известным событием, и связь эта может быть такого рода, что она мыслима только в отношении к одной особи...» (Милль 1878, 39) [5].

Личные имена собственные с индивидуальными коннотациями подобно именам без коннотаций в позиции подлежащего могут быть использованы референтно, отсылая, однако, к лицу, имеющему общественную известность: Внимательно *Пушкин* изучал многих представителей старой школы историков: Юма, Робертсона, Гиббона, Сисмонди, Лемонте (Г. Волков); *М. Шолохов* глубоко проникает в крепость зажиточного донского казака (И. Еремина); *Паустовский* же никогда никого не экзаменовал, поэтому быть в его обществе было никогда не тягостно, всегда радостно не чувствовать себя учеником, записывающим выкладки, постоянно готовящимся к экзаменационной сессии, опасающимся быть уличенным в невежестве, уличенным с оскорбительным пристрастием (Л. Кривенко).

Особенностью рассматриваемых имен по сравнению с именами собственными, которые не имеют индивидуальных коннотаций, является, по-видимому, то, что референт, обозначенный именем собственным с дополнительными индивидуальными коннотациями, не обязательно должен быть введен в части текста, предшествующей позиции идентификации.

Личные имена собственные с индивидуальными событийными коннотациями могут не только отсылать к некоторому лицу, но

[4] В некоторых случаях имя собственное может отсылать не столько к определенному лицу, сколько к самому имени данного лица. Ср. у А. П. Чехова: Не понимаю Вас: почему это для публики *Ан. Чехов* приятнее, чем *А. Чехонте*? Не все ли ей равно?

[5] Интересное замечание по этому поводу есть у Н. Д. Арутюновой. Анализируя фразу из А. Блока *Гете столько же конец, сколько начало,* она отмечает, что имя собственное здесь относится не к единичной физической сущности, а, скорее, к единичному событию в общественной или культурной жизни (*Арутюнова* 1975, 34).

также информировать о свойствах и особенностях, для него характерных. В этом случае можно говорить о нереферентном использовании личного собственного имени. Значения подобного типа могут появляться, в частности, у собственного имени в сочетании с местоимением *сам*: *Сам Паустовский* (=такой крупный писатель, как Паустовский) как бы выдал мне санкцию на тот путь, который я сам избрал себе (Л. Кривенко).

С именами собственными рассматриваемого класса возможны в позиции подлежащего метонимически сокращенные употребления. При этом имя собственное также используется нереферентно: *Шекспир* (=пьесы Шекспира) идет на сцене многих театров мира; ... *Стендаль* (=творчество Стендаля) нашел отклик у французов-мыслителей, французов-реалистов, по мнению которых, он совершил подлинную революцию во французской прозе, а может быть, и не только французской (М. Шагинян); *Блок и Пушкин* (=элементы поэтики Блока и Пушкина) подхвачены Вами с пагубнейшей для поэта стороны. Они царят в Вашей поэтике и большинстве стихов, обесценясь и сами, в виде обобщенно-типической стихии, с неопределенной тропикой, с приблизительностями и однообразием словаря (Б. Пастернак).

В приведенных примерах имя собственное скрывает за собой разнообразное конкретное содержание, однако во всех этих употреблениях сохраняется противопоставление части/целого, лежащее в основе метонимического переноса [6].

Имя собственное с индивидуальными коннотациями в случае нереферентного употребления может скрывать за собой также значение пропозитивного типа: *В лондонском театре «Олд Вик» Шекспир — живой, огненный, удивительно современный.* Здесь собственное имя *Шекспир* отсылает к произведениям данного автора, но в предложении характеризуется прежде всего некоторая сценическая интерпретация этих произведений. Собственному имени *Шекспир* соответствует пропозиция ‘трактовка произведений Шекспира’ [7].

---

[6] Множественность возможных интерпретаций имени собственного в подобных употреблениях подтверждает, как представляется, справедливость вывода Д. Н. Шмелева о том, что такие метонимические сокращения как *прочел всего Пушкина* (все сочинения), *смотрел Серова* (картины, рисунки Серова), *слушал Бетховена* (произведения Бетховена) и т. п. является не метонимией лексической, а скорее фактами семантико-синтаксического и стилистического порядка (Шмелев 1973, 221—222). При этом имя собственное может указывать не только на какую-либо совокупность произведений данного автора или все произведения в целом, но и на одно произведение, а использование числительного в качестве определителя при таком имени собственном позволяет производить «исчисление» самих произведений. Ср. На стене висели *два Рубенса, четыре великолепных Сурбарана...*, На столе лежали *прекрасно оформленный Пушкин, два Достоевских.*

[7] Имена собственные, не имеющие индивидуальных коннотаций, в случае

Рассмотренная синтаксическая позиция, в которой имя собственное с индивидуальными коннотациями употребляется нереферентно, является позицией сильной с точки зрения контекстных связей. Нереферентному использованию такого имени собственного *не обязательно* должно в тексте предшествовать употребление референтное. Иначе говоря, описание каких-либо подробностей, связанных с особенностями или деятельностью референта, обозначенного именем собственным с индивидуальными коннотациями, не требует предварительной экспликации связанного с данным лицом энциклопедического знания. Ср. с приведенным выше примером нереферентного использования имени собственного без индивидуальных коннотаций: имена персонажей произведений какого-либо автора могут быть употреблены в предложении нереферентно в том случае, если ранее они были идентифицированы как имена героев произведений данного автора.

Таким образом, предложения, в которых имена собственные с индивидуальными коннотациями функционируют нереферентно, являются семантически и конструктивно достаточными и могут быть поняты однозначно без необходимости уточнения их значения в контексте.

Однозначное понимание предложений с такими именами собственными в позиции подлежащего может быть затруднено и потребовать обращения к более широкому контексту, во-первых, когда в предложении нарушено семантическое согласование между субъектом и предикатом, во-вторых, в том случае если у имени собственного появляются какие-либо побочные коннотации, непосредственно не связанные с особенностями и свойствами личности, названной данным именем.

Рассмотрим условия, при которых может быть нарушено в предложении семантическое согласование между подлежащим и сказуемым в том случае, когда подлежащее выражено именем собственным с индивидуальными коннотациями. Если в позиции подлежащего такое имя используется нереферентно, то оно может требовать предиката, который был бы ориентирован не на описание особенностей донотата, а на дальнейшую детализацию сигнификативного содержания данного имени собственного. Использование в предложении с такими «сигнификативно» ориентированными именами собственными «денотативно» ориентированных предикатов приводит к появлению двусмысленных высказываний.

Например, в предложении адъективно-именной модели с квалифицирующим значением использование в предложении денота-

нереферентного употребления, как правило, не приобретают значений пропозитивного типа. Ср. нереферентное использование этих имен собственных, когда они обозначают героев произведений какого-либо автора: Все мои *Верочки, Ведьмы, Агафьи* и проч. едут завтра в Питер, а дня через 2—3—4 будут уже в наборе (А. П. Чехов).

тивно ориентированного прилагательного неотчуждаемого свойства типа *решительный, остроумный, язвительный* и т. п. в краткой форме, а в позиции подлежащего, собственного имени с индивидуально-событийными коннотациями, для которого нереферентное употребление достаточно регулярно, приводит к образованию двусмысленных высказываний: *Чехов ироничен, Салтыков-Щедрин язвителен, Шоу остроумен* и др. Данные предложения вне контекстных связей могут быть поняты или как характеризующие особенности личности, названной данным именем собственным, или как суждение о языке, стиле, манере письма и т. п. соответствующих писателей. В первом случае имя собственное будет употреблено референтно, во втором — нереферентно. В предложениях данной модели с прилагательным отчуждаемого свойства в позиции предиката такая многозначность исчезает. Ср. *Соммерсет Моэм классичен*, речь его течет без суеты и фокусов, он весь в русле XIX века, и новизна его скорей в том лирическом раздумье, в том одиночестве авторского «я», которое отчасти роднит его с нашим Чеховым (М. Шагинян). В этом случае значение сигнификативно ориентированного предиката согласуется с близким к пропозитивному значением нереферентно употребленного имени собственного.

Обращение к более широкому, чем предложение, контексту для уточнения значения имени собственного с индивидуально-ситуативными коннотациями необходимо также в том случае, если у данного имени возникают некоторые побочные коннотации, которые прямо не связаны со свойствами и особенностями референта, стоящего за данным именем собственным.

Рассмотрим отрывок из романа В. Катаева «Алмазный мой венец»:

Для людей моего поколения есть *два памятника Пушкину. Оба одинаковых Пушкина* стоят друг против друга, разделенные шумной площадью, потоками автомобилей, светофорами, жезлами регулировщиков. *Один Пушкин* призрачный. Он стоит на своем старом законном месте, но его видят только старые москвичи. Для других он незрим. В незаполненной пустоте начала Тверского бульвара они видят подлинного *Пушкина,* окруженного фонарями и бронзовой цепью, на которой, сидя рядом и покачиваясь, разговаривали в начале двадцатых годов два поэта и третий — я, их современник...

Здесь автор использует собственное имя *Пушкин* вместо словосочетания *памятник Пушкину.* Такое значение у имени собственного *Пушкин* не относится к числу непосредственно связанных и каким-либо образом детализирующих особенности обозначенного именем референта. Поэтому использование имени собственного *Пушкин* в данном значении требует обязательного введения в тексте полного обозначения описываемой реалии. Ср.

первое предложение цитаты, в котором и вводится такое полное обозначение — *два памятника Пушкину*.

Представляется, что подобные переносные употребления имен собственных должны быть контекстно обоснованы.

Резюмируя все вышесказанное в данном разделе статьи, можно отметить, что основной функцией личного собственного имени в предложении в позиции подлежащего является функция выделительная. Личное собственное имя — это прежде всего денотатив, который в предложении идентифицирует некоторое называемое лицо в качестве предмета сообщения. Референтное использование имени собственного — его основная, главная функция. Вместе с тем, мы пытались показать, что личные собственные имена в предложении в позиции подлежащего могут использоваться нереферентно, а имена собственные с индивидуальными коннотациями могут при этом приобретать значения пропозитивного типа. Соотношения отмеченных признаков имени собственного представлены в приведенной ниже таблице.

Тип имени собственного		Имя с индивид. коннотациями	Имя без индивид. коннотаций
Характер употребления	Тип значения		
референтное употребление	непропозитивное	+	+
нереферентное употребление	пропозитивное	+	—
	непропозитивное	+	+

В таблице по вертикали фиксируется тип имени собственного (имя с дополнительными индивидуальными коннотациями, имя без индивидуально-событийных коннотаций), по горизонтали — характер употребления личного имени в предложении (референтное, нереферентное) и тип значения, которое может появляться у него в позиции подлежащего (значение пропозитивного типа, значение непропозитивного типа).

Из таблицы более наглядно видно, что особенности двух различных групп личных собственных имен проявляются преимущественно в сфере их нереферентного употребления. Для имен с дополнительными индивидуально-событийными коннотациями данная область значений разработана больше. Эти имена собственные, как было показано выше, могут приобретать значения пропозитивного типа.

III. Наибольшую дискуссию вызывает вопрос о специфике значения имени собственного в позиции предиката (Burge 1973; Boër 1975; Lockwood 1975 и др.). И это понятно, так как именно данная синтаксическая позиция в наибольшей степени раскрывает сигнификативные потенции слова (об этом см., например: Арутюнова 1976, 36–37). В позиции предиката имя собственное всегда используется нереферентно.

Рассмотрим предложения, в которых предикат выражен именем собственным с дополнительными индивидуальными коннотациями, типа: *Он — (настоящий, подлинный, современный...) Карузо (Сократ, Дон-Кихот, Отелло...)* [8].

Собственное имя здесь с определением или без такового не просто указывает на какое-то лицо, но скорее эксплицирует некоторые свойства, которые присущи данному лицу, составляют его личность — манера пения, тембр голоса, ум, жадность, ревность и т. д.— и предикатным употреблением данного имени собственного приписываются (предицируются) другому лицу, выраженному именем, находящимся в позиции подлежащего, которое становится носителем объявленного признака. Значение всей синтаксической модели, таким образом, может быть описано приблизительно так 'А (не) имеет (приобретает) какое-то свойство, в такой-то мере отождествимое со свойством, индивидуализирующим лицо В'.

В предложениях с отрицанием такие свойства объявляются как не присущие лицу, называемому именем в позиции подлежащего: *Он не Юлий Цезарь*; *Арбенин не Отелло* (имея в виду Пушкина: «От природы Отелло не ревнив — напротив: Он доверчив») и т. д. Ср. *Паскуале — не Дженнато*; он не мудр, а наивен как ребенок, попросту глуповат; но он бесконечно добр и любящ, от так верит в доброту, что через эту большую веру он верит и в доброго призрака (М. Шагинян).

В зависимости от того, каков объем свойств и характеристик, используемых для сопоставления личных имен в позиции субъекта и предиката, такие предложения могут быть транспонированы в предложения типа *Он — личность, подобная (равная) Наполеону (Пушкину, Шекспиру...)*, если сопоставление происходит по комплексу признаков: *...ты у нас Полоний* почище шекспировского (М. Прилежаева); *Галактион Табидзе — «грузинский Блок»*, поэт, пожалуй, наиболее читаемый и чтимый сегодня (И. Абашидзе); *Валерий Катулл — «латинский Пушкин»* (по выражению А. Блока) и т. д. [9]

[8] См. также анализ имен династий в позиции предиката — *Габсбурги, Тюдоры, Бурбоны* и т. д. в работе: Böer, 1975.

[9] Близкое к данному значение может быть и у имен собственных в непредикатной позиции: ...мы всё терпеливее ждем искусства большого, потрясающего, ждем классики, ждем *нового Пушкина, современного Руставели,*

Предложения данной модели с отрицанием не могут иметь значения ‘не равный (подобный) личности’. Отрицательная частица как бы имеет двойную функцию в таких предложениях — выделительную и собственно негативную. Она выделяет некоторые свойства, присущие личности, названной в предикате, и объявляет их нехарактерными для лица, названного именем, занимающим в предложении позицию подлежащего.

Синтаксической модели ‘А не В’ могут скорее соответствовать такие модели, как ‘А не то (тот, та), что В’, ‘А не такой, как В’, ‘А не лучше (хуже) В’ (в данном отношении): Одним словом, наш брат *Исакий не то, что Акакий...* (А. П. Чехов); ...*Чернышевский вовсе не тот «Робеспьер верхом на Пугачеве», каким* его считают и охранители, и наиболее ярые из его же сторонников — «нигилисты-нетерпеливцы»... (Г. Тамарченко).

В том случае, если для сопоставления двух лиц, имена которых занимают в предложении соответственно позиции подлежащего и сказуемого, выбрано какое-то определенное свойство или характеристика, то предложения такой именной модели могут быть транспонированы в предложения со сравнительным оборотом: *Он умен, как Сократ* (*жаден, как Гобсек; ревнив, как Отелло*; *богат, как Крез*, и т. д.).

В любом случае признак, который положен в основу сопоставления в именной модели, должен быть существенным и действительно характерным для названной в предикате личности. Если данный признак является второстепенным, то конструкция с предикативным именительным едва ли возможна. Так, например, невозможно преобразование приведенного ниже примера со сравнительным оборотом в конструкцию с именительным предикативным в силу случайного характера выбранного для сравнения признака: *Мы все уже были пьяны, «как пьяный Дельвиг на пиру»* (В. Катаев).

В двусоставных предложениях именной модели, в которых предикат выражен именем собственным с индивидуальными коннотациями, имя в позиции подлежащего может быть использовано как референтно, так и нереферентно. В случае референтного употребления имени предложения рассматриваемой модели, как было показано выше, могут иметь значения ‘А равен (подобен) В’ или ‘А имеет признак (свойство), отождествимое с признаком (свойством) В’. Если же имя, занимающее в предложении позицию подлежащего, употреблено нереферентно, то предложения данной модели не могут иметь значений первого типа. Сравнение двух лиц, имена которых названы в субъекте и предикате, при

сегодняшнего Навои... (=поэта равного (подобного) Пушкину, Руставели...) (А. Дубровин). В непредикатной позиции данное значение появляется у имени собственного только в сочетании с определением.

этом происходит по некоторому признаку, свойству, в каком-то определенном отношении. Например: Диккенс в транскрипции раннего Достоевского, когда *Достоевский был еще и Гоголем...* (М. Цветаева). Здесь нереферентно употреблено имя *Достоевский*, поэтому речь может идти не о сравнении личности Достоевского с личностью Гоголя, а, по-видимому, об особенностях языка, стиля, манеры письма раннего Достоевского, которые позволяют его в данном отношении сравнить с Гоголем [10].

Если в предложениях рассматриваемой модели имя собственное в позиции подлежащего употреблено нереферентно, то появляется необходимость в контекстном уточнении признака или совокупности признаков, которые автор считает сравнимыми у двух названных индивидуумов. Могут возникать высказывания, понимание которых вне контекста затруднительно. Ср. у А. Блока: *Майков — слишком чужой Гейне* (суждение о Майкове как о переводчике произведений Гейне на русский язык). Данное предложение является неполным и его понимание возможно, по-видимому, только в контексте статьи А. Блока.

Рассмотрим предложения именной модели, в которых в позиции предиката употреблено имя собственное без дополнительных коннотаций: *Он — настоящий* (*подлинный...*) *Иванов* (*Степанов*, *Ильин...*).

В таких предложениях сохраняется типовое значение именной модели с именем собственным в позиции предиката, которое было продемонстрировано выше на примере имен собственных с индивидуальными коннотациями. Здесь возможно как сопоставление по совокупности свойств со значением ‘подобный личности’ *Он — личность, подобная* (*равная*) *Ильину*, так и по одному какому-либо признаку *Он находчив* (*остроумен, добр...*), *как Ильин*. Ср. *...он молчалив, как Виктор Викторович*, по сквозь молчание иногда можно бывает разглядеть человека (А. П. Чехов).

Особенность рассматриваемых предложений заключается прежде всего в том, что имя собственное в позиции предиката и имя в позиции подлежащего могут называть (характеризовать) одно и то же лицо, т. е. могут быть кореферентными именами. Такое употребление у имен собственных с коннотациями приводит к изменению общего значения синтаксической модели.

Другая важная особенность этих предложений состоит в том, что в них обязательно присутствие синтаксического компонента с

[10] Ср. также у Б. Пастернака: Всякое отступление отрезано мне: потому что *Маяковский это я сам*, каким я был в молодости, быть может, еще до Спасского... В данном отрывке имя *Маяковский* употреблено нереферентно, а в позиции предиката — сочетание двух местоимений. Причем местоимение *сам* усиливает значение направленности на конкретное лицо, что почти эквивалентно использованию имени собственного в позиции предиката.

модальным значением. Без дополнительного модального конкретизатора имя собственное данного типа не может в предложении быть предикатом [11]. Часто функцию такого конкретизатора принимает на себя оценочное прилагательное в позиции определения при имени собственном. Ср. факультативность определения у имени собственного с коннотациями: *Он — Отелло* / *Он — подлинный Отелло*; *Он — Гобсек* /*Он — настоящий Гобсек*. Модальным конкретизатором может быть и глагол с модальным значением: ...Лиодор Иванович поэт sui generis, что *он может быть только Пальминым* (А. П. Чехов).

Для таких предложений модальный глагол не вспомогательный, а структурно необходимый элемент смысловой структуры. Его отсутствие делает предложение неполным, контекстно недостаточным [12]. Таким образом, в предложениях с именем собственным без коннотаций в позиции предиката обязательно наличие второго модального плана, в нем как бы все время присутствует «неназванный, но тем не менее структурно-реализуемый субъект, через восприятие которого преломляется соответствующий признак» (Золотова 1973, 220).

Отмеченная особенность смысловой организации данных предложений определяет и возможности их регулярных модификаций. Для таких предложений более предпочтительны модификации, которые вводят в предложение такой дополнительный субъектный план. Это модификации с глаголами *казаться, оказаться, считать, представлять, находить, видеть* и т. п. Менее «естественны» для таких предложений, например, модификации с полузнаменательными глаголами типа *становиться, делаться* и др., так как они лишь уточняют отношение между признаком и его носителем, не внося дополнительных модальностей. Для предложений, в которых предикат выражен именем собственным с индивидуально-событийными коннотациями, такие преобразования вполне обычны: *Я мало-помалу становлюсь Подхалимовым и обманул Вас уже не раз* (А. П. Чехов) [13].

Сопоставительное рассмотрение предложений с именами соб-

---

[11] В предложениях типа *Он Иванов, Я Смирнов* и т. п. имя собственное характеризует не лицо, а имя названного лица. Пример такого значения из А. П. Чехова: Теперь уже все знают, что *я* (-мой псевдоним) *Рувер*.

[12] Отметим для сравнения, что имя собственное с дополнительными коннотациями не требует обязательного присутствия в предложении такого конкретизатора. Возможны предложения как с модальным компонентом, так и без него: *Ваше имя опять Ахматова* в том самом смысле, в каком оно само составляло лучшую часть зарисованного Вами Петербурга (Б. Пастернак).

[13] В этой связи представляется важным положение, сформулированное Г. А. Золотовой о том, что именно в структурно-смысловой организации предложения заключен механизм управления его регулярными модификациями (Золотова 1973, 218).

ственными двух различных типов в позиции предиката позволяет подчеркнуть, что личное собственное имя с индивидуальными коннотациями — это полноценный структурно-семантический компонент предложения именной модели. Использование такого имени собственного в данной позиции — гарантия полноты и контекстной самостоятельности предложения. Имя собственное без дополнительных коннотаций такой структурно-семантической самостоятельностью в предложении не обладает. Его функционирование без соответствующих модальных конкретизаторов делает предложение неполным, контекстно зависимым.

Общей особенностью имен собственных в позиции предиката является то, что данные имена выступают как имена параметрические (см., например: Lookwood 1975, 496). Имя собственное при этом осуществляет экспликацию некоторого эталонного признака (семантического параметра), который кладется в основу сопоставления двух личных имен, занимающих в предложении соответственно позиции субъекта и предиката.

Анализ функционирования в предложении имени собственного в позиции предиката, как представляется, дополнительно подтверждает тот факт, что слова данной категории не только связаны с самим обозначаемым предметом и служат средством введения данных предметов в повествование, т. е. не только используются в чисто выделительной функции, но также могут информировать о свойствах и особенностях названного лица, предицировать его своеобразие другому лицу (или группе лиц), находящемуся в предложении в позиции подлежащего.

ЛИТЕРАТУРА

Арутюнова Н. Д. Положение имен лица в русском синтаксисе.— Изв. АН СССР, серия лит. и яз., т. 34, № 4, 1975.
Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл. М., «Наука», 1976.
Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка. М., «Наука», 1973.
Милль Д. С. Система логики. т. I. СПб.,— М., 1878.
Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. М., «Просвещение», 1975.
Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М., «Наука», 1973.

Ackerman D. F. Plantinga, proper names and propositions.— Philosophical Studies, Dordrecht, 1976. v. 30, № 6.
Boër S. E. Proper names as predicates.— Philosophical Studies. Dordrecht, 1975, v. 27, № 6.
Burge T. Reference and proper names.— The Journal of Philosophy, LXX, (1973).
Hornsly J. Proper names. A defence of Burge.— Philosophical Studies. Dordrecht. 1976, v. 30, № 4.
Lockwood M. On predicating proper names.— Philosophical Review. Ithaca (N. Y.), 1975, v. 84, № 4.
Mates B. On the semantics of proper names. Lisse, 1975.
Peacocke Ch. Proper names, reference and rigid designation.— In.: Meaning, Reference and Necessity. Cambridge e. a., 1975.

ЯЗЫКОВАЯ МЕТАФОРА
(Синтаксис и лексика)

Н. Д. АРУТЮНОВА

Изучение метафоры, начало которому было положено Аристотелем, имеет многовековую традицию. Попытки создания общей теории метафоры делались логиками, философами, психологами и лингвистами разных направлений.

В современной лингвистике интерес к метафоре вспыхнул в связи с обсуждением проблем семантической правильности предложения и выделением разных типов отклонений от нормы. Метафора рассматривается с этой точки зрения в кругу явлений «интерпретируемой аномалии», т. е. того вида семантической неправильности, который возникает в результате намеренного нарушения закономерностей смыслового соединения слов. При этом некоторые авторы подчеркивают, что истолкование метафоры требует привлечения экстралингвистических знаний: для ее понимания столь же необходим словарь, как энциклопедия. «Я бы хотела убедить лингвистов,— пишет в этой связи И. Левенберг,— что можно говорить о языке, говоря о мире» [1]. Другие исследователи, напротив, отвергают или сводят до минимума роль экстралингвистического фактора в образовании метафоры и строят теорию метафоры только в терминах семантической структуры слова. «Мы будем чувствовать себя лучше, если забудем о «природе» и «материальных причинах» [2],— считает Д. Бикертон. Д. Бикертон опирается на понятие специфического атрибута — особого качества, приписываемого денотату языкового знака. Так, в английском языке носителем признака твердости считается железо (iron), а, например, в испанском этот атрибут приписывается стали (acero). Лексемы, в значение которых входит указание на такого рода атрибуты (маркированные знаки), подвержены метафоризации. Это тем более естественно, что частные признаки играют куда более важную роль в этом процессе, чем признаки широкой таксономии: значение легко перескакивает через категориальные барьеры.

Совершенно соглашаясь с этим последним положением, мы сомневаемся в том, что отмеченный Бикертоном специфический атрибут принадлежит семантике слова, а не представлениям о мире того или другого народа. К этому вопросу мы вернемся. Сейчас же хотим подчеркнуть, что освещение проблемы взаимодействия значения слова и жизненного опыта народа существенно

---

[1] *Loewenberg I.* Identifying metaphors.— Foundations of language. v. 12, 1975, N 3, p. 338.

[2] *Bickerton D.* Prolegomena to linguistic theory of metaphor.— Foundations of language, v. 5, 1969, N 1, p. 39.

к для понимания природы метафоры, и для понимания семантических процессов в целом.

Как это ни парадоксально, проблема метафоры, занимавшая умы многих мыслителей, не пользовалась в лингвистике слишком большой популярностью. Лишь в последние годы приходится слышать о необходимости создания собственно лингвистической теории метафоры, причем выражаются надежды, что, идя по этому пути, удастся получить наиболее адекватный объекту результат.

Лингвистическая теория метафоры должна, по-видимому, принимать во внимание не только лексико-семантические, но и функционально-семантические характеристики этого явления. Ниже будут рассмотрены два соотносительных вопроса: связь метафоры с синтаксическими функциями и роль в образовании метафоры тех категорий слов, которые самим типом своего значения приспособлены к выполнению определенных синтаксических задач.

В дальнейшем изложении мы будем исходить из существования двух основных функций, влияющих на формирование категориального и лексического значения слова,— функции идентификации предмета речи, которая реализуется темой сообщения (точнее, субъектом и другими актантами, относящимися к известным предметам), и функции предикации, соответствующей реме. Все другие синтаксические позиции либо включаются в реализацию одной из названных коммуникативных задач, либо представляют собой их синтез, объединение. К числу функционально смешанных относятся позиция имени в экзистенциальном предложении (или его эквиваленте) и позиция обращения.

Для выполнения первичных для языковой коммуникации функций субъекта и предиката сформировались два основных семантических разряда слов — идентифицирующие имена (это в основном конкретная лексика) и семантические предикаты (прилагательные, глаголы, оценочные, качественные и отчасти функциональные существительные) [3].

Противопоставленность указанных коммуникативных задач, как будет показано ниже, влияет не только на распределение слов по семантическим типам, но также в существенной мере определяет живые семантические преобразования, наблюдаемые в речи.

Из семантических признаков, различающих между собой два названных выше лексических разряда, особенно существенно для обсуждаемой темы противостояние моносемности и смысловой определенности классических предикатных слов — с одной сторо-

[3] Семантическая характеристика идентифицирующих и предикатных слов дана в кн.: *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976, гл. 6

ны, многопризнаковости (дескриптивности) и семантической нерасчлененности идентифицирующей лексики, с другой. Последняя создает зону синтеза, диффузности, что благоприятно для номинации классов объектов (в особенности естественных реалий); в то время как предикатные слова образуют зону анализа, расчлененности смысла, необходимых для фиксации сообщаемого, его ясности, обеспечивающей взаимопонимание собеседников. Многопризнаковость идентифицирующих имен оборачивается сужением области их референции, гарантирующим достаточную четкость указания на предмет речи; напротив, моносемность предикатов влечет за собой широту их приложимости к предметному миру.

Общая характеристика идентифицирующей и предикатной лексики может навести на мысль, что более благоприятный для образования метафоры материал дают насыщенные субъективно-оценочными коннотациями предикаты. Это не совсем так. Чем диффузней и дескриптивней значение слова, тем легче оно метафоризуется. Спонтанное зарождение смыслов в естественном языке часто происходит внутри интуитивных представлений. Смысловые нюансы извлекаются из мутной семантической среды.

Метафора — это прежде всего способ уловить индивидуальность конкретного предмета или явления, передать его неповторимость. Между тем, находящиеся в распоряжении говорящего предикаты позволяют дать предмету только более или менее широкие категориальные (таксономические) характеристики, включив его в класс того или другого объема. Индивидуализирующих возможностей больше у конкретной лексики, чем у предикатов. Метафора индивидуализирует предмет, относя его к классу, которому он не принадлежит. Она работает на категориальной ошибке.

Заметим, что прием ложной классификации вообще характерен для семантики предиката, который нередко строится на прямой таксономической оппозиции, ср.: *Утешенье, а не коляска* (Гоголь); *Что это за люди? мухи, а не люди* (Гоголь); *Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой чорт, а не лошадь, в ланцадах вся* (Л. Толстой); *Господи, это же не человек, а — дурная погода* (Горький); *Кота надо высечь. Это не кот, а — бандит* (М. Булгаков).

Из положения о связи метафоры с идентифицирующей лексикой можно было бы сделать вывод о том, что этот троп соотносится в предложении прежде всего с субъектом сообщения, т. е. позицией, осуществляющей идентификацию предмета речи. На самом деле как раз наоборот: метафора связана прочными узами с позицией предиката [4]. Один из ресурсов поэтического языка со-

[4] Важным положением лексической типологии, предложенной В. В. Виноградовым, является выделение синтаксически связанного типа значения,

стоит в нарушении соответствия между лексическим типом и синтаксической функцией: идентифицирующая лексика переносится в сферу предикатов, создавая классическую, самую метафорическую метафору. Классическая метафора — это вторжение синтеза в зону анализа, представления (образа) в зону понятия, воображения в зону интеллекта, единичного в царство общего, индивидуальности в «страну» классов. Метафора стремится внести хаос в упорядоченные системы предикатов, но, входя в общенародный язык, в конце концов подчиняется его семантическим законам.

1

Существует определенная, хотя и не строгая, соотнесенность синтаксических функций не только с типом лексического значения, но и с некоторыми тропами, в частности метафорой и метонимией. Покажем это на очень простом примере.

В ряде имен развитие вторичных смыслов шло в разных направлениях, поскольку к ним были применены иногда в последовательности разные фигуры речи. Так, имя *шляпа* может получать как метонимическое значение ‘человек, на котором надета шляпа’, так и метафорическое ‘растяпа’. В конкретных высказываниях полисемия такого рода не создает двусмысленности, ибо указанные значения позиционно распределены: метонимия[5] привязана к идентифицирующей функции, а метафора обслуживает функцию предиката[6]. Например, можно сказать *Вон та шляпа настоящая* (*ужасная*) *шляпа*. Такое распределение вытекает из природы каждого тропа. Метонимия, как и другие виды пространственных отношений, обращает внимание на индивидуализирующую черту, позволяя адресату выделить предмет речи из области наблюдаемого (т. е. в данном случае отличить человека в шляпе от человека в ином головном уборе или от человека с непокрытой головой): *Шляпа оторвалась от чтения газет. Берет нахму-*

к которому в первую очередь отнесены оценочные и метафорические смыслы, ср. *петух, молодец, тетеря, гусь, байбак* (*Виноградов В. В.* Лексикология и лексикография. М., 1977, с. 184—185; см. также: *Черкасова Е. Т.* О метафорическом употреблении слов (по материалам произведений Л. Леонова и М. Шолохова).— В кн.: Исследования по языку советских писателей. М., 1959).

[5] В качестве «представителя» метонимии принимается наименование объекта по его части, сопутствующему предмету, характерной детали (собственно синекдоха), поскольку в этом именно типе метонимия сохраняет наиболее живую семантическую двуплановость, в то время как в других видах она типизируется, создавая семантические модели многозначных слов.

[6] О позиционном распределении этих тропов см.: *Арутюнова Н. Д.* Указ. соч., с. 376; *Телия В. Н.* Вторичная номинация и ее виды.— В кн.: Языковая номинация. Виды наименований. М., 1977, с. 211 и след.

рился. Военная фуражка вскочила с места. Если такому противопоставлению сопутствует различие в характеристике лиц, например, различие между военной фуражкой и штатской шляпой будет осмыслено как различие твердой воли, собранности — с одной стороны, и безвольной вялости, рассеянности — с другой, метонимия преобразуется в метафору и одновременно передвигается из субъектной позиции в позицию предиката, ср. *Ну и шляпа же ты!*

Метонимическое значение стремится получить определенную референцию (отнесенность к конкретному, известному собеседникам предмету) [7]. Хотя в предикате может быть заключено сообщение, предваряющее метонимию, сама метонимия не «вставляется» в позицию предиката, предназначенную для нереферентного употребления. Эта позиция удобна для метафоры. Обозначая признаки, а не предмет, метафорическое существительное претерпевает частичную адъективацию. Его могут сопровождать градуирующие определения, эквивалентные наречию, ср. *Он ужасная (совершеннейшая) шляпа.*

Если «метафорическая шляпа» используется в идентифицирующих целях, то такое употребление, будучи вторичным, отмечается указательным местоимением: *Эта шляпа всегда все путает* [8]. Метафора в идентифицирующей функции, пока она остается живой, не порывает связи с позицией предиката, и ее синтаксическое перемещение ощущается как функциональный сдвиг. Метонимия в поддержке со стороны демонстратива не нуждается: *Шляпа обернулась и посмотрела на меня.*

Совершенно аналогично распределено употребление имени *голова*, которое также допускает двоякое — метонимическое и метафорическое — использование: *голова* в смысле ‘большеголовый’ человек’ или ‘человек, у которого видна только голова’ используется в идентифицирующих целях; *голова* в смысле ‘умный человек’ обычно занимает позицию предиката. Например, у Ильфа и Петрова: Читали про конференцию по разоружению? — обращался один *пикейный жилет* к другому *пикейному жилету.*— Выступле-

[7] Это положение, по-видимому, относится не только к синекдохе, но и к другим видам метонимии. На позиционную связанность метонимии, обозначающей население именем населенного пункта (ср. *Весь город об этом говорит*) обратила внимание О. П. Ермакова (*Ермакова О. П.* Некоторые замечания о синтаксически обусловленных и других несвободных значениях слов.— В кн.: Синтаксис и стилистика. М., 1976, с. 106). Автор формулирует и более общее положение о том, что «разные типы переносных значений ограничены различными синтаксическими функциями» (с. 107).

[8] На это обращал внимание В. В. Виноградов: «Предикативно-характеризующее значение существительного может быть использовано для называния, обозначения кого-нибудь или чего-нибудь лишь в случае индивидуального указания (обычно при посредстве местоимения *этот*)» (*Виноградов В. В.* Указ. соч., с. 184).

ние графа Бернсторфа? — Бернсторф — это *голова*. Сноуден — это *голова*! — отвечал *спрошенный жилет* [...] — А вы читали, какую речь произнес Сноуден [...]? — Ну, о чем говорить... Сноуден это *голова*! Слушайте, Валиадис,— обращался он к третьему старику в панаме. — Что вы скажете насчет Сноудена? — Я скажу вам откровенно, — отвечала *панама*, — Сноудену пальца в рот не клади [...] — Но что бы вы ни говорили, я вам скажу откровенно — Чемберлен все-таки тоже *голова*. *Пикейные жилеты* поднимали плечи (И. Ильф и Е. Петров. Двенадцать стульев. Золотой теленок, М., 1948, с. 489). Легко заметить, что в приведенном тексте метонимии (*пикейные жилеты*, *жилет*, *панама*) употреблены в идентифицирующей позиции субъекта, а «метафорическая *голова*», напротив, всякий раз стоит в предикате. Если же это имя используется в прямом или метонимическом смысле, оно чаще всего получает идентифицирующую функцию, например, у Пушкина: И, сморщась, *голова* зевнула, Глаза открыла и чихнула. *Голова* в значении 'городской голова' и *глава* (учреждения) пришли к идентифицирующему употреблению через стадию предиката, в котором *голове* приписывалось значение 'главный, руководящий, занимающий вершинную позицию' (быть главой=возглавлять). Употребление слова *глава* с определенной референцией обеспечено тем, что данный метафорический признак способен однозначно выделить лицо из числа других лиц, входящих в некоторую социальную иерархию.

Метонимия и метафора различаются также характерными для каждого тропа закономерностями семантической сочетаемости. Метонимия в субъекте, хотя и призвана идентифицировать «целое» (лицо, предмет) через указание на характерную для него частность, обычно принимает уточняющие определения, относящиеся к этой детали, но не к целому. Определения в сочетаниях *старый* (*грязный*, *длинный*, *холодный*, *красивый*) *тулуп*, *старая* (*рыжая*, *модная*) *шляпа* могут быть отнесены только к тулупу (шляпе), но не к тому лицу, на которое надета соответствующая деталь туалета. Между тем предикат и производные от предиката определения относятся именно к «целому», т. е. к референту метонимии — лицу: *Старый тулуп крякнул* (*засмеялся*, *зевнул*, *сгорбился*). Определение в подобных высказываниях вставлено внутрь метонимии, а предикат (*засмеялся* и др.) занимает по отношению к метонимии внешнюю позицию.

Иначе и более сложно обстоит дело с метафорой. Не останавливаясь подробно на этом вопросе, отметим, что метафора, употребленная во вторичной для нее номинативной функции, допускает ситуацию, обратную только что описанной. Определение метафоры может характеризовать ее реальный денотат, а сказуемое выбирается так, чтобы было соблюдено «поверхностное» семантическое согласование, т. е. согласование с фиктивным де-

нотатом метафоры. ср. Вдруг из кухни *выползает эта рыжая (длинноносая) змея и начинает всех жалить*; *Этот очкастый (долговязый) крокодил готов всех проглотить*. В подобных случаях предикат метафоризуется вслед за субъектом. Развертывание метафоры, т. е. последовательное осуществление семантического согласования сквозь все предложение, превращает метафору в образ (как особый художественный прием)[9], ср. ... *И ночь, когда голубку нашу Ты, старый коршун, заклевал!* (Пушкин).

Итак, перебои в семантическом согласовании, создаваемые метафорой, употребленной в поминативной функции, и метонимией, могут локализоваться в разных синтаксических позициях. Метонимии *старая шляпа, старые калоши* могут быть отнесены к человеку любого возраста, в том числе и к юноше; метафоры *эта старая шляпа* (*калоша, перечница*) приложимы только к старику.

В экзистенциальных предложениях и их эквивалентах, вводящих предмет в мир повествования, т. е. осуществляющих интродуктивную функцию, в целом типично употребление имен широкого таксономического значения, и это очень естественно: для того чтобы правильно понять и оценить смысл предиката, адресат должен знать, к какому классу относится субъект речи. Всякое сообщение должно войти в структурированные знания о мире. Поэтому, прежде чем делать сообщение о незнакомом адресату предмете, принято говорить, к какому классу он принадлежит, ср.: *Жила-была девочка*; *Знавал я одного молодого человека*; *Вдруг я увидел большого крокодила*. Тропы же, как подчеркивалось, имеют своей целью индивидуализацию объекта, а следовательно, предпочитают суженное значение. Экзистенциальные сообщения поэтому создают для них неблагоприятную среду. Едва ли было бы уместно начать сказку предложением *Жила-была красная шапочка*. Такое начало наводило бы на мысль о том, что речь пойдет не о девочке, а о головном уборе, т. е. имя поворачивается к адресату своим прямым, а не метонимическим смыслом. Предложение *Жила-была одна шляпа* может предварять рассказ о похождениях шляпы, но не человека, носящего шляпу (метонимия), ни даже растяпы (метафора). В интродуктивных эквивалентах экзистенциальных предложений, в частности в предложениях с глаголами явления и восприятия, имя также интерпретируется обычно в прямом смысле даже при наличии «метонимических подозрений». Последние могут оправдаться в последующем тексте. Ср. *Вдруг я увидел м е д в е ж ь ю ш у б у. Ш у б а обернулась ко мне и спросила...* Первое предложение естественно понять в том смысле, что в поле зрения говорящего попала только чья-то шуба и было неясно, облачен ли ею человек (ср. у А. Белого описание впечатлений гуляющего ребенка: *Хлопает крыльями чернокрылый каркун*

[9] Об образе см.: *Гегель*. Лекции по эстетике.— Сочинения, т. XII. М., 1938, с. 416—418.

и вислоухая шуба сутулится в снеге). Во втором из приведенных выше предложений, казалось бы, фигурирует то же имя в том же значении. Предикаты, однако, показывают, что произошел переход от прямого смысла к метонимическому: слово *шуба* получает референцию к человеку, а не только к детали его туалета (ср. продолжение отрывка из А. Белого: *Шуба — гуляет, как я*; *и она называется*: *Федор Иваныч Буслаев*).

Приведенные примеры показывают, что экзистенциальной позиции не нужны тропы, и если попадающее в нее имя допускает переносное истолкование, то адресат речи прибегает к нему в последнюю очередь, хотя бы даже такая интерпретация была в каком-либо отношении желательной. Так, говорящему легче персонифицировать головной убор (шляпу, красную шапочку), чем придать соответствующему имени метонимический смысл. Таким образом, одно и то же имя в экзистенциальной позиции может интерпретироваться как персонификация, в позиции субъекта — как метонимия, в позиции предиката — как метафора.

Обращение, реализующее две функции — характеризации (субъективной оценки) адресата и его идентификации как получателя речи, охотно принимает как метафору, так и метонимию. В первом случае обращение приближается к назывному (точнее, «обзывному») предложению (*Посторонись, шляпа*! ср. у Гоголя: *Отсаживай, что ли нижегородская ворона*! — *кричал чужой кучер*). Во втором случае оно приближается к идентифицирующему (субъектному) имени (*Посторонись, шляпа*! *Вставай, берет*! ср. у Гоголя: *Эй, борода*! *а как проехать отсюда к Плюшкину, так, чтоб не мимо господского дома*?). Вне конситуации неоднозначные вокативы допускают двоякую — метонимическую и метафорическую интерпретацию, ср. *Не зевай, шляпа*! *Эй ты, лапоть*!

Резюмируем сказанное. Для метафоры естественно функционировать в сфере предиката (шире, атрибутов). Из двух возможных для метафоры функций первичной, по-видимому, должна быть признана функция характеризации, а функция идентификации объектов — вторичной. Предоставляя языку определенную технику номинации, метафора угасает, утрачивает семантическую двуплановость. Огрубляя существующее положение вещей, можно утверждать, что первичная функция связывает метафору с речью, а вторичная — с языком.

Для метонимии, напротив, типично выполнение идентифицирующей функции по отношению к конкретным предметам.

Обслуживая разные синтаксические функции, метафора и метонимия находятся между собой в отношении контраста.

Экзистенциальная позиция не любит принимать тропов, что связано с предопределяемым ею видом референции имени. Последнее относится к предмету, известному говорящему, но еще не зна-

комому адресату. Такого рода двойственность не согласуется ни с метафорой, ориентированной на нереферентную (признаковую) позицию, ни с метонимией, стремящейся к конкретной референции.

Функционально двойственная позиция обращения открыта как для метафоры, так и для метонимии, из которых первая реализует субъективно-оценочные (предикатные) возможности обращения, а вторая — его способность идентифицировать адресата речи. Принимая гипокористики (уменьшительно-ласкательные формы имен), обращение сохраняет бифункциональность, принимая метафору или метонимию, оно осуществляет лишь одну (или преимущественно одну из возможных для себя функций. Способность к функциональной редукции (разъединимость функций) отличает обращение от экзистенциального имени, дуализм которого, обусловленный разным отношением к фонду знаний автора и адресата речи, не может быть разрешен в пользу какой-либо одной функции. Этим объясняется разная реакция названных функционально смешанных позиций на тропы.

2

Выше было в общих чертах определено синтагматическое (позиционное) различие между метафорой и метонимией, выявляющее первичную функцию каждого типа смысловых преобразований. Теперь желательно наметить парадигматическую противопоставленность метафоры ближайшим к ней по своей функции тропам.

Метафора находится в постоянном взаимодействии со сравнением. Исключение из сравнения компаратива *как* (*подобно*, *точно*, *словно*, *будто*, *как будто*), считающееся основным «ходом» в создании метафоры (ср. теорию метафоры как сокращенного сравнения), осуществляет не только формально-синтаксическое, но и семантическое преобразование. Переход от сравнения к метафоре изменяет синтаксический тип предложения: субстантивная метафора занимает место второго члена предложений тождества, или точнее таксономической предикации, включающей предмет в некоторый класс на основании существенных, хотя и не всегда четко выделяемых и осознаваемых, признаков. Этим предопределяется и смысловой сдвиг: если сравнение указывает на подобие объекта независимо от того, является ли оно инherентным или кажущимся (оно представляет собой тем самым экстенсивный член этой тропеической оппозиции), то метафора, как правило, выражает устойчивое подобие и в конечном счете, т. е. при ослаблении образности, постоянный признак. Это свойство сближает субстантивную метафору с другими именами характеризующего и оценоч-

ного значения (типа *тупица, простофиля, разиня*), с которым она часто находится в отношении синонимии.

Размежевание областей приложения метафоры и сравнения подтверждается тем, что метафорические имена практически не используются для обозначения случайного подобия. Едва ли можно встретить такое употребление, как *Вчера он был шляпа* (*шляпой*); *Вы сейчас медведь* (*каланча, квашня*); *На той неделе он был в лесу корова.* Эпизодическое уподобление обычно оформляется в виде сравнения: *Вчера он вел себя, как настоящая шляпа* (*свинья*); *На той неделе в лесу он был неловок* (*неуклюж*), *как корова* (*бегемот*). По интуитивно усвоенным нормам нравственных оценок человек, хоть раз совершивший подлость, злодеяние, предательство и т. п., обнаруживает в этом своем поступке истинную природу души, заслуживая соответствующее клеймо навечно. Определенный тип этических (шире, психологических) характеристик не может составить переменного признака. Нельзя сказать *Вчера он был подлецом* (*злодеем, негодяем, подонком* и т. п.). Для того чтобы нейтрализовать значение интерентности признака, говорящие либо пользуются глагольным сказуемым, либо прибегают к сравнению: *Он вел себя, как настоящий негодяй* (*мошенник, злодей*). В таких высказываниях отсутствует сопоставление, а компаратив *как* призван наложить вето на включение субъекта в обозначаемый именем класс. Сравнение зачеркивает значение константности признака или категоричности, безапелляционности утверждения, и это вполне согласуется с его основным смыслом: подобие есть нечто субъективное и иллюзорное [10].

Связь техники сравнения с преходящим признаком настолько прочна, что этот прием может использоваться совсем не ради сопоставления, а единственно лишь с целью подчеркнуть значение временности некоторой роли, функции, ипостаси: *Он действовал как специалист*; *Он проявил себя как человек дела.*

Метафора может быть противопоставлена не только сравнению, но и метаморфозе (если позволено в этом явлении видеть качественно иную фигуру речи). О необходимости различения метафоры и метаморфозы писал в свое время В. В. Виноградов: «В метафоре нет никакого оттенка мысли о превращении предмета. Наоборот, «двуплановость», сознание лишь словесного приравнивания одного «предмета» другому — резко отличному — неотъемлемая принадлежность метафоры. Вследствие этого следует обособлять от метафор и сравнений в собственном смысле тот приглагольный творительный падеж, который является семантическим привеском к предикату (с его объектами), средством его

[10] О типах сравнения в языке поэзии см.: *Некрасова Е. А.* Сравнения.— В кн.: Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М., 1977.

оживления, раскрытия его образного фона»[11]. Комментируя ахматовские строки *Еще недавно ласточкой свободной Свершала ты свой утренний полет* и другие, Виноградов замечает: «Во всех этих и подобных случаях (...) имеем дело не с чисто словесными метафорами, а с отголосками «мифологического мышления». Все эти «превращения» созерцаются героиней как реальность. Стало быть, здесь дело не в языковых метаморфозах, а в способе восприятия мира»[12].

В самом деле, метафора, будучи средством характеризации объекта, всегда сохраняет ориентированность на этот объект. В метафоре «выживает» в своей предметной сущности определяемое (субъект метафоры), а термин сравнения (вспомогательный субъект) преобразуется в конечном счете в признаковое значение. Метафора тем самым оперирует в сфере семантики. Наличие у имени «специфического атрибута» (см. выше замечание Д. Бикертона) составляет предпосылку для такого преобразования. Процесс метафоризации в известной степени аналогичен процессу окачествления относительных прилагательных (ср. *железный брус* и *железная воля*). Сокращая сравнение, метафора вносит корректив в интерпретацию того свойства, которое служит основанием для уподобления. Когда говорят *Собакевич медведь*, намекая на неуклюжесть этого персонажа, то имеется в виду не общее понятие неуклюжести, а та ее разновидность, которая свойственна медведям и является следствием их косолапости (сходство с медведем Собакевича выражалось, в частности, в том, что «ступнями ступал он и вкривь и вкось и наступал беспрестанно на чужие ноги»).

Напротив, в творительном метаморфозы исчезает основной субъект, а сохраняется лишь его «оборотень». Не случайно творительный является обязательным падежом после глаголов *казаться, представляться, видеться*. Метаморфоза именно «показывает» демонстрирует образное видение мира: *Серой белкой прыгну на ольху*, *Ласочкой пугливой пробегу*, *Лебедью тебя я стану звать* (Ахматова).

Прямая и постоянная связь метафоры с субъектом помогла ей превратиться в определенный языковой прием трансформирования смыслов, вследствие чего метафоризируемое существительное уже не фигурирует в предложении как знак называемого им класса предметов. Проникновение в область семантики отличает метафору от метаморфозы, которая, указывая на «частное слияние

[11] *Виноградов В. В.* О поэзии Анны Ахматовой.— В кн.: Виноградов В. В. Поэтика русской литературы. М., 1976, с. 411. Об отношении метафоры к творительному падежу см.: *Арутюнова Н. Д.* Синтаксические функции метафоры.— Изв. ОЛЯ АН СССР, № 3, 1978.

[12] *Виноградов В. В.* О поэзии..., с. 411—412; ср. также очерк Потебни о «творительном на месте вторых (согласуемых) падежей» (*Потебня А. А.* Из записок по русской грамматике. М., 1958, особенно с. 485 и след.).

субстанций» (по выражению Потебни[13]), не отлагается в языке в виде особого способа преобразования значений. Однако и метаморфоза имеет выход в языковую семантику, который открывается перед ней возможностью установления регулярной связи не с субъектом, а с действием субъекта (ср. *бежать рысью, идти гуськом*). Как только создается такое сцепление, имя адвербиализуется, приобретая новый смысл. В этом случае говорят не о метаморфозе, а об адвербиальной метафоре.

Таким образом, различие между метаморфозой и метафорой состоит, в частности, в способности метафоры развивать новые — языковые и окказиональные — смыслы и в отсутствии такой способности у метаморфозы.

Анализ метаморфозы как особого приема создания образа не находится в предмете настоящей статьи. Мы хотим ограничиться лишь предположением, что между этими тремя фигурами, оперирующими на предикате (пока принимается во внимание только субстантивная метафора), сложились определенные системные отношения: метаморфоза и сравнение (они занимают предпочтительно зависимую от глагола позицию) различаются признаком наличия/отсутствия идентификации двух объектов: метаморфоза как бы отождествляет разные по своей материальной сущности объекты, сравнение лишь сближает их. Метаморфоза и сравнение могут указывать на преходящую связь объектов, причем для метаморфозы этот признак является обязательным, для сравнения — нет. Нацеленность на отождествление объектов объединяет метаморфозу с метафорой, от которой ее отличает преходящий, эпизодический характер идентификации. Последующая дифференциация метафоры и метаморфозы состоит в том, что метафорическое существительное утрачивает предметную отнесенность, а метаморфоза либо ее сохраняет, либо приобретает адвербиальное значение. Наконец, метафора отличается от сравнения тем, что указывает на постоянный признак предмета, в то время как сравнение может привлекать внимание как к постоянному, так и к преходящему признаку.

Итак, в функционально-синтаксическом плане метафора ориентирована на позицию предиката, и это ставит ее в отношение контраста к метонимии, стремящейся занять позиции референтных членов предложения. В парадигматическом плане метафора противопоставлена сравнению и метаморфозе по признакам наличия / отсутствия идентификации объектов и постоянного / преходящего характера признака.

3

Рассмотрим теперь вопрос об отношении метафоры к разным семантическим типам слов.

Метафоризация значения может протекать в пределах одной семантической категории, но она может сопровождаться смысловой транспозицией, т. е. переходом из разряда идентифицирующих имен в категорию предикатов или наоборот.

Метафора практически не выходит за рамки идентифицирующей лексики, когда к ней прибегают в поисках имени для некоторого класса предметов. Метафора в этом случае является не более чем техническим приемом извлечения нового имени из старого лексикона, ср. *глазное яблоко, луковица* (*церкви*), *быки* (*моста*), *собачка* (*гашетка*), *ушная раковина, рукав* (*реки*) и т. п. Номинативная метафора, задача которой состоит в указании на объекты действительности, особенно остро нуждается в опоре на контекст, эксплицирующий ее предметную отнесенность. Этот тип метафоры, поэтому, стремится войти в микроконтекст, проясняющий референцию имени. Так, например, если метафоризованное имя обозначает часть предмета, то в микроконтексте указывается целое: *ножка бокала, ушко иглы* или *игольное ушко, спинка кресла, глазное яблоко* и т. п.

«Идентифицирующая» метафора составляет ресурс номинации, а не способ нюансировки смысла. Образ, который она дает языку, идентифицирующей лексике не нужен. Слово стремится от него освободиться. Процесс метафоризации сводится к замене одного дескриптивного (многопризнакового) значения другим, ср. *журавль* (птица) и *журавль* (колодца), *лист* (растения) и *лист* (бумаги), *игла* (швейная) и *игла* («единица» хвои). Классическая семантика говорит в этом случае о переносе названия[14]. Такого рода перенос, порождающий омонимию, обычно опирается на сходство предметов либо по функции, либо по какому-либо внешнему, очевидному признаку. Метафора этого типа большей частью наглядна. Она апеллирует не к интуиции, а к зрению. Отвечая акту уподобления, она, однако, не производит вспышки, представляющей предмет в новом, преображающем его свете. Она не подсказывает, а указывает. Выполнив номинативную функцию, метафора исчезает. При этом угасание образа не побуждает говорящих прибегнуть к новой, более живой и свежей метафоре. Точно так же, как человек в стандартных обстоятельствах не нуждается в нескольких именах, классу предметов довольно одного названия. Номинативное дублирование происходит лишь в ус-

[14] Ср. определение метафоры Аристотелем: «Метафора состоит в присвоении предмету имени, принадлежащего чему-либо другому» (*Аристотель*. Поэтика, 1457б).

ловиях множественности языковой нормы (т. е. в жаргонах, диалектах, терминологии и пр.).

Совсем иное дело метафора, имеющая своим источником идентифицирующее (конкретное) имя и переключающая его в позицию предиката, отнесенного к другому, уже поименованному предмету или классу предметов. Выйдя из идентифицирующей по своему основному назначению лексики, метафора обычно в нее не возвращается. Метафора в этом случае есть ресурс, к которому прибегают в поисках образа, способа индивидуализации или оценки предмета, смысловых нюансов, а не в погоне за именем.

Данный семантический процесс составляет наиболее типичный случай метафоризации значения, и доказательство тому — относительная стойкость метафоры этого вида. Если образ угасает, метафора может исчезнуть, причем на смену ей часто приходит новая метафора.

В поэтической речи метафора дает конденсированную характеристику конкретного предмета, часто претендуя на проникновение в его существо. Ср. *«Экий кулак!» — сказал про себя Чичиков* (о Собакевиче) (Гоголь); *— Гусь твой Сева,— сказал папа Вере. Действительно, Сева гусь* (Ю. Олеша). Стремясь к индивидуализации объекта, метафора вносит в речь наиболее конкретные (многосемные) предикаты.

Апеллируя к интуиции, метафора этого типа оставляет адресату возможность творческой интерпретации. Понимание образной метафоры вариативно. И в этом заметен перенос в сферу предикации семантического принципа, действующего в сфере идентифицирующей лексики: имена конкретных, известных собеседникам предметов способны вызывать у них различные образы, эмоции и представления и это нисколько не мешает коммуникации. Конкретная лексика в основе своей образна. Она в большей степени стимулирует представления, нежели знания. Вольность вызываемого представления вместе с метафорой проникает в позицию предиката. Разумеется, возможности по-разному интерпретировать метафору не беспредельны. Их лимитирует денотат определяемого имени — субъект метафоры, который и создает необходимый для ее понимания микроконтекст. Из метафорического имени могут быть извлечены только те признаки, которые совместимы с денотатом. Так, если человека назовут лисой, то из этого не вытекает, что у него есть хвост. Из этого лишь следует, что он умеет замести за собой следы, хотя и не пользуется для этого хвостом. Микроконтекст в данном типе дает ключ к смыслу метафоры, в то время как в номинативной метафоре он выявляет ее денотацию.

Неоднозначность образной метафоры заставляет считать, что метафорические высказывания не могут получать истинностной оценки. Они претендуют скорее на эвристическую значимость,

суггестивность, чем на истину [15]. Не случайно ученые в своих сочинениях избегают метафоры, считая, что метафора не аргумент [16], и приравнивая «совершение метафоры» к совершению преступления (ср. англ. to commit a metaphor по аналогии с to commit a crime, ср. также французскую поговорку Comparaison n'est pas raison).

Становясь общеупотребительной, метафора вынуждена порвать с индивидуальным объектом и расширить возможности своей сочетаемости с индивида до класса. Метафора отрешается от целостного образа, оставляя в своем значении лишь намек на него. Постепенно значение метафоры, следуя модели семантических предикатов, редуцируется до моносемности. В переходе к моносемности и состоит основное отличие языковой метафоры анализируемого типа от речевой (индивидуальной, поэтической, окказиональной). Так, *чурбан* в применении к человеку означает ‘тупой, бесчувственный’, *сорока* — ‘болтливый’, *заяц* — ‘робкий, пугливый’. Иногда от уходящего образа и возможностей его разного понимания остаются два обособившихся значения, например, *свинья* может означать: ‘нечистоплотный’ и ‘неблагодарный’, *дуб* имеет значение ‘тупоумный, неспособный’, а также ‘крепкий, устойчивый’.

Итак, образная метафора не всегда сохраняется в своей яркой первозданности. Но, умирая, она обычно завещает языку новое значение или смысловой нюанс. Так, к неловкому, неуклюжему человеку могут быть отнесены три метафорические характеристики: *медведь, корова, слон.* Закрепившись в языке, каждая из этих метафор ввела определенный нюанс в существующее понятие: медведю, по-видимому, свойственна другая неловкость, чем корове или слону. Неуклюжесть медведя проистекает из его косолапости, неуклюжесть слона — из его тяжеловесности, громоздкости, а неуклюжесть коровы вызвана затрудненностью движений, неповоротливостью.

Метафора этого типа, внося в семантическую структуру слова фигуральное значение, является, как видно уже из приведенного примера, обильным источником синонимии. Дальнейшая судьба синонимов часто толкает их к сближению: смысл слова, входя в оборот речи, обтачивается говорящими по образцу уже существующего понятийного шаблона. Тонкое, индивидуальное значение нужно поэту, но оно не может быть достоянием всех говорящих на языке.

---

[15] И. Левенберг относит метафорические высказывания к особому типу речевых актов — proposals («предложениям»), приглашающим адресата к особому ви́дению мира (см.: *Loewenberg I.* Op. cit., p. 336).

[16] Ср. эпиграф к главе о метафоре М. Блэка (*Black M.* Models and metaphors. Ithaca — N. Y., 1962, p. 25): Metaphors are no arguments, my pretty maiden.

Обратным описанному следует считать переход признакового значения в идентифицирующее. Этот процесс неблагоприятен для метафоры. Если в его рамках и можно говорить о языковой метафоре, то она обычно имеет искусственный характер. Так, разного рода артефактам, предназначенным для продажи, часто дают «товарные», рекламные наименования, построенные на отзлеченном признаке, ср., например, духи под названием «Грезы», «Восторг», шоколад «Вдохновение» и т. п. Наименование в этом случае основывается не на признаке денотата, а скорее на признаке потребителя: оно указывает на то состояние духа, в которое, по-видимому, должен прийти покупатель данного товара. Семантический процесс этого типа разложим на две ступени: на первой стадии денотат получает характеристику через признак другого класса объектов, возникающий в результате взаимодействия с именуемым предметом, на второй осуществляется докомплектовка значения слова прочими признаками денотата. Мы нисколько не настаиваем, впрочем, на том, что описанный механизм должен быть квалифицирован как метафоризация, поскольку он основывается не на аналогии объектов, а на отношениях каузации предполагающих метонимию: «Грезы»=то, что пробуждает грезы; «Вдохновение»= то, что вдохновляет; благодать= то, что вызывает чувство благодати (см. у Гоголя: *закусили ... всякими соленостями и иными возбуждающими благодатями*). Этот же механизм порождает обращения типа *радость моя*, *горе мое*, а также имена собственные типа *Вера*, *Надежда*, *Любовь*, ср. также употребление абстрактных номинаций конкретных предметов в послесвязочной позиции: *Я была твоей бессонницей*, *Я тоской твоей была* (Ахматова). Можно было бы видеть элементы метафоризации в переходе признаковых наименований лица в обозначения предметов (бытовых приспособлений) типа *дворник, жулик.*

В целом же имена с достаточно четким признаковым значением не склонны порождать метафору.

Обратимся к процессу метафоризации, протекающему в области предикатного значения. Этот процесс, как известно, сводится к присвоению объекту «чужих» признаков, т. е. признаков, свойств и состояний, выявляемых в другом классе предметов или относящихся к другому аспекту, параметру данного класса. Ср. употребление прилагательного *острый*, в прямом значении приложимого к режущим и колющим предметам, для характеристики запаха, обоняния, чувства, переживания, зрения, взгляда, слуха, вкуса еды, боли, голода и других ощущений. Кроме того, говорят об *остром уме*, *остром слове*, *острой нужде*, *острых заболеваниях*, *острой критике*, *остром конфликте*, *остром кризисе* и т. д.

Метафора этого типа также с большей или меньшей степенью определенности может быть выведена из сравнения, основанного на параллелизме разнопорядковых явлений: *буря* (*ветер*) *шумит*

подобно тому, как воет зверь→буря (ветер) воет, как зверь→буря (ветер) воет. Уподобление в этом виде метафоры происходит по вполне определенному признаку. Действие аналогии имеет своим следствием расширение области приложения предикатных (признаковых) слов. Этим, с одной стороны, семантически обедняется предикат (так, из значения глагола *завывать* устраняется указание на живой субъект и его внутреннее состояние), а с другой стороны — производится более тонкая дифференциация признаков и проявлений иной категории реалий, в данном случае «шумов природы»: шум ветра, бури расчленяется на *вой, завывание, свист, стон, уханье, ропот, рокот, плач* и т. п. «Шумовые» предикаты ветра структурируются по модели звуковых предикатов живых существ.

Закономерности расширения предметной области приложения признаковых слов достаточно хорошо изучены. Они сводятся к двум основным принципам: движению от более конкретного к более абстрактному и принципу антропо- и зооморфизма.

Так, прилагательные, связанные с пространством, легко переходят на понятие времени, но не наоборот, ср. *длинный путь* и *длинный день; долгий путь* относится не к длине дороги, а ко времени пребывания в пути. Человек постепенно собирает и концентрирует вокруг себя предикаты предметов и животных, но и сам он охотно делится своими предикатами с предметами, животным миром, абстрактными понятиями. В ряде случаев передача осуществляется настолько регулярно, что говорящих покидает чувство сдвига. Ситуация регулярного взаимного обмена изживает метафору.

Указанные закономерности предопределяют степень предрасположенности к метафоризации признаковых слов. Наиболее очевидными метафорическими потенциями обладают следующие категории семантических предикатов: 1) конкретные (физические) предикаты (прилагательные: *белый, светлый, темный, густой, колючий, тонкий, низкий, жесткий, горячий, пресный* и т. п.); 2) дескриптивные глаголы, в особенности те из них, которые включают в свое значение указание на способ осуществления действия и имеют одушевленный субъект (*шептать, кричать, глотать, грызть, рубить, пилить* и пр.); 3) предикаты, характеризующие узкий круг объектов и тем самым достаточно однозначно имплицирующие предмет сравнения, ср. *зреть, спеть, увядать, таять, течь, приносить плоды* и пр.

Если отвлечься от поэтической метафоры и сосредоточить свое внимание на метафоре, оперирующей на языковой семантике, то становится очевидно, что предикатная метафора направлена в конечном счете на достижение гносеологических целей. Из средства создания образа метафора превращается в способ формирования недостающих языку значений. Аналогия в признаках разных ка-

тегорий объектов является орудием расчленения понятий. Метафора и создает значение и дает ему имя.

Особенно важна роль метафоры в формировании области вторичных предикатов — прилагательных и глаголов, обозначающих признаки признаков предметов, т. е. относящихся к непредметным сущностям. Свойства этих последних выделяются на основе аналогии с доступными чувственному восприятию признаками физических, материальных предметов.

Прилагательные, обозначающие свойства предмета, познаваемые определенным органом чувств (зрением, осязанием и пр.), метафорически используются для дифференциации признаков, относящихся к другому аспекту материи. Так, идентификация оттенков цвета осуществляется «температурными» словами, ср. *теплый, холодный* (о тоне); дифференциация звучания достигается словами, относящимися к пространственным параметрам, постигаемым зрением, или словами «осязательного» значения, ср. *высокий, низкий, тонкий, мягкий, жесткий, густой* (о тембре, звуке, голосе). Метафора изменяет в этом случае логический порядок предикатов: признаки предмета трансформируются в признаки признаков предмета, ср. *мягкий матрац* и *мягкий звук, теплая вода* и *теплый тон.* Логический сдвиг исключает возможность разночтений: сочетание *холодное море* может относиться только к температуре, но не к тону морской воды.

Предикатная метафора, как известно, регулярно служит задаче создания признаковой лексики «невидимых миров» — духовного начала человека. Модель физического мира, данного в ощущениях, принимается за модель микрокосмоса. Вследствие этого физическая лексика используется для обозначения психических качеств человека, который может быть охарактеризован такими «физическими» предикатами, как: *горячий, холодный, теплый, ледяной, вспыльчивый, тупой, острый, колючий, колкий, резкий, мягкий, твердый, жесткий, гибкий, скользкий, ровный, неровный, плоский, широкий, открытый, замкнутый, глубокий, прямой, легкий, тяжелый, тонкий, мелкий, поверхностный, кислый, сладкий, липкий, тихий, шумный, низкий, пустой, сухой, яркий, серый, светлый, темный, блестящий, тусклый* и т. п. Приведенные атрибуты лишены жесткой привязанности к определенному классу субъектов. Они, хотя и в разной степени, могут быть отнесены к психическому комплексу (личности) в целом (*яркая личность*), к отдельному ее аспекту (*тихий нрав, глубокий ум, легкий характер*), к выявлению личности (*низкий поступок, кислая улыбка*), к результату духовной деятельности (*глубокая мысль, плоская шутка*).

Метафора является также источником лексики, обслуживающей мир идей, событий, процессов, абстрактных понятий, конструируемых человеком. Снимая ограничения на сочетаемость, ме-

тафора ведет к созданию обобщенных, обесцвеченных предикатов, способных соединяться с разнотипными субъектами, ср. *двигаться, развиваться, превращаться, расти, зарождаться, гибнуть, связывать, соотносить, мешать, нести, относить* и т. п. Снося семантические барьеры, метафора в то же время снимает границы между логическими порядками. Метафора, состоящая в переносе признака от предмета к событию, идее, мысли, факту, дает языку логические предикаты, обозначающие последовательность, причинность, выводимость, уступительность, ср. *следовать, наступать, вытекать, выводить, вести к чему-либо, предшествовать.*

Если метафора, возникшая в результате перехода идентифицирующих имен в предикатные, способствует созданию тонких синонимов, слов узкой зоны применения (см. выше), то признаковая метафора, напротив, приводит к генерализации понятий: и специфическим и обобщенным значениями язык обязан метафоре.

Отбор конкретных (физических, механических) признаков и действий для характеристики разных типов непредметных сущностей и ненаблюдаемых явлений обнаруживает их специфику и дает ключ к пониманию их природы. Так, изучая метафоризованные предикаты, обслуживающие компоненты человеческой психики, можно составить себе представление о существующих между ними онтологических различиях. Отношение к динамике и сам ее характер в разных сферах психики непосредственно обнаруживает себя в сочетаемости соответствующих имен с метафоризованными глаголами движения. Наиболее динамической сферой человеческой психики, прямо связанной с категорией времени, являются элементы интеллектуальной деятельности человека, ср. *Мысли мои — гонцы, Вслед за конем бегут* (М. Волошин). Подвижность интеллектуальной сферы прослеживается по данным сочетаемости существительного *мысль* с глаголами движения. Мысль может двигаться по крайней мере по трем трассам, лежащим в разных плоскостях: один путь соединяет человека (или его голову как резиденцию мыслей) и витающую в мировом пространстве и изредка наведывающуюся в свои резиденции мысль (ср. *мысль пришла мне в голову, на ум, мысль выскочила у меня из головы*), другой путь ведет мысль от человека к предмету (теме) его размышлений (*мысли его летели к любимой*), третий путь направлен к цели мыслительной деятельности (*мысль его устремлялась к истине, неуклонно шла к решению задачи,* ср. также *ход мысли*). Трем путям движения мысли соответствуют три значения этого имени: 1) содержательная мысль, суждение как нечто отчужденное от человека и действующее самостоятельно; 2) думы, размышления, вращающиеся вокруг определенного предмета, темы; 3) «квант» мыслительной деятельности, акт мышления. Мысли в высокой степени характеризуются понятием скорости движения, что является следствием целенаправленности интеллектуальных усилий чело-

века, ср. *мысли его мчались* (*летели*, *неслись*, *бежали*), например: *И в этот миг в мозгу прошли все мысли, единственные, нужные* (А. Блок). Более того, мысль может приниматься за эталон беспредельной, ничем не ограниченной в своем росте скорости (ср. исчезнуть со *скоростью мысли*). Замедленность движения мысли и отсутствие целеустремленности служат основанием для отрицательной оценки мыслительных усилий, ср. *мысли застыли*, *не могли сдвинуться с места*, *толклись*, *топтались на месте*, *разбегались*, *витали*, *метались из стороны в сторону*, *перескакивали с одного предмета на другой*. Имена эмоций, напротив, обнаруживают малую склонность к сочетаемости с глаголами движения. Когда говорят, что *любовь пришла* или *ушла* (*прошла*), то имеют в виду только появление или исчезновение (начало или конец) чувства. Эмоции, хотя и стимулируют человека к разнообразным акциям — интерперсональным и социальным, сами по себе спонтанны и нецеленаправленны. Этим объясняется отсутствие у них параметра скорости. Хотя с именами чувств употребляются некоторые предикаты, в значение которых входит указание на быстроту движения (*любовь промелькнула*, *промчалась*, *пронеслась*, *была мимолетной*, *скоротечной*), они характеризуют длительность существования, «даты жизни» чувства, но не скорость его движения (темп развития). Для оценки эмоций, наряду с интенсивностью, важен именно этот параметр — срок существования. Проведенное сопоставление показывает, что метафорическое значение, приобретаемое теми или другими семантическими группами предикатов, предопределено той категорией непредметных сущностей, к которым данное значение прилагается. Семантический сдвиг, происходящий при переносе признака от конкретных объектов к непредметным сущностям, предсказуем с большой степенью вероятности.

Итак, метафора помогает обнаружить природу непредметных категорий. Изучение метафорических предикатов, относимых к категориям мироздания, дает возможность вскрыть некоторые представления о бытии у древних народов. Так, метафорические предикаты, соединяющиеся с наименованиями темпоральных понятий, проливают свет на древнейшие представления человека о времени [17].

Итак, важным результатом метафоры является создание области вторичных предикатов, определяющих первичные признаки материи, характеризующих явления человеческой психики, обслуживающих имена событий, фактов, действий и состояний, а также имена, относящиеся к миру идей, мыслей, суждений, концепций и т. п.

Предикатная метафора является источником полисемии. Поэ-

[17] Из новейших публикаций на эту тему см.: *Мурьянов М. Ф.* Время (понятие и слово),— ВЯ, 1978, № 2 (там же см. библиографию по теме).

тому вся область вторичных предикатов почти полностью состоит из многозначных, семантически вторичных прилагательных и глаголов (исключение составляют кальки и заимствования). Метафора в этой области является вынужденной: к ней прибегают не от богатства выбора, а скорее от его скудости, отсутствия прямых номинаций.

Когнитивная метафора, как и метафора собственно номинативная, не является стойкой. Осуществив свою функцию, она меркнет. Говоря, например, об остром зрении, остром уме, остром конфликте, человек не связывает эти понятия с острием материального предмета. Обострение отношений между людьми не заставляет их уже хвататься за шпагу, чтобы колоть друг друга ее острием. Эту функцию, впрочем, острое оружие передало острому слову. Особенно мимолетно существование метафоры, субъектом которой являются абстрактные категории.

Предикатная метафора служит базой для получения метафорических дериватов. Такие сочетания, как *шопот деревьев, улыбка судьбы, песня леса, сон земли* [18] и т. п., представляют собой номинализацию метафорических предложений, в которых субъекту присвоено «чужое» свойство (*деревья шепчут→шопот деревьев*). И здесь представляется необходимым отличать первичную функцию метафоры от вторичной. Метафора с родительным сравнения, по-видимому, является производной от предложений со сказуемым уподобления, ср. *мачты подобны тростинкам* (*как тростинки*) или *мачты — настоящие тростинки→тростинки мачт*. Развитие производной модели состояло в том, что в ней место абстрактного (отглагольного, отадъективного) имени стали занимать конкретные существительные, соответствующие термину сравнения. Этот процесс особенно естествен, когда в сказуемом первичного предложения употреблено отыменное прилагательное, ср. *глаза у нее васильковые→васильки ее глаз*. То, что такого рода переходы могут не давать резкого семантического толчка, видно из сопоставления следующих номинализаций: *ее волосы золотистые→золотистость ее волос*, *ее волосы золотые→золото ее волос*, *волосы у нее настоящее золото→золото ее волос*. Последнее предложение показывает, что развитие производной модели было подготовлено развитием первичной конструкции, состоящим в том, что значение уподобления стало передаваться связочным предложением псевдоидентифицирующего типа, т. е. предложением с именным сказуемым предметного значения, соответствующим образной метафоре (*Ее волосы — чистое золото*).

Таким образом, микроконтекст, сопровождающий вторичную метафору и проясняющий ее смысл, создается ее субъектом, из-

[18] Подробно о них см.: *Басилая Н. А.* Семасиологический анализ бипарных метафорических словосочетаний. Тбилиси, 1971.

влеченным из номинализуемого предложения. В поэтическом языке, к которому не предъявляется требования эксплицитности, метафора часто вводится в текст сразу в своей вторичной функции, т. е. в функции именования. Номинативная метафора, однако, обычно сопровождается указанием на характеризуемый ею субъект — реликт ее предикатного употребления.

Многие метафорические прилагательные охотней входят в атрибутивные, нежели предикативные, отношения. Это не составляет, однако, контрпримера к положению о том, что своей первичной функцией метафора связана с позицией предиката. Легко видеть, что словосочетания с метафорическим прилагательным предпочтительно употребляются в позиции предиката, ср. *NN* — темная *личность* (*тупой человек, блестящий ученый, яркая индивидуальность*). Оценочные и интенсифицирующие прилагательные не могут оторваться от имени, указывающего на некоторое качество или аспект субъекта. Психологические характеристики часто ищут опоры в существительном *человек*, ср. *NN низкий человек*. Перенос таких атрибутивных сочетаний в позицию субъекта ощущается как функциональный сдвиг, ср. *Даже этот сухой человек был растроган*. Метафора входит в атрибутивные отношения, часто подчиняясь тем закономерностям, которые заставляют говорящих предпочитать субстантивное сказуемое адъективному (например, стремление подчеркнуть органичность для субъекта некоторого качества), а не тем, которые делают атрибутивную позицию более желательной для метафоры, чем предикатную.

*

Подведем некоторые итоги. Если оставить в стороне поэтическую направленность метафоры в художественном творчестве и обратиться к ее языковым функциям, то в соответствии с описанными выше процессами могут быть выделены следующие типы языковой метафоры: 1) номинативная метафора (собственно перенос названия), состоящая в замене одного дескриптивного значения другим и служащая источником омонимии; 2) образная метафора, рождающаяся вследствие перехода идентифицирующего (дескриптивного) значения в предикатное и служащая развитию фигуральных значений и синонимических средств языка; 3) когнитивная метафора, возникающая в результате сдвига в сочетаемости предикатных слов (переноса значения) и создающая полисемию, 4) генерализирующая метафора (как конечный результат когнитивной метафоры), стирающая в лексическом значении слова границы между логическими порядками и стимулирующая возникновение логической полисемии.

Во всех случаях рано или поздно метафора исчезает. Наименее устойчива номинативная и генерализирующая метафора, несколь-

ко большую стойкость проявляет метафора когнитивная, наиболее устойчива образная метафора (субстантивная, адъективная и глагольная). Чем теснее связана метафора с задачами номинации, тем она менее резистентна. Переход метафоры к осуществлению вторичной для нее функции номинации исключает семантическую двуплановость, т. е. ведет в конечном счете к гибели метафоры.

В целом же метафора не может найти себе пристанище ни в одной функции. Сама ее сущность не отвечает назначению основных элементов предложения — его субъекта и предиката. Для осуществления идентифицирующей функции метафора слишком субъективна, она не может с полной определенностью указывать на предмет речи. Для предиката — слишком туманна, семантически диффузна. Кажущаяся конкретность, «вещественность» метафоры нисколько не превращает ее в наглядное пособие языка. Это свойство усложняет, а не упрощает понимание.

Вслед за нестандартным метафорическим высказыванием правомерно спросить *Что ты собственно хочешь этим сказать*? *Что ты подразумеваешь*? Только поэты и писатели ограждены от подобных вопросов, оставляя их разрешение на усмотрение читателя. Озарение не растолковывается, как не растолковывается автором смысл его произведения. «Я сказал, что сказал»,— вот единственный ответ художника на вопрос о том, что он хотел сказать своим произведением» [19]. Поэтическая речь (как и художественные произведения) по своему существу многозначна. Она не только допускает, но требует множественности интерпретаций и их субъективности. Поэтому естественное для себя место метафора находит именно в поэтической речи, в которой она служит эстетической (а не собственно коммуникативной, информативной) цели. Ее функция — вызывать образы, представления, индивидуализировать, а не сообщать информацию.

Не соответствуя основным коммуникативным заданиям элементов предложения, метафора не соответствует и основным семантическим типам слов, сформировавшимся для удовлетворения этих функций. Будучи порождением художественного творчества, метафора выживает только в тех вкраплениях и фрагментах, которые оно вносит в нашу речь,— в пословицах, сравнениях, побасенках, фразеологизмах и т. п.

В то же время язык не может обойтись без метафоры. Метафора стимулирует развитие и семантической системы языка и системы его номинативных средств. Без метафоры не существовало бы лексики «невидимых миров», зоны вторичных предикатов. Без нее не возникли бы ни предикаты широкой сочетаемости, ни предикаты тонкой семантики. Жизнь метафоры в языке выводит наружу его основной парадокс, состоящий в том, что ближайшая цель того

[19] *Выготский Л. С.* Психология искусства. М., 1965, с. 60.

или другого творческого акта может оказаться обратной его далекому результату: стремясь к частному, единичному, индивидуальному, субъективному, метафора может дать языку только общее, стертое, безликое.

4

Обращение к метафоре, оценка ее удельного веса в развитии семантики освещает в то же время ту огромную роль, которую играет в этом процессе сравнение, аналогия. Везде в значении и употреблении слов можно видеть следы сравнения предметов, признаков, отношений, событий и ситуаций. «Нет ничего более фундаментального для мышления и языка,— писал У. Куайн, чем наше ощущение подобия» [20]. Дар человека улавливать общее в разном является врожденным. Чувство сходства интуитивно. Оно, как отмечает Куайн, предельно далеко от логики и математики. Для определения метафоры существенно понятие меры сходства. Метафора возникает тогда, когда между сопоставляемыми объектами имеется больше различного, чем общего. Перенос названия внутри естественных родов, т. е. в рамках стереотипа класса, обычно не расценивается как метафора. Метафора — этот постоянный рассадник алогичного в языке — позволяет сравнивать несопоставимое — элементы разной природы — конкретное и абстрактное, время и пространство.

Чтобы лучше понять механизмы сравнения, следует коснуться вопроса о природе элементов, вовлеченных в метафору. Можно считать, что в построении метафоры участвуют четыре компонента, лишь частично эксплицированные в ее поверхностной структуре — две сущности (два объекта) — основной и вспомогательный субъекты метафоры, по М. Блэку,— и некоторые свойства каждого объекта. В разных типах метафоры эксплицированы разные элементы ее внутренней структуры. Так, в предикатной метафоре класс вспомогательного субъекта не обозначен: его имплицирует признаковое слово. Когда говорят *Человек растаял в ночи,* то вспомогательный субъект метафоры (*снег, лед*) выводится из значения глагола *таять*. Напротив, в образной (субстантивной) метафоре обозначен термин сравнения (вспомогательный субъект), а его признаки, служащие основой метафорического значения, остаются неэксплицированными. На каком свойстве пескаря следует базировать интерпретацию метафорического высказывания *Он настоящий пескарь*, было бы не очевидно, если бы не известная сказка Салтыкова-Щедрина. В первом случае суть метафоры состоит в переосмыслении признака, а во втором — скорее в отбо-

[20] *Quine W. W.* Natural kinds.— In: Naming, necessity, and natural kinds. Ithaca — London, 1977, p. 157.

ре признака (признаков), присущих вспомогательному субъекту и совместимых с природой денотата, определяемого метафорическим предикатом. Как отбор, так и переосмысление подчинены общему для них требованию: метафорический признак должен войти в отношение конъюнкции с остальными свойствами денотата. Метафора начинается с операции со смыслами, противной логическому мышлению, и приходит к подчинению смысла законам логики. Первоначальный алогизм метафоры заставляет ее работать на гетерогенных классах предметов, либо сталкивать признаки, относящиеся к разным аспектам одного класса [21]. Так, например, *соображать* имплицирует в качестве своего субъекта человека как рациональное существо, а *соображать* в значении 'выпивать' — человека как живой организм; глагол *рубить с плеча* (*отрубать*) и в прямом и в метафорическом смысле связан с человеком-деятелем, но прямой смысл относится к субъекту механических действий, а метафорический — к субъекту речевой, интерперсональной или социальной активности. Предметная референция основного и вспомогательного субъекта метафоры в том и другом случае совпадает (это класс людей), но не совпадают те ипостаси предмета, к которым относятся обозначаемые признаки. Умственное усилие по созданию и пониманию метафоры состоит в преодолении несовместимости, восстановлении смысловой гармонии.

Итак, в механизм метафоры (мы говорим только о первичной, конкретной метафоре) вовлечены два предметных компонента (основной и вспомогательный субъекты), которые можно интерпретировать либо как лежащие вне языка материальные сущности (референты), т. е. относить к онтологии, либо как отражение этих сущностей в человеческом сознании (представления, понятия). Другие два компонента — признаки предметов — можно интерпретировать либо как логические или психологические категории (понятия, представления), либо как лингвистические категории, т. е. как значения слов.

Определяют значение метафоры признаки вспомогательного субъекта. Основным результатом метафоры, ее целью является выведение признаков основного субъекта. Метафора тем самым создается путем предикации основному субъекту признаков вспомогательного субъекта. Для выяснения сущности метафоры поэтому важно попытаться определить природу этих двух категорий.

Основной субъект метафоры следует относить к онтологии в той степени, в какой субстратом любой метафоры (как и любого

[21] Ср. концепцию метафоры как взаимодействия двух мыслей (interaction theory), которую развивает, основываясь на некоторых идеях И. Ричардса, М. Блэк (*Black M.* Op. cit.). Свою концепцию Блэк противопоставляет теории метафоры как сравнения (comparison view of metaphor) и теории метафоры как замещения (substitution view of metaphor).

предиката) является познавательная деятельность. Вместе с тем, поскольку выделяемый метафорой признак предмета должен быть совместим с его другими, уже выделенными, свойствами, для формирования метафорического значения существенна степень познания предмета, т. е. соответствующее ему представление. В языкотворческой деятельности, как и в процессе познания, предметы мира не могут быть отделены от резерва имеющихся сведений о них (безразлично, истинных или ложных).

Вопрос о природе основной действующей силы механизма метафоризации — признаках вспомогательного субъекта,— по-видимому, должен решаться по-разному применительно к разным типам метафоры — субстантивной метафоре, пользующейся идентифицирующей лексикой, и метафоре, действующей в среде предикатов.

Значение идентифицирующей лексики, как подчеркивалось, диффузно и неустойчиво. Оно лишено четких границ. Его трудно резко отделить от понятия, соответствующего данному классу реалий. Однако для решения поставленного вопроса важно не это противопоставление. Ни значение слова, ни соотносимое с ним понятие не достаточны для объяснения метафоры. Метафора любит работать на той области идеального, которую принято называть коннотациями значения слова и которая в сущности (если отвлечься от стилистических коннотаций) не принадлежит языку, составляя разницу между объемами логического понятия и представлений о классе предметов. Коннотации имеют своим источником потребительское и эмоциональное отношение к предметам. В коннотации входят утилитарные оценки, вызываемые предметом ощущения, эмоции, появляющиеся в результате соприкосновения с разными категориями реалий (например, *страх перед волком, раздражение от общения с ослом, отвращение к шакалам*). То, что коннотации стандартизуются, входя в картину мира того или другого народа, не делает их принадлежностью языковой семантики. Метафора, базирующаяся на конкретной лексике, вытекает не из значения слова и даже не из логического понятия, а скорее из ходячих представлений о классе реалий (the system of associated commonplaces или current platitudes, по Блэку).

Если фокусом метафоры является не существительное конкретного значения, а глагол, прилагательное или абстрактное производное (признаковая метафора), то лежащее в основе метафоры свойство уже не имплицируется словом, а прямо им обозначается. Метафора в этом случае в основном работает на значении слова, которое мало чем отличается от соответствующего ему понятия.

Метафора рождается в результате взаимодействия гетерогенных сущностей — объектов действительности (основного субъекта метафоры) и некоторых представлений, ассоциируемых с вспомогательным субъектом, с некоторой признаковой категорией, кото-

рая может совпадать или не совпадать со значением метафоризируемого слова. На вход метафоры поступают разные виды идеального — эмоции, экстралингвистические знания, житейский опыт носителей языка, иногда случайные впечатления, наблюдения, утилитарные оценки. Метафора в известном смысле всеядна: она принимает любые разновидности идеального и не переваривает только материальные сущности. Выражение «перенос значения» в применении к метафоре недостаточен: он сильно ограничивает представление о ее рационе. Итогом процесса метафоризации, изживающим метафору, являются категории языковой семантики — признаковые значения. Метафора, таким образом, обнажает процесс переработки в языковое значение различных «субпродуктов» идеальной (интеллектуальной, эмоциональной, перцептивной) деятельности человека. Изучение метафоры позволяет увидеть то сырье, из которого делается значение слова. Метафора, т. е. столкновение признаков гетерогенных субъектов, есть стадия в переработке сырья, этап на пути от представлений, знаний, оценок и эмоций к языковому значению.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ОДОЙ XVIII ВЕКА

ВЯЧ. ВС. ИВАНОВ

1. ОДА 1747 г. ЛОМОНОСОВА

«Ода на день восшествия на всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елизаветы Петровны, 1747 года» принадлежит к «похвальным» или «хвалебным» одам, призванным прославлять императрицу [1]. Формальным поводом для написания оды послужило утверждение Елизаветой нового устава и новых штатов Академии наук, по которым количество отпускаемых на нужды Академии денег было увеличено вдвое. Этот непосредственный повод для написания оды отражен в ее заглавии: «Радостные и благодарственные восклицания Муз Российских ... несказанным величием ... Елизаветы Петровны ... обогащенных и восставленных» [2]. Этому заглавию соответствует обобщенность авторского облика, выраженного (как в позднейшем научном языке [3]) местоимениями (и глагольными формами) множественного числа:

Чтоб слову с оными сравняться
Достаток силы нашей мал,
Но мы не можем удержаться,
От пения твоих похвал.
Твоих щедроты ободряют
Наш дух... (41—46)

Несколько од издано Ломоносовым анонимно, в том числе и ода 1747 г. До некоторой степени анонимность этих од находится в соответствии с отвлеченно-обобщенным авторским обликом.

[1] Ср. общую стилистическую характеристику: *Грешищева Е.* Хвалебная ода в русской литературе XVIII в.— В кн.: 1711—1911. М. В. Ломоносов. Сб. ст. под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911, с. 93—149.

[2] Новый устав впоследствии вызвал критику Ломоносова, см.: *Стеклов В. А.* Михайла Васильевич Ломоносов. М., 1922, с. 70.

[3] *Quine W. V.* The scope and language of science.— The British Journal for the philosophy of science. 1957, v. 8, N 27, p. 8; *Иванов В. В.* О семиотических аспектах взаимодействия естественных и формализованных (искусственных) языков в коллективе.— В кн.: Научно-техническая революция и функционирование языков мира. М., 1977, с. 48.

«Принципиальная анонимность» если не вообще оды XVIII в.[4], но таких ломоносовских од, которые не должны были «выражать индивидуального сознания своего автора»[5], следует понимать как установку на образ обобщенного автора: мысль излагается от имени целого множества людей и тем самым безлична (надлична).

Если автор в оде анонимен, то в роли адресата выступает псевдоним. Прославление императрицы связывается с темой мира, тишины. Елизавета вводится в круг представлений, связанных с миром, тишиной двояким образом. Имя Елизаветы по-еврейски означает мир, тишину. Ломоносов обыгрывал это значение имени и в других своих одах[6]: Как в имени твоем Предвечный поставил нам покоя сень (Ода 1759 г., 13—14). При этом Ломоносов следовал правилу, сформулированному им в «Риторике» (§ 135): «От знаменования имени замысловатые речи составляются: 1) Когда свойства или дела той вещи, или человека уподоблены будут тому, что имя значит».

Но обыгрывание имени — лишь один способ, благодаря которому Ломоносов может говорить о мире и Елизавете одновременно. Второе и более существенное сопоставление Елизаветы и идеи мира проводится в оде не этимологически, а исторически: Елизавета приносит России мир.

Нетривиальность этого, казалось бы, стандартного одического штампа можно показать, анализируя отклики современников на оду. Любопытно, что в «Критике на оду» Сумароков всего решительнее возражал против тех именно мест оды, которые содержат воспевание мира. Полемика с Ломоносовым по поводу войны и мира начинается с первых строк статьи: «Я думаю, что ограда града войско и оружие, а не тишина»[7]. По поводу строк Ломоносова о том, что вслед за установлением мира корабли, полные сокровищ, выходят в море (начинается мирная торговля), Сумароков пишет: «Мне весьма сумнительно, можно ли так сказать; тишина остается на берегах, а море никогда не спрашивает, война или мир в государстве»[8]. Далее Сумароков утверждает, что мир в сущности беспредметен, не имеет особых признаков: «Солнце может смотреть на войну, где оно видит оружие победителей и по-

---

[4] *Гуковский Г. А.* О русском классицизме.— В кн.: Поэтика. V. Л., 1929, с. 57.

[5] *Гуковский Г. А.* Очерки по истории русской литературы XVIII в. М.— Л., 1936, с. 10.

[6] Отмечено еще Мерзляковым: *Мерзляков А. Ф.* Разбор осьмой оды Ломоносова.— Труды общества любителей русской словесности при имп. Московском ун-те, ч. VII. М., 1817; ср.: Русская поэзия, под ред. А. С. Венгерова, т. I. СПб. б. д., т. I, примеч. и доп., с. 294; *Ломоносов М. В.* Стихотворения, под ред. А. С. Орлова. М.— Л., 1935, с. 335; *Пумпянский Л. В.* Ломоносов в 1741—1742 гг.— В кн.: XVIII век. Сб. 1. М.— Л., 1935, с. 110.

[7] *Сумароков А. П.* Стихотворения. М., 1935, с. 344.

[8] Там же.

бежденных, а тишина никакого существа не имеет»[9]. Особенно примечательны суждения Сумарокова, относящиеся к XIII строфе оды:

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин,
И в поле весь свой век живет,
Но ратники ему подвластны
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон.

Сумароков справедливо замечает, что под «воином» Ломоносов подразумевает не вообще воина, а военачальника. Сумароков утверждает, будто только «пастухи» живут в поле, а военачальнику не пристало делать это.

В контексте этих и последующих замечаний, касающихся не только стилистики, но и сути оды Ломоносова, можно двояко понять и утверждение Сумарокова, относящееся к строкам:

Но ратники ему подвластны
Всегда хвалы его причастны.

Возможно, что здесь, как и в других местах оды, Сумарокову претил возвышенный слог, прямо продолжавший «высокий штиль» церковнославянской традиции[10]. Но его замечание сводится к полной абсурдности двустишия: «Сии два стиха ... и критики не достойны, а я могу клясться, что я не постигаю слагателева мнения, для чего он их написал»[11]. Несомненное переплетение стилистической критики с тематическими возражениями очевидно в сумароковских замечаниях на предпоследнюю часть приведенной строфы: «Что шум со всех сторон звучащу славу заглушает, в етом я

[9] *Сумароков А. П.* Стихотворения, с. 345.

[10] См. блестящий анализ стилистического аспекта «Критики на оду» Сумарокова: *Гуковский Г. А.* Русская поэзия XVIII века. Л., 1927; *Он же.* Сумароков и его литературное окружение.— В кн.: История русской литературы, т. III. М.—Л., 1941, с. 374 и след; см. также: *Тынянов Ю. Н.* Ода как ораторский жанр.— В кн.: *Тынянов Ю. Н.* Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977, с. 241—245; *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVIII—XIX вв. М., 1938, с. 98, 120—123.— Наличие в критике Сумарокова и явственных семантических тематических аспектов ранее не отмечалось, хотя это вполне согласуется с известной общей оценкой Сумарокова в цитированных работах Г. А. Гуковского.

[11] *Сумароков А. П.* Указ. соч., с. 352.

никакого возвышения стихотворного духа не вижу. Мне кажется, чтоб ето лутче было, чтоб оной со всех сторон происходящий шум гремящего славы гласа не мог заглушить. Глас славы больше бы стиху дал величества, нежели народный крик, который стиха ни мало не возвышает» [12]. Едва ли не всего отчетливее возражения Сумарокова (явно не стилистические, а смысловые) высказаны по поводу конца той же строфы: «Если плачевный побежденных глас глушит глас славы, то конечно из того следует, что возглашает не громко. А потому что слава громко возглашает, то плачевный побежденных стон гласу славы не мешает. Глас славы далеко слышится, а побежденных стон недалеко простирается» [13].

Тематическая сторона критики Сумарокова представляется важной для точного истолкования того, как тема тишины, мира воспринималась современниками. Если бы она была только одическим штампом, восходящим к 8 пифийской оде Пиндара и к «Оде на мир» Ронсара и оставалась знаком «абстрактного конфликта, не разрешимого в творчестве «любого крупного одического поэта» [14], то трудно было бы представить себе, как современник (Сумароков) мог быть столь ощутимо задет словесной формулировкой этого конфликта. Приходится допустить другое: современнику (пусть и недоброжелателю Ломоносова) было заметно то, что два столетия спустя может ускользнуть от исследователя (пусть сколь угодно почтительного к автору). Тема мира в то время звучала как реальный антоним теме войны, и каждому из этих звучаний могли сочувствовать или с ним не соглашаться.

Сказанному не противоречит очевидность связи некоторых мест оды 1747 г. с одой Ронсара, что отчасти подтверждается и звуковыми перекличками, существенными при внимании Ломоносова к звучащей субстанции стиха, ср. *градов ограда* и garde vigoureuse:

O paix hereuse.
Tu es la garde vigoureuse
Des peuples et des leurs cités [15]

Но оба мотива, объединяющие оды Ронсара и Ломоносова с пифийскими одами Пиндара (обра́з «возлюбленной тишины», φίλοφρον ' Αφυχία, и духа поэта, уподобляемого кораблю при дуновении попутного ветра), могли быть заимствованы Ломоносовым из греческого первоисточника.

---

[12] Там же.
[13] Там же.
[14] См.: *Пумпянский Л. В.* Ломоносов и Малерб.— В кн.: XVIII век. Сб. 1. М.—Л., 1935, с. 128, 129.
[15] *Ronsard P. de.* Oeuvres complètes, v. III. Paris, 1921, p. 25; Ср.: *Иванов В. В.* Лингвистические вопросы стихотворного перевода.— В кн.: Машинный перевод. М., 1961, с. 382.

Более существенно другое: хотя воспевание мира у Ломоносова и было построено по традиционным образцам одической риторики, его восприятие могло оставаться столь живым, как об этом свидетельствует критика Сумарокова.

Предлагаемое истолкование «Критики на оду» можно подтвердить сравнением с другими сочинениями Сумарокова. Давно уже было замечено, что статьи Сумарокова о земледелии, где утверждалось, что «Россия паче всего на земледелие уповати должна» («О домостроительстве»), явились как бы ответом на оду 1747 г. Ломоносова, где такая роль отводилась промышленности, а не земледелию [16]. Для решения до сих пор вызывающего различные мнения вопроса о том, пародировал ли Сумароков во «вздорных одах» самого себя [17] или Ломоносова [18], нужно обратить внимание не только на стиль этих од (где иногда возможны и сближения со стилем самого Сумарокова [19]), но и на их содержание. Особенно ожесточенным нападкам Сумарокова во «Вздорных одах» подверглась XXI строфа оды 1747 г.:

И се Минерва ударяет
В верьхи Рифейски копием.
Сребро и злато истекает
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что Россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Который там натура скрыла;
От блеску дневного светила
Свирепой отвращает взор.

В части оды, излагавшей идеи развития хозяйства России, эта строфа занимала такое же центральное положение, как в части, воспевавшей мир — цитированная выше строфа о воине. Против

[16] *Глинка С.* Очерки жизни и избранные сочинения А. П. Сумарокова, ч. 2. СПб., 1841, с. 33; *Гуковский Г. А.* Сумароков и его литературное окружение, с. 361; *Берков П. И.* Ломоносов и литературная полемика его времени. М.—Л., 1936, с. 72—73.

[17] *Берков П. И.* Указ., соч.; *Быкова Т. А.* К истории текста «Од торжественных» А. П. Сумарокова.— XVIII век. Сб. 5. М., 1966, с. 384; *Сумароков А. П.* Избранные произведения. Л., 1957, с. 32.

[18] *Дуденкова И. А.* Идейно-художественная борьба в русском классицизме (1740-х, 1750-х и начала 1760-х годов). Автореф. канд. дис. Ужгород, 1955 (Ужгородский пед. ин-т.), с. 13; *Герасимова Г. П.* Пародия и ее место в литературной полемике Ломоносова и Сумарокова (1760—1763).— В кн.: Учен. зап. Вологодского пед. ин-та им. А. С. Серафимовича, вып. 30, 1970. Тексты од см. в кн.: Поэты XVIII века, т. 2. Л., 1972.

[19] Ср. *Гуковский Г. А.* Русская литературно-критическая мысль в 1730—1750-е годы.— В кн.: XVIII век. Сб. 5. М.—Л., 1966, с. 108 (О воздействии ломоносовской концепции на Сумарокова).

строфы о воине Сумароков ополчился в статье «Критика на оду», а с ненавистным ему воспеванием горных недр сражался в одах-пародиях.

Для того чтобы убедиться в этом, достаточно сличить с только что приведенной строфой следующие места «Вздорных од» Сумарокова:

Там вижу грозного Плутона,
Во мраке мрачный вижу взор,
Узрев меня бежит он с трона,
А я тогда вспеваю вздор.

Почти теми же словами, но еще ближе к ломоносовскому тексту высмеивает Сумароков описание добычи металлов в «Дифирамбе»:

В Рифейски горы мещет искры,
И растопляется металл.
Трепещет яростный Плутон,
Главу во мраке сокрывает:
Из ада серебро лиется,
И золото оттоль течет.

В другой пародии — «Дифирамбе Пегасу» Сумароков снова обращается к этой строфе оды 1747 г., не дающей ему покоя:

Во мраке непрестанной тени
Металлы пали на колени...
...Плутон от ярости скрежещет,
С главы венец сапфирный мещет,
И ужасается стеня.

Очевидной ошибкой было предположение, что именно эти строки представляют собой пародию на Петрова, а не на Ломоносова[20]. На пародирование стиля Ломоносова указывают и выражения *в восхищении глубоком* и *в утоплении высоком* в том же «Дифирамбе Пегасу». В «Критике на оду» Сумароков осуждает ломоносовский оборот *нас в плаче погрузил глубоком*, замечая по этому поводу: *В глубоких потоках слез* сказать нельзя, не только *в глубоком плаче*. Отсюда у Сумарокова оксюморон, приведение к нелепости ломоносовского образа.

Возвращение к другой же «излюбленной» идее, осмеиваемой Сумароковым в оде 1747 г. Ломоносова, объединяет «Вздорную оду» и «Дифирамб». Это — слова Ломоносова о «российских Ко-

[20] *Гуковский Г. А.* Из истории русской оды XVIII века. Опыт истолкования пародии.— В кн.: Поэтика. III. Л., 1927, с. 141. Там же см. о пародии на Ломоносова в двух первых строфах. Пародирование Петрова в других частях «Дифирамба Пегасу» не вызывает сомнений.

лумбах», плывущих по северным морям. Насмешка над этой мыслью, казавшейся Сумарокову безумной, содержится и во «Вздорной оде»:

О вечный лед, моя ты слава

и в «Дифирамбе»:

Уже стал таять вечный лед,
Судам дорогу отверзая.

В последнем двустишии Сумароков пародирует и характерный «библеизм» (термин Пушкина) возвышенного стиля оды 1747 г., ср. в этой оде Ломоносова *И к счастью отверзает дверь* (120) (при явной параллели в *Милосердии двери отверзи нам*[21]), *Се мрачной вечности запону Надежда отверзает нам* (181—182). В сумароковской пародии *дорогу отверзая* явственно относится к оборотам типа *запону отверзет* у Ломоносова, где на основе сложившегося в церковнославянской традиции устойчивого фразеологизма (*отверзает двери*) строится новый, непривычный и тем самым в известной мере нарушающий привычную фразеологическую систему.

Сравнение трех приведенных од Сумарокова, пародирующих XXI строфу оды 1747 г., позволяет выделить в этой строфе то место, которое вызывало наибольшую ярость пародиста:

Плутон в расселинах мятется...
Свирепый отвращает взор

Эту строку Сумароков пародирует трижды:

1) Там вижу грозного Плутона
Во мраке мрачный вижу взор,
Узрев меня бежит он с трона...
2) Трепещет яростный Плутон,
Главу во мраке сокрывает...
3) Плутон от ярости скрежещет
...И ужасается стеня.

Борей, Нептун и Плутон у Ломоносова только на первый взгляд сохраняют связь со своими мифологическими прообразами. Это — название абстрактных идей, употребление которых лишает описания вещественной реальности.

Мифологическими именами Ломоносов пользуется как условными объяснениями понятий. Поэтому он соединяет их не согласно

[21] Ср.: *Солосин И. И.* Отражение языка и образов Св. Писания и книг богослужебных в стихотворениях Ломоносова.— Изв. имп. АН. Отд. рус. яз. и слов., т. XVIII, кн. 2, с. 260.

мифологии, а согласно смыслу собственной системы понятий. В мифологическом прототипе, которому Ломоносов не считал нужным следовать, не Минерва, а Нептун побеспокоил Плутона в его подземном царстве. Но Ломоносову важно сказать, что наука (Минерва) начинает добывать богатства гор (металл Плутона):

И се Минерва ударяет
...Плутон в расселинах мятется...

В какой-то мере функция собственных имен — географических названий, почерпнутых из древних авторов (*верьхи Рифейски*), соответствует функции мифологических обозначений: они дают ярлык, определение, в необычной абстракции которого растворяется конкретное пространственное содержание образа.

Сравнение Лены с Нилом — одический штамп. Если в оде 1747 г. Ломоносов сравнивает с Нилом реку Лену, то в оде 1746 г. с Нилом он сравнивает Елизавету (строфа 8 в 1-й редакции, строфа 10 во 2-й редакции).

По своей абстрагирующей функции мифологические и экзотические географические уподобления можно соотнести с обилием у Ломоносова отвлеченных собирательных существительных, в частности, на *-ство* (часто во мн. ч.: *препятства, варварства*). Частое их употребление — одна из давно отмеченных особенностей стиля Ломоносова [22].

Но еще более существенно то, что в языке оды свой конкретный смысл теряют и обычные конкретные существительные, становящиеся условными знаками определенных комплексов идей:

Тогда божественны науки
...В Россию простирали руки (81—83)
Но кроткая Екатерина...
Приемлет щедрой их рукой (105—107)
Ты сыплешь полною рукою
Свое богатство по земли (9—10)
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук (146—147)
...Что россам в руки предается
Драгой его металл из гор (206—207)

Эти косвенные — метонимические и метафорические — использования слова рука, при котором место его денотата занимает

[22] Ср. из новой литературы: *Казанская Э. В.* Синонимия образований на *-ство* (*-тельство*) и *-ние* в языке научной прозы М. В. Ломоносова.— В кн.: Очерки по истории русского языка и литературы XVIII в. (Ломоносовские чтения), вып. 2—3. Казань, 1969, с. 75—80.

смысл[23], свидетельствуют о забвении основного вещественного смысла слова, на применение его в значении показателя действия, искусства, обладании и т. п.

Тем более понятно постепенное претворение во все более отвлеченные аллегории и таких основных (ключевых) понятий оды, как «тишина». Ода начинается с обращения к «тишине», в котором постепенно накапливаются определения ее, в том числе и характерный троп *градов ограда*, в котором используется созвучие самих основ. Следующие строки

Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют

могут считаться раскрытием олицетворения тишины, как «градов ограды». Смысл этих двух строк — изобилие как следствие мира. Отсюда возникает и смежное представление, вызвавшее упреки Сумарокова:

Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою.

Всей этой цепи образов подводится итог в заключительных строках первой строфы:

Ты сыплешь полною рукою
Свое богатство по земли.

Тишина становится аллегорической фигурой женщины, рассыпающей по земле сокровища. Тишина персонифицирована как аллегорическая собственница богатства. Поэтому во второй строфе оды (развивающей традиционные образы хвалебных стихотворных сочинений[24]) солнце *возводит взор* на *тишину* и сравнивает ее с Елизаветой. Эта аллегорическая картина завершается в третьей строфе, где Елизавета, *приняв, облобызала* тишину.

Одно и то же ключевое понятие проходит постепенно как бы через ряд перевоплощений, сцепляясь со смежными представлениями. Первое из них ассоциируется со вторым, второе с третьим, что создает иллюзию семантической связности текста.

Объект, к которому обращается автор оды, меняется от строки к строке. Он назван только вначале: *тишина*, дальше же заменяется местоимением *ты*. Это местоимение позволяет соблюсти внеш-

[23] Этот существенный сдвиг в значении был при косвенном использовании слова выявлен уже в статье: *Фреге Г.* Смысл и денотат.— В кн.: Семиотика и информатика, вып. 8. М., 1977, с. 184 и след.; ср. *Черч А.* Введение в математическую логику. М., 1960; *Выготский Л. С.* Психология искусства. 2-е изд. М., 1968.

[24] *Покотилова О.* Предшественники Ломоносова в русской поэзии XVII — и начала XVIII столетия.— В кн.: 1711—1911. М. В. Ломоносов. Сб. статей под ред. В. В. Сиповского. СПб., 1911. с. 72.

нюю связность текста при всей переменчивости его содержания. В третьей строфе период заканчивается. Здесь дается и завершение зрительного образа (*тебя, приняв, облобызала*), и возвращение к первоначальному содержанию:

Тебя в Россию возвратила,
Войне поставила конец.

В цепи тропов у Ломоносова происходит взаимопроникновение ряда картин и идей, ассоциированных с основной темой. Эта последняя (хотя бы благодаря повторяющемуся местоименному обращению к ней) непрестанно напоминает о своем присутствии, все образы мыслятся в связи с ней. Зрительные и умозрительные ассоциации переплетаются друг с другом. Смысловой сдвиг используется Ломоносовым для оттенения смысла центральной идеи. В этом смысле и можно истолковать предложенное еще Г. А. Гуковским сопоставление полисемантизма образа у Ломоносова и у Жуковского [25].

Отсюда особая роль личных местоимений, которые, символизируя общее ключевое понятие, в каждой конкретной строке соответствуют кругу более частных образов, выражая преемственность сменяющих друг друга олицетворений (кроме рассмотренных первых трех строф, ср. использование местоимений *ты, твой* в 14—21 строфах оды) [26].

В связи с возродившимся в последнее время интересом к ритму оды Ломоносова [27] представляет известную ценность анализ отдельных од именно потому, что в нем не сглажены отдельные ритмические особенности.

Общая характеристика четырехстопного ямба оды вытекает из статистики форм: 1-я — 22%, 2-я форма — 0,8%, 3-я форма — 22,9%, 4-я форма — 50,1%, 6-я форма — 0,8%, 7-я форма — 2,8%. В абсолютных цифрах: 1-я форма — 53 строки из 240, 2-я форма — 2 строки, 3-я форма — 55 строк, 4-я форма — 123 строки, 6-я форма — 2 строки, 7-я форма — 5 строк. По сравнению с суммарной статистикой (по десяти одам), приведенной в работе К. Ф. Тарановского [28], особенно обращает на себя внимание резкое повышение употребительности 4-й формы (50,1% в данной оде при среднем числе 43,4% в 10 одах Ломоносова, написан-

[25] *Гуковский Г. А.* Пушкин и русские романтики. Саратов, 1946, с. 40, 68.
[26] Некоторые любопытные замечания и примеры употребления указательных (а не личных) местоимений см.: *Чумакова Ю. П.* Указательные местоимения в похвальных одах М. В. Ломоносова.— В кн.: Очерки по истории русского языка и литературы XVIII в. (Ломоносовские чтения), вып. 2—3. Казань, 1969, с. 214—222.
[27] *Тарановский К. Ф.* Из истории русского стиха XVIII в.— В кн.: Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры. М.—Л., 1966, с. 106—115.
[28] *Тарановский К. Ф.* Указ. соч., с. 110.

ных сходным ритмом). В согласии с общей тенденцией к сдвигу ударений налево, открытой в той же статье К. Ф. Тарановского по отношению к женским строкам[29], 4-я форма используется в строках вида:

Послал в Россию человека
Тебя в Россию возвратила

В строках этой формы Ломоносов избегает цезуры на второй стопе (строки вида *Тебя, прияв, облобызала* редки). Чаще всего в строках с пропуском ударения на 3-й стопе Ломоносов использует посередине слово с женским окончанием, которому (согласно указанной закономерности, открытой К. Ф. Тарановским) вторит женское окончание всей строки:

Дерзают в море за тобою

Напротив, редкие строки с цезурой приобретают контрастный характер:

Довольство муз усугубляет

Регулярно (в двух третях полноударных строк) цезура на второй стопе используется в 1-й форме, где она часто подчеркивает синтаксическое членение (иногда параллелизм двух половин строки):

Блаженство сел, градов ограда
Приятных струн сладчайший глас

В последнем случае обе половины строки грамматически и ритмически одинаково построены: за прилагательным следует существительное, за женским окончанием слова — мужское (аналогичная строка *В небесну дверь пресветлый дух*).

Соблюдением (больше чем в половине случаев) цезуры (но не мужской, а дактилической) отличаются строки 3-й формы. В них дактилическая цезура может повторяться в смежных строках:

Божественным устам приличен,
Монархиня, сей кроткий глас.

В этой форме Ломоносов избегает слов с гипердактилическими окончаниями. Поэтому из 16 вариантов данной формы в оде представлено только 10, тогда как из 16 вариантов полноударной 1-й формы встречается 15 (отсутствует только строка вида *Мой дядя самых честных правил*). В 3-й форме Ломоносов использует мужской словораздел перед женской рифмой:

И класы на полях желтеют

[29] *Тарановский К. Ф.* Указ. соч., с. 109—110.

Ода начинается и кончается полноударными строками 1-й формы. Во второй строке использована 7-я форма с максимальным отступлением от метрической схемы (*Возлюбленная тишина*). Две первые строки задают, таким образом, пределы колебаний ритма. Переходы от строфы к строфе осуществляются путем использования одинаковых ритмических форм: конец 15-й строфы ритмически совпадает с началом 16-й:

Тобой восставленных наук
Хотя всегдашними снегами

Так же объединяются ритмически рифмующиеся строки (167 — и 170 — с синтаксическим параллелизмом: *не устрашая — не разгоняя*), смежные строки (71 и 72, 216 и 217, 223 и 224, где снова ритмический параллелизм подкрепляет синтаксический).

Распределение ритмических форм внутри строфы должно учитывать эту тенденцию наряду с закономерностью, открытой К. Ф. Тарановским.

Ода написана строфой, узаконенной Ломоносовым, типа Ab Ab CCd EEd (где A, C, E, — женские рифмы, b, d — мужские). Строфа, естественно, распадается на четверостишие и два трехстишия, завершаемые мужскими рифмами (ср. мужские рифмы в онегинской строфе, завершающие первое четверостишие строфы и всю строфу в целом).

24 строфы оды соответствуют 24 сложным периодам. Ломоносов многие периоды строил симметрично. Ряд строф (VII, XVI, XVIII) построен из синтаксических единиц, каждая из которых занимала по две строки. Строфы IV, VIII, IX, XI, XVII, XX основаны на равномерном распределении предложений: синтаксические единицы соответствуют начальному четверостишию, первому и второму трехстишиям. Этот род периода Ломоносов называл «круглым». Пример «круглого» периода:

В толикой праведной печали
Сомненный их шатался путь,
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина
Отрада по Петре едина
Приемлет щедрой их рукой,
Ах, если б жизнь Ея продлилась
Давно б Секвана постыдилась
Своим искусством пред Невой (строфа XI)

Ломоносов выделил еще два типа периодов — «отрывной» — состоящий из коротких отдельных фраз — строк (в оде 1747 г. отсутствующих) и «зыблющегося», состоящего из неровных ча-

стей — обычно одного большего и одного — двух малых предложений.

Зыблющиеся периоды основываются на строфическом переносе. Enjambement в основном наблюдается на рубеже первого четверостишия и первого трехстишия, на границе трехстиший внутристрофический перенос менее заметен, так как в этом случае шестистишие распадается на двустишие и четверостишие, внутри которых перенос скрадывается. В трехстишиях при парной рифмовке у Ломоносова встречаются очень разные переносы:

Вы наглы вихри не дерзайте
Реветь, но кратно разглашайте

Парная рифмовка сглаживает перенос.

Иначе обстоит дело в начале строфы: перекрестная рифма более связывает свободу синтаксиса. Начальное четверостишие строфы — замкнутая единица, выход за пределы которой создает зыблющийся период. Пример выраженного внутристрофического переноса:

Толикое земель пространство
Когда Всевышний поручил
Тебе в щастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Индия.
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук,
Сие злату очистит жилу,
Почувствуют и камни силу
Тобой воссозданных наук (строфа XV)

В этой строфе благодаря переносу резко выделяется строка «Какими хвалится Индия», что обращает внимание читателя и на рифму (Россия — Индия), вокруг которой разгораются споры современников (сумароковцев и Ломоносова). Рифма как ритмический элемент тесно связана с переносом. Так, однотипность четырех попарных глагольных рифм несколько скрадывает резкость переноса внутри шестистишия:

Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в Понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает,
Он брег с весельем оставляет,
Летит корма меж водных недр (55—60).

Одическая строфа здесь деформирована переносом: *ободряют Наш дух*. Но однозвучность глагольных рифм и их ритмико-грамматический параллелизм сглаживает резкость переноса.

Подчиненные предложения внутри строфы значительно самостоятельнее, чем в обычном сложно-подчиненном предложении. Независимые же предложения не столь самостоятельны, как в обыденной речи. Начало и конец строфы часто мало между собой связаны, но переход от одной мысли или картины к другой совершается постепенно с помощью ритмико-синтаксического параллелизма, пунктуации (Ломоносов редко ставит точку посреди периода — обычно точка с запятой или запятая), ритмических и смысловых соответствий.

Характерным способом развития сложного синтаксического целого внутри периода было нагромождение однородных глагольных форм: «Когда на трон она *вступила* — тебя ... *возвратила* — войне *поставила* конец, тебя *облобызала* ... *сказала*» (строфа III).

В третьей строфе при пяти глаголах местоимение стоит только в одном случае: Ломоносов оставлял глаголы без местоимений, опираясь отчасти на латинскую традицию (ср. латинизм в той же строфе: *мне полно тех побед, сказала,* разрывает прямую речь подобно лат. inquit).

Синтаксические и описанные выше ритмические особенности оды позволяют описывать ее период как способ развертывания мысли, соответствующий и намеченной выше системе абстрактных олицетворений. Взаимосвязь этих смысловых черт оды с ее звукописью составит предмет особого сообщения.

РАЗГОВОРНАЯ РЕЧЬ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДИАЛОГ

Г. Г. ПОЛИЩУК, О. Б. СИРОТИНИНА

Художественный диалог (далее ХД) — составная, а в драматических произведениях основная часть художественного текста. Вместе с тем художественный диалог во многом близок к разговорной речи (ралее РР), поскольку писатели средствами письменной речи создают впечатление речи устной, спонтанной, диалогической, протекающей в условиях непосредственного общения. Несомненно, в ХД можно найти фразы, полностью совпадающие с аналогичными фразами из естественной, реальной РР. Например:

Суслов. Вы слышали?

Рюмин. Что?

Суслов. Спор.

Рюмин. Нет. Какой?

Суслов. Власа с писателем и Замысловым?

Рюмин. Нет...

Суслов. Жаль! и т. д. (Горький. Дачники).

Или:

Олег. Мне оставили, не знаешь?

Коля. Ты с утра ничего не ел?

Олег. Где же?...

Коля. Иди на кухню.

Олег. А кто там есть?

Коля. Одна мама и т. д. (Розов. В поисках радости).

Впечатление разговорности художественного диалога создается воспроизведением в нем целого ряда особенностей, типичных для РР, свойственных устной, но не письменной речи. Прежде всего так используется порядок слов: препозиция дополнения, постпозиция определения и т. д. (Ковтунова 1976, 133—138, а также: Сиротинина 1965): *Варвара Михайловна, а я Вам конфет привез. — Спасибо! — Я всем дамам конфет привез... чтобы не поминали лихом, — задобрить хочу, понимаете. Портретик-то ваш дайте мне* (Горький. Дачники).

Писатель включает в речь персонажей типизированные интонационные модели, однозначно воспринимаемые носителями языка. Например, в ХД встречаем характерные для разговорной речи незавершенные высказывания:

Марья Львовна. А зачем вы гримасничаете?

Ольга Алексеевна. Он всегда... (Горький. Дачники);

переспросы:

Варвара Михайловна. Стакан чаю, Кирилл Акимович?

Дудаков. Чай? Нет. На ночь не пью. (Горький. Дачники);

повторы, отражающие раздумья говорящего:

Ольга Алексеевна. Как она строго говорит обо всем... как строго (Горький. Дачники).

Используется в ХД и характерная для РР «ложная» интонация:

Черкун. Вы должны сказать отцу, что больше не хотите ... носить шубу в жару,— понимаете?

Гриша. Да-а, скажи-ка ему ... попробуй! (Горький. Варвары).

В ХД используются и такие черты РР, как перебивы, недоговоренности, паузы колебания:

Басов. Ну, да, конечно... однако...

Мария Львовна. Я это не вижу в вашем друге, не вижу, нет (Горький. Дачники).

Или: Калерия. Пойдемте... Да, грустно жить, когда кругом тебя все так... (там же).

Юлия Филипповна. Мы кончим эту сцену дома. Сюда идут. Ты ушел бы... У тебя такое лицо... (там же).

Варвара Ивановна. Но она ... эта ваша жена вашего солдата, очень глупа (Погодин. Человек с ружьем) и т. д.

Одной из черт РР является использование релятивных единиц, значение которых ситуативно интонационно обусловлено. Драматурги используют в ХД и эту особенность, например в пьесе Горького «Мещане»:

1) Нил. Тоже, чадушко! В Гераклы метит.

2) Нил. Много чести!

3) Бессеменов. Ну да! Вы... вы! Как же ... вы образовались, а я дурак!

В пьесе «На дне»:

1) Квашня. Конечно! Еще бы... как же!

2) Настя. Очень нужно... Как же!

Или:

Аркадина. Теперь оказывается, что он написал великое произведение! Скажите, пожалуйста. (Чехов. Чайка) и т. п.

«Опытный драматург,— пишет Т. Г. Винокур,— способен создать „воспроизведение“ разговорной речи настолько близкое к оригиналу, что даже искушенные исследователи лингвисты (а тем более читатели и зрители вообще) принимают от времени до времени это воспроизведение за копию и соответственно изучают его как точную копию или предъявляют к ней требование как к точной копии» (Винокур 1977, 168).

Действительно, характерные для разговорной речи и несвойственные речи официальной, кодифицированной, эти особенности создают впечатление естественности, спонтанности ХД и служат основанием для авторов той точки зрения, которые считают ХД отражением РР, а иногда даже фактически отождествляют РР и ХД: «Речь персонажей воспроизводит реальную разговорную речь, в ней отброшены случайные черты и полностью развернуты наиболее характерные потенции» (Лигута 1976, 21).

Нам представляется более убедительным утверждение принципиальных различий ХД и РР (см., например: Винокур 1977, а также Кожевникова 1971).

ХД — органическая часть художественного произведения, подчиненная общим задачам произведения, написанная автором этого произведения. Это часть художественного текста. Текстовой характер ХД проявляется в определенной организации как содержания, так и формы, что резко отличает ХД от РР. В спонтанной разговорной речи перебивы и самоперебивы часто приводят к незавершенности темы. Например:

А. Мне два зачетика осталось сдать и все.

Б. Ты не знаешь, чем зашить эту штуковину, отрывается совсем.

В продолжение разговора возврата к учебным делам не происходит. Или:

А. Вавочка чего-то тоже шил, а?

Б. Ну, он тоже зашивал эту штуку.

А. Где ты зеркало-то разбил?

Б. Да ну, вот упало с тумбочки и разбилось.

Аналогично:

А. Вот мужик, все может.

Б. Сколько ему лет?

А. Скоро на пенсию, уже старый, но мужик так крепкий ...

Б. Хорош... А ты что уже куришь? Ни к чему бы.

А. Да уж три года курю и т. п.

Темы чередуются, не имея четких границ конца и начала, после новой темы собеседники могут вернуться к прежней, могут перейти к третьей, никак не связанной с предыдущими. В ХД любая смена темы или перебив структурно оправданы и обязательно опираются на те компоненты пьесы, которые завершают данную тему. Вот пример из пьесы Розова «В поисках радости»:

Лапшин. Доброго утречка! Заварочки у вас не найдется? После разговора о Москве и о выставке вводится реплика:

Таня. Вот, нашла.

Этот короткий и, на первый взгляд, не связанный с сюжетной линией пьесы диалог послужит в дальнейшем основанием для конфликта между Лапшиным и его сыном Геннадием, упрекающим отца в скупости.

В пьесе Горького «Дачники»:

Юлия Филипповна. Вы очень нервны, это мешает вам быть убедительным! Ваш муж сидит с моим орудием самоубийства, пьют коньяк, и у меня такое предчувствие, что они изрядно напьются. К мужу неожиданно приехал дядя — какой-то мясоторговец или маслодел, вообще фабрикант, хохочет, шумит, седой и кудрявый... Забавный! А где же Николай Петрович? Благоразумный рыцарь мой?

Замыслов. Я здесь, Инезилья, стою под окном.

После длительного разговора Юлии Филипповны с Замысловым о смысле жизни и любви Юлия Филипповна говорит: *Постойте! Вы представьте: фамилия дяди мужа — Двоеточие!* Неожиданное *Постойте!* создает впечатление спонтанности реплики, которая вклинивается в не связанную с ней тему. Так мастер-драматург сообщает имя, характер родственных связей, профессию нового персонажа.

Таким образом, в пьесе все элементы подчиняются единой текстовой структуре, что принципиально отличает ХД от РР — речи нетекстовой. В ХД возможно использование значительного количества книжных слов и оборотов речи. Например:

Цветаева. И однажды, вспоминая свое детство, он вспомнит, как учительница Цветаева, играя с ним во время перемены, разбила ему нос... (Горький. Мещане).

Или:

Поля. Вот как видишь женщину-то, в милом образе описанную, так и сама себе лучше кажешься (Горький. Мещане).

Рюмин. Зачем это? Я не вижу в этом смысла, но я знаю, что чем более живет человек, тем более он видит вокруг себя грязи, пошлости, грубого и гадкого... И все более жаждет красивого, яркого, чистого! (Горький. Дачники).

Длинные предложения, включающие в состав причастные и деепричастные обороты, повторы, сложные синтаксические конструкции, не характерные для РР, в ХД не вызывают впечатления необычного. Почти не употребляются в РР художественно-изобразительные средства, обычные в языке драматургическом — художественном тексте:

Маша. А у меня такое чувство, как будто я родилась уже давным-давно; жизнь свою я тащу волоком, как бесконечный шлейф (Чехов. Чайка).

Олег. Ты не прав! Жить ближе к природе — естественное состояние человека... люди построили для себя города с изумительной техникой и рвутся из них вон! (Розов. В поисках радости).

Виталик. Мама, поймите, что революция — это болезнь. Под влиянием солнечных пятен заболевает масса людей, и они начинают делать революцию. Потом пятна на солнце исчезают и революция проходит... (Погодин. Человек с ружьем).

Метафоры, сравнения, экспрессивно-оценочная лексика характерны для языка художественных произведений, и в этом плане язык произведений драматургических соотносим именно с ними.

В ХД всегда виден индивидуально-авторский стиль, поэтому ХД Гоголя не похож на ХД Пушкина, ХД Островского отличается от ХД Тургенева (Борисова 1970, 196). ХД индивидуально-авторски своеобразен и поэтому является художественной речью определенного автора (Полищук 1974, 9). Однако одновременно ХД каждого писателя резко отличается от его «авторской» речи, соз-

дается впечатление, что это разговорная речь персонажей. Достигается это впечатление разными средствами. Это может быть специальное указание автора на то, что речь принадлежит не повествователю, а одному из персонажей, что это прямая речь персонажа. Этот внешний признак не является обязательным (см., например, повествование в «Кавказском пленнике» Л. Толстого, создающее явное впечатление устного рассказа,— Сиротинина 1967), но он очень важен, а иногда является единственным сигналом разговорности.

Такими сигналами служат лингвистические явления РР (особый порядок слов, отсутствие причастных и деепричастных оборотов и т. д.), но это именно сигналы, создающие впечатление разговорной речи, но не ее отражение (Виноградов 1963). Доказательством этого положения является хотя бы тот факт, что разными писателями используются различные сигналы и что некоторые явления употребляются чисто условно как средство речевой характеристики (препозиция дополнения, заполненные паузы и т. д.). Сигналом разговорности и одновременно средством речевой характеристики может быть и графическая передача литературного произношения (например, в «Поднятой целине» М. А. Шолохова: *скушноватая песня*; *канешно*, *што*) и порядок слов. Так, например, в романе К. Федина «Костер» в речи Пастухова и его друзей препозиция прямого дополнения составляет от 20 до 38%, тогда как в речи шофера Матвея Веригина и его деревенской родни от 70 до 73% (Сиротинина 1965, 44). Аналогичная картина наблюдается в произведениях других писателей, хотя естественная разговорная речь образованных людей не отличается по порядку слов даже от диалектной речи.

Сигналов разговорности в ХД может быть очень мало, широкое их использование скорее вредит, чем помогает созданию действительно художественного диалога. Суть естественной РР в отсутствии заботы о форме выражения. Суть ХД — в очень большой заботе о форме выражения, ибо в нем одновременно писатель передает и движение сюжета, и речевые характеристики, создает образы персонажей и впечатление естественности их речи. ХД — разновидность художественной речи, а не отражение РР. Понятие разговорности ХД — эстетическая категория, сигналы разговорности — специальные художественные приемы, используемые при создании художественной разговорной речи (см. высказывание драматурга Алешина; Винокур 1977, 169) и служащие средством речевой характеристики. Своеобразие речевой характеристики персонажа ХД и ее отличие от РР состоит и в том, что она может быть единообразной на всем протяжении пьесы.

Вот, например, Калерия — героиня пьесы Горького «Дачники». Речь ее характеризуется афористичностью, патетикой, и эти качества проявляются в ее репликах, обращенных к самым разным

собеседникам: (к Соне) Мне хочется покрыть тревожною тенью думы ваши ясные глаза. Я часто вижу около вас каких-то грубых, оборванных людей — и удивляюсь вашему бесстрашию перед грязью жизни..; (к Юлии Филипповне) У меня в душе растет какая-то серая злоба... серая, как облако осени. Тяжелое облако злобы давит мне душу... (к Варваре Михайловне)... И я тебя не понимаю. И никто никого не понимает... не хочет понять... Люди блуждают, как льдины в холодном море севера ... и т. д.

Грубо просторечный тон характеризует речь персонажа пьесы Розова — Лапшина. Реплики, адресованные разным людям в разной ситуации, разные по тематике, однотипны по лексико-стилистическим особенностям: (к Тане) Геннадий мой тут не околачивается? (к Геннадию) Тебе же, козлу, вчера на последние аккордеон купил. (к Федору) А почем вам за писанину-то платят, Федор Васильевич? и т. д.

Такая особенность обеспечивает единство речевой характеристики персонажей пьесы, создает их индивидуализацию, делает непохожими друг на друга. В пьесе это совершенно необходимо еще и потому, что язык персонажа является, по сути дела, единственным средством раскрытия сути образа, «микрозвеном идейно-тематической и сюжетной канвы пьесы» (Винокур, 1977, 169).

В РР отбор языковых особенностей в большей мере обусловлен такими факторами, как ситуация, партнер, тема, поэтому в РР, с одной стороны, могут отсутствовать существенные различия в речи собеседников, поскольку от этого их индивидуальность не теряется. С другой стороны, смена «кода» может происходить очень резко. Кроме того, спонтанный характер РР вызывает появление особенностей, которые часто даже не могут быть предусмотрены (скажем, разговор с неожиданно встреченным собеседником и т. п.). Естественная РР осуществляется в условиях непосредственного персонально адресованного общения людей, объединенных ситуацией или знанием какой-то предситуации. Поэтому естественные разговоры, записанные на магнитную ленту, при прослушивании (а тем более чтении) в отрыве от ситуации, как правило, не понятны. Например:

А. Так, мы тебя задержали, Люсь, ты говоришь?
Б. Ну, конечно, как всегда.
А. Ну, а что не поправимо, что ли? Невозможно?
Б. Да нет, поправимо, если пораньше кончим.
А. А что, ты собиралась? и т. д.

Или:

Б. А что?
А. Это у нее тут всякие вещи...
Б. А вот это самое.
А. Благодарю.
А. Нет. Это я не знаю, розовая и ...

А. Это только сейчас посмотрю, и т. д.

Из приведенных примеров мы не можем точно уяснить 1) о чем идет речь; 2) в каком значении употребляется слово *благодарю*, которое может быть не просто словом благодарности, но и релятивом, употребляющимся в значении 'не нужно'; 3) не ясна из разговора и характеристика участников общения.

Однако в естественной разговорной речи общность ситуации позволяет разрешить недоумения, в крайнем случае — переспросить собеседника. Кроме того, отношения партнеров равноправны, поэтому диалог двунаправлен: от одного к другому и наоборот. Художественный диалог — однонаправлен. По своей сущности он представляет собой диалогическую форму авторской (монологической) адресации к читателю-зрителю. Поэтому все, что адресату может оказаться неясным, в ХД учитывается и восполняется средствами, характерными для речи письменной. В ХД прозы могут даваться авторские указания, адресованные к читателю.

— Идет мне, а? — спросила она, не отрываясь от зеркала.

— Очень идет. Вот если бы еще сюда строгое серое платье с высокой талией. Знаете, как в лавреневском «Разломе»... Нет, в самом деле идет?... Но вам все-таки лучше. В вас есть что-то такое монашенское, фанатичное. И потом вы молоды... Ах, молодость, молодость!

Она вздохнула, на этот раз, должно быть, искренне (Б. Полевой. Доктор Вера, с. 128).

Перед прямой речью идет объясняющий текст повествователя: «Чтобы сократить визит, я сразу же попросила хозяйку показать больную ногу. Вместо этого она сняла с меня косынку, ловко надела ее, прихрамывая, подбежала к овальному зеркалу в оправе из красного дерева, и оно с большей даже четкостью, чем наяву, отразило ее полную, статную фигуру. Не спуская глаз со своего отражения, Лепская с подчеркнутой скромностью прошлась по комнате».

ХД драмы также ориентирован на «третьего» (читателя или зрителя), поэтому сопровождается ремарками, дающими более или менее подробное описание ситуации, участников общения.

Еще чаще ситуация и предситуация включаются автором в сам текст ХД. В тексте ХД сообщаются сведения о событиях, людях, отношениях и т. д. Например, сообщения о возрасте:

Борис. Хорошо выглядишь, лет на девятнадцать.

Анатолий. Ну, это ты нарочно. Двадцать три мне официально... (Розов. Страница жизни).

О месте работы:

Салов. Что я о тебе знаю? Шестой разряд, комсорг цеха — и все (Розов. В день свадьбы).

Об отношениях людей:

Нил. Вы мне приемный отец... (Горький. Мещане) и т. д.

Драматурги прибегают к разнообразным средствам передачи информации.

1) Прямой рассказ персонажа:

Редозубов. Я сказал, ... я, мол, голова здешний... Мне шестьдесят три года... я староста церковный... весь город мне подчинен (Горький. Варвары).

2) Вопросно-ответные конструкции. При этом информация о ситуации может содержаться и в вопросе:

Слава. А ты замечала, что все мальчишки нашей школы относились к тебе особенно?

Лена. Конечно, замечала (Розов. Неравный бой)

и в ответной реплике:

Цыганов. Кто это почтенная матрона, с которой идет твоя жена?

Лидия. Это моя тетка (Горький. Варвары).

3) Реплики — переклички:

Дунькин муж. Сегодня инженеры приедут.

Матвей. Дорогу строить? (Горький. Варвары).

4) Информация может быть передана в виде переспроса:

Веселкина. Кого же мы ждем? Нам ждать некого.

Павлин. Я не про вас,— это вот он племянника ждет.

Дробязгин. Студента (Горький. Варвары).

5) Информация оформляется как напоминание собеседнику или собственное воспоминание:

Тычинкина. А вы знаете, что вы очень похожи друг на друга?

Цаплин. Почти близнецы.

Тычинкина. А ты не смейся! Родство-то ведь у нас по двум линиям. Твой отец приходится мне родным братом, а твоя мать — двоюродная сестра моего мужа... (Михалков. Сомбреро).

6) Информация представлена в системе реплик, которые вклиниваются в другой диалог. В пьесе Горького «Варвары» идет разговор о достопримечательностях города. В этот разговор вклиниваются реплики, в которых Степа сообщает о своем отце:

Цыганов. Они здесь любезные... как истинные дикари! Могу вас поздравить: в городе нет гостиниц... то есть гостиница есть, но она — занята клопами.

Анна. И трудно попасть в этот город. Что-то случилось с паромом...

Цыганов. Послушайте ... подите сюда! Скажите — есть в вашем городе что-нибудь замечательное?

Дунькин муж. Раки-с... агромадные раки!

Степа. Анна Федоровна... Вот он!

Анна. Кто?

Степа. Отец мой... отец... как же быть?

Цыганов. А что же есть в городе?

Дунькин муж. Пожарные играют на трубах... на медных трубах... Акцизный научил.

Анна. Молчите... встаньте сзади меня.

Цыганов. Громко играют?

Дунькин муж. Во весь дух!

Степа. Я уйду туда... на станцию... он не видел меня...

Среди многообразия реплик пробивается информация о том, что Степин отец — нищий, что она боится встречи с ним, что он замучил мать и т. д.

Такие способы подачи новой информации вполне возможны и в РР, однако, если в РР информация о ситуации может не иметь языкового выражения, то ее языковое выражение в ХД обязательно. Кроме того, ХД отличается большей полнотой новой информации, т. е. наличием языкового выражения даже тех сведений, которые не могут не быть неизвестными собеседникам:

Сергей. Что делала?

Валя. Не отдыхала. С двоими знаешь, забот сколько. (Муж Валин, безусловно, осведомлен о количестве детей и трудностях своей жены) (Арбузов. Иркутская история).

Катя. У них в полку служит наш Иван ... солдат Шадрин. Помните, как он по мобилизации в Гатчину прибыл и тоже по моей просьбе был взят в полк вашим братом (Погодин. Человек с ружьем). Включение в реплику таких оборотов речи, как *вы помните*; *а ты знаешь, что* и т. д., способствуют имитации речи спонтанной, однако дальнейшее ее содержание свидетельствует об отличии ХД от естественной спонтанной речи.

Очень показателен такой пример:

В пьесе Арбузова «Годы странствий» персонажи (Лаврухин и Ольга) оказываются перед дверью дачи на Клязьме, куда они приехали из Москвы по приглашению своего друга.

Лаврухин. Он тебе понравится, увидишь. На прошлой неделе его родители в Крым уехали, вот он и пригласил нас к себе. До экзаменов у тебя десять дней, ты тут отлично подготовишься.

Все сообщение по сути дела содержит сообщение об информации, несомненно, известной собеседникам. Таким образом, опять-таки проявляется главное отличие ХД от разговорной речи: его адресация к «третьему» — к тому, кто не является участником разговора, но обязан знать о происходящем. Таким образом, «третий», т. е. адресат — зритель, читатель, вводится в курс дела, получает сведения о всех тех компонентах, которые являют собой ситуацию (Полищук и др. 1976).

Итак, в ХД всегда присутствует стремление автора отграничить речь персонажей от своей речи (речевая характеристика персонажей), от письменной речи (создание впечатления устной речи), показать, что это именно разговор персонажей (диалог, перебивы, неполнота предложений). При этом отражаются те экстралингви-

стические факторы, которые создают разговорную речь: диалогичность, неофициальность и в значительной степени непосредственность общения с устной формой и опорой на ситуацию. Спонтанность речи фактически не отражается.

ХД не воспроизводит, не может и не должен воспроизводить реальную спонтанность речи (случаи такого воспроизведения — речевая характеристика людей малокультурных), так как это мешало бы пониманию, затрудняло чтение. Вместе с тем спонтанность, и как ее следствие негладкость речи не случайная, а типичная черта РР, о чем знают писатели. Ср., например, замечание Б. Васильева: «Варя говорила быстро, не подыскивая слов, а будто вставляя в речь уже готовые словесные сочетания. Беневоленский сразу установил это, тут же про себя нарек ее „начетчицей“» (Были и небыли.— «Новый мир», 1977, № 8, с. 61). Гладкая правильная речь, тем более «состоящая из длинных предложений, не свойственна РР, но нередко встречается в ХД:

Медведенко. Я люблю вас, не могу от тоски сидеть дома, каждый день хожу пешком шесть верст сюда да шесть обратно и встречаю один индефферентизм с вашей стороны (Чехов. Чайка).

Татьяна. А когда смотришь, как течет река, то глаза устают, делается скучно, голова тупеет, и даже не хочется подумать — зачем река течет? (Горький. Мещане).

Олег. А я думаю так: города будут, как огромные агрегаты, куда люди станут приезжать работать на несколько часов, а жить они будут проще и среди природы. (Розов. В поисках радости) и т. д.

Очень характерно, что в спектаклях в ХД иногда вносятся отсутствовавшие в пьесах, но типичные для РР элементы. Так, в спектаклях МХАТ зафиксированы *Наш директор — он хороший человек, умнейший, но у него такие взгляды* (Три сестры); *А капитал — он в неприкосновенности* (Женитьба Белугина) и т. д., в соответствующих пьесах Чехова и А. Н. Островского плеонастического местоимения в этих фразах нет (Сиротинина 1974, 213).

В ХД в речи культурных персонажей никогда не появляются заполненные паузы колебания, тогда как в РР они просто неизбежны. В спектаклях заполнители пауз также могут появляться. В естественной РР употребление незнаменательной лексики в качестве заполнителей пауз — норма (Прокуровская 1977, 17—19).

Естественная РР и ХД имеют разную материальную основу. Письменная речь подсказывает, но не передает интонацию однозначно, тогда как в устной речи интонация — один из важнейших способов передачи значения. Письменная форма ХД создает возможность разного прочтения, разного интонирования. При чтении, исполнении ХД интонация создается не только автором, но и актером, режиссером, чтецом, поэтому не одинакова в разном исполнении. Ряд типичных для РР конструкций, основанных на

интонации, невозможно передать в письменной форме, и они никогда не встречаются в ХД (предложения с интерференцией, наложением частей, со связями свободного соединения и т. д.) (Лаптева 1976; см. также: Русская разговорная речь 1973). Воспроизведению таких конструкций мешают правила пунктуации и возможности восприятия письменной речи, а также кодифицированные нормы литературного языка. Так, обычная в РР фраза *У него не было никакого отношения к лингвистике Багрин не имел* в письменной форме была бы воспринята либо как опечатка, либо как грубое нарушение кодифицированных норм.

В спонтанной РР речь не организована, поэтому перебив часто обрывает тему. В ХД речь организована, поэтому любой перебив восполняется, тема получает свое завершение.

Естественно, что отражение — это не фотографирование и тем более не наличие факторов, создающих РР: ХД в действительности не диалог персонажей, а представленный в виде диалога монолог самого автора; не устная, а письменная речь; не непосредственное общение двоих, а продуманная текстовая речь для неизвестного автору читателя или зрителя.

Однако отражение экстралингвистических факторов РР не означает отражения особенностей РР, ее типичных лингвистических характеристик. Отражение самой РР, воспроизведение ее типичных характеристик не возможно в ХД и, главное, не нужно, так же как не возможно и не нужно воспроизведение реальной спонтанности речи.

Точки пересечения языковых особенностей ХД и РР обеспечиваются единой языковой системой, а также однотипностью формы выражения мысли (диалог). Однако разные принципы организации речи, противопоставление по линиям: речь письменная — речь устная; речь обработанная мастером слова — речь спонтанная; речь, в которой все компоненты подчинены единым принципам,— речь, состоящая из разобщенных компонентов,— все это дает основание считать, что ХД и РР принадлежат системам, принципиально различающимся по способу создания речи, ее адресации, структуре и целям.

ЛИТЕРАТУРА

Борисова М. Б. Слово в драматургии Горького. Изд-во Сарат. ун-та, 1970.

Винокур Т. Г. О языке современной драматургии.— В кн.: Языковые процессы современной русской художественной литературы. Проза. М., «Наука», 1977.

Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., Изд-во АН СССР, 1963.

Ковтунова И. И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. М., «Просвещение», 1976.

Кожевникова Квета. Спонтанная устная речь в эпической прозе. Universita Karlova. Praha, 1971.

Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис. М., «Наука», 1976.

Лигута Т. В. Разговорная речь в художественном тексте.— Автореф. канд. дис. Саратов, 1976.

Полищук Г. Г. Обязательные и факультативные определения в разговорной речи.— В кн.: Вопросы стилистики, в. 8. Изд-во Саратов. ун-та, 1974.

Полищук Г. Г., Машкова Е. В., Китаева Т. В., Кучинская Т. И. Некоторые особенности художественного отражения разговорной речи.— В кн.: Вопросы стилистики, в. II. Изд-во Сарат. ун-та, 1976.

Прокуровская Н. А. Незнаменательная лексика в русской разговорной речи (состав и функции). Автореф. канд. дис. Саратов, 1977.

Русская разговорная речь. Под ред. Е. А. Земской. М., «Наука», 1973.

Сиротинина О. Б. Порядок слов в русском языке. Изд-во Сарат. ун-та, 1965.

Сиротинина О. Б. Порядок слов как средство стилизации (на материале рассказа Л. Н. Толстого «Кавказский пленник»).— В кн.: Очерки по русскому языку и стилистике. Саратов, 1967.

Сиротинина О. Б. Конструкции с плеонастическим местоимением в разговорной речи.— В кн.: Синтаксис и норма. М., «Наука», 1974.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПРИРОДА ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ

А. Г. КОСТЕЦКИЙ

При анализе особенностей структурной организации поэтического текста (дальше — ПТ) обычно не учитывается материальная форма его реализации, что порою приводит к неполным выводам. Это объясняется прежде всего тем, что формы реализации ПТ по своим функциям весьма различны и часто оказывают существенное влияние на семантику текста, на процессы его функционирования и восприятия. А ведь вполне понятно, что изучение ПТ в данном аспекте не должно лежать вне изучения особенностей форм его реализации так же, как «физические свойства красок и мрамора не лежат вне области живописи и скульптуры» [1].

Если рассматривать речь как реализацию языка, то можно выделить две ее основные формы: устную и письменную. Такое двойственное разделение речи вполне оправданно самой природой человека, поскольку «наиболее значительными из ответов нашего психофизиологического „я" на возбуждения, идущие от внешнего мира, нам представляются ощущения слуховые и зрительные... С них начинается сознательное восприятие мира, к ним чаще всего мы обращаемся в целях его познания» (Белецкий 1964, 193). Таким образом, можно утверждать, что во всяком обществе, где имеется письменность, его члены являются носителями двух стандартов — устного и письменного, причем именно стандартов, но не двух языковых систем (Леонтьев 1964, 70), поскольку система в мозгу человека одна (язык), но два набора правил ее реализации.

Основываясь на двойственности реализации языка, можно утверждать, что и любой ПТ выступает в двух основных формах материальной реализации: устной и письменной. Следует также различать и два подтипа письменной формы ПТ: рукописный и печатный. Таким образом, нами будут рассмотрены следующие основные материальные формы ПТ: 1. ПТ устный, звучащий, 2. ПТ письменный: а) рукописный ПТ, б) печатный ПТ.

Устная, или звуковая, форма реализации ПТ характеризуется прежде всего исполнительством. При этом следует различать две, весьма отличные друг от друга, системы исполнения, декламации, а именно: 1) ПТ читается автором, 2) ПТ читается исполнителем, актером (Эйхенбаум 1927, 227).

Вполне понятно, что авторское исполнение, независимо от исполнительных способностей поэта, следует признать более значимым хотя бы по той причине, что автор знает о собственном ПТ, об особенностях его структурной организации гораздо больше, чем

[1] *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч., т. I. М., 1957, с. 77.

исполнитель, руководствующийся почти во всех случаях при исполнении ПТ лишь той информацией, которую дает ему письменная форма текста.

Поэт, в отличие от профессионального исполнителя, видит, ощущает целостность своего творения, и уже на этом фоне выделяет те частности, которые, по его мнению, «работают» на смысл ПТ именно как единства (Эйхенбаум 1924, 242). Очень часто при чтении стихов поэт подчеркивает прежде всего ритмическую сторону произведения, и уже на основе ритмической структуры с помощью различных декламационных приемов — интонирование, жест и т. п.— строит смысловую структуру, т. е. поэт идет от ритма к смыслу. В качестве примера можно привести хотя бы декламацию таких поэтов, как А. Блок, который очень четко выделял паузы только в конце стихотворных строк, О. Мандельштам, А. Ахматова и другие (Бернштейн 1927). Н. Гумилев, например, вообще не признавал ничьих исполнений своих стихов, кроме собственного.

Актер же при чтении в большинстве случаев уничтожает первичную ритмическую структуру произведения, поскольку идет в исполнении от смысла ПТ, а не его формальных особенностей, таких, например, как аллитерация, рифма, ритм и пр. Однако здесь бывают исключения. Так, И. Ильинский при декламации ПТ очень четко подчеркивает его ритмическую структуру, а С. Юрский выделяет рифмы и аллитерации, и часто не только с помощью голосовых средств, но и характерными подчеркивающими жестами.

Особенности исполнения стихов поэтами отчасти можно объяснить особенностями процесса создания ПТ. Здесь следует различать поэтов слуха (создают стихи вслух) и поэтов письма (создают ПТ только в письменной форме). Так, например, А. Белый, А. Ахматова, О. Мандельштам, В. Брюсов, В. Маяковский и др. создавали стихи исключительно вслух. А такие поэты, как А. Блок, или, например, М. Шкапская — только писали.

Если рассматривать устную форму реализации ПТ в синхронном аспекте, то можно понять следующее утверждение: «Книгопечатание принесло много хорошего; но оно нанесло немалый ущерб поэтическому творчеству, его непосредственному воздействию. Некогда стихи звучали в кругу живых людей, под звуки арфы, оживляемые голосом, душой и сердцем певца или поэта; теперь они оказались красиво напечатанными черным по белому... Как много утратила она [поэзия] в своем непосредственном воздействии! (Гердер 1959, 194—195).

Такое предпочтение звуковой форме реализации ПТ можно в какой-то степени объяснить тем фактом, что роль звуковой формы речи является решающей в процессе формирования языка вообще, поскольку генетически устная речь, конечно же, первична

по отношению к письму. Но если обратиться к значению письма в современном обществе, то можно смело утверждать, что письменная форма ПТ играет теперь более значительную и заметную роль. Не следует также забывать и тот факт, что устная форма реализации ПТ возможна только на основе его письменной формы. Ведь все исполнители руководствуются именно письменным ПТ, т. е. «переводят» (в семиотическом смысле) письменный текст в звучащий по определенным правилам (Артоболевский 1973). Таким образом, задачу лингвистики следует видеть не только в изучении сближения письма и звуковой речи (Амирова 1966, 25), но и в изучении их особенностей, в рассмотрении и анализе их как двух самостоятельных форм реализации языка.

Рассмотрим теперь рукописный ПТ. «Сталкиваясь с любой авторской рукописной структурой, читатель всегда воспринимает ее как нечто нерасторжимое с мыслью, высказанной писавшим» (Ляхов 1971, 69). Здесь в первую очередь действует такой сильный фактор, как осознание читателем того, что текст написан непосредственно рукой автора, что, несомненно, отражается на психологии восприятия данного ПТ.

Орнаментальные и эмоциональные функции авторского почерка при восприятии рукописного текста осознали еще русские футуристы. Так, в декларации 1913 г. «Буква как таковая» В. Хлебников и А. Крученых писали: «Есть два положения: 1) настроение изменяет почерк во время написания; 2) почерк, своеобразно измененный настроением, передает это настроение читателю независимо от слов. Листки черновика суть подмостки, где буквы, почерк — лицедеи, а смысл букв — их речи» (Хлебников, 1931, 248). Считая неотделимой частью ПТ «его помарки и виньетки творческого ожидания» и полагая в авторском почерке «составляющую поэтического импульса», футуристы выпустили целый ряд литографированных поэтических сборников автографов — «самописьма» (Садок судей-2 1924, 101). Кроме того, футуристы также выпускали рукописные поэтические сборники, тексты которых переписывались художниками, поскольку считали, что слово, а следовательно — ПТ, «соответственно меняет свои качества» не только «в зависимости от того — написано ли оно, или напечатано, или мыслится», но и от того, кем оно написано — автором или переписчиком, так как «иные слова никогда нельзя печатать» — «для них нужен почерк автора» (Бурлюк Н., Бурлюк Д. 1924, 102).

Отметим, что при рассмотрении рукописных ПТ следует различать два вида рукописей: черновик и беловик. Это объясняется тем, что если по черновику можно проследить процесс рождения ПТ с его творческими исканиями, импульсами, задержками, то по беловику информацию подобного рода получить невозможно, поскольку «беловик решает вопросы внешнего графического оформления вещи» (Бонди 1971, 151). Очень показательно в этом плане

сравнение черновиков и беловиков Маяковского, который иногда черновой ПТ писал сплошь, без своей обычной разбивки, и лишь в беловике оформлял графическую структуру текста. Таким образом, черновик и беловик можно рассматривать как взаимодополняющие виды рукописной формы реализации ПТ.

Следует отметить также и такой факт, как зависимость восприятия рукописного ПТ от уровня читателя. Так, например, читатель, реально оценивающий значение рукописного ПТ, извлекает из него при восприятии гораздо большую информацию, нежели из печатной формы. Читатель же, не понимающий значения рукописи, получит намного меньше информации, кроме того, его может даже раздражать непонятность, небрежность почерка, наличие помарок, описок, поправок и т. п.

Таким образом, значение рукописи для восприятия и понимания семантики ПТ весьма ощутимо, хотя рукопись и не всегда доступна широкому кругу читателей. В связи с этим становится понятным первостепенное значение печатной формы текста, и второстепенность рукописи, которой отводится в наше время самими поэтами весьма скромное место. Так, например, Л. Мартынов считает: «Каждая рукопись — это полотно художника слова. Хотя при этом на такой рисунок любуюсь лишь сам и считаю, что это касается меня лично, а не читателя, для которого должна существовать уже иная, книжно-типографская цельность произведения» [2].

Теперь рассмотрим специфику п е ч а т н о г о ПТ. Если раньше печатную речь изучали как трансформацию устной, откуда делался вывод о преимущественном богатстве и многообразии звучащей речи в отличие от печати (Янакиев 1964, 61), то сейчас подход к изучению печатных текстов как трансформации устных — неправомерен. Однако изучать печатный и устный тексты в абсолютной независимости также неправильно (Мотш 1963). Печатный текст следует рассматривать в двух аспектах: 1) как автономную систему, 2) на фоне устной речи. При этом нельзя утверждать, что печать менее совершенна, поскольку она имеет ряд особенностей, не наблюдаемых в речи устной, например морфологизацию прописных и строчных букв (*Кобзарь — кобзарь*, *Человек — человек*). Кроме того, печатный текст является специфическим продолжением нашего письменного опыта (Черри 1972. 101), поскольку обучение письму — переломный момент в интеллектуальном развитии личности (Выготский 1958, 9).

Пожалуй, основной особенностью печатного текста в отличие от устного считается то, что печать стирает авторскую индивидуальность, «обезличивает» авторское Я (Куфаев 1927, 27—28). В какой-то мере данное утверждение можно считать правильным. Действительно, печатный текст, который одновременно и массов

[2] Из письма Л. Мартынова автору от 23 января 1974 г.

(множество читателей), и индивидуален (читатель наедине с текстом), в сравнении с его устной формой реализации утрачивает часть информации. Это естественно, поскольку, как бы печатный текст ни стремился быть отображением устного, однако нет ни одного языка, в котором бы существовало приблизительно точное соответствие между количеством фонем и графем. Кроме того, размножение почти любого текста искусства (когда он становится достоянием большинства) приводит к частичному обеднению оригинала. Однако при печатании «к написанному что-то прибавляется. Написанное как бы колеблется в битве неравной и страшной, машинопись проясняет, печать утверждает» (Пришвин 1972, 82). К тому же печатный текст в сравнении с устным дает гораздо больше свободы для «сотворчества», поскольку позволяет читать его многократно. Содержание же печатного текста в связи с нейтральностью самой печатной формы всегда четче и виднее (Вахек 1967, 539). Таким образом, печатный текст в первую очередь отличается от устного тем, что он является каналом связи между автором и одиночным читателем. Здесь исключается возможность непосредственного наблюдения авторских интонаций, жестов и мимики, облегчающих процесс восприятия ПТ при его устном исполнении. Читатель должен на основании самостоятельного анализа выделить и усвоить авторский код, а затем с его помощью дешифровать текст. Задача же автора состоит в том, что он должен с помощью имеющихся в его распоряжении средств (в том числе — графических, типографских) максимально сохранить интонационную, а следовательно — и содержательную, структуру ПТ при «переводе» его в печатную форму.

Здесь, впрочем, нельзя полностью согласиться с утверждением, будто бы в печатных ПТ отсутствует авторская индивидуальность. Пример тому — наличие графических стилей у таких поэтов, как В. Маяковский, Л. Мартынов, А. Вознесенский. Печатный ПТ уже в самой своей природе заключает стремление автора с помощью особенностей, присущих только печати, сохранить структуру ПТ и донести ее с минимальными потерями до читателя. К этому стремился еще Маяковский, писавший о том, что, делая стихи для печати, надо учитывать, как они будут восприниматься «именно как напечатанное», использовать графику, печатный язык для большей выразительности ПТ (Маяковский 1959, 113), поскольку в печатном ПТ графические элементы, не применяемые широко в лингвистической графике вообще, актуализируются, становятся носителями особой поэтической информации (Тезисы ПЛК, 29). Например, такие средства печатного языка, как курсив, разрядка, цветной набор, различные шрифты и т. п. применительно для акцентировки значимых фрагментов текста, даже — для означивания в печатном тексте различных тембров голосов (Бодуэн де Куртене 1912, 23). Таким образом, рассмотрение специфики печатной

формы ПТ позволяет говорить и о некоторых вопросах, связанных не только с лингвистической графикой, но и со спецификой художественной литературы, ее языка — вообще (Леонтьев, 1964, 78).

И в заключение рассмотрим в сопоставительном плане некоторые отличительные характеристики устного и письменного (как целое) ПТ.

Основное отличие письменного текста от устного заключается в том, что знаки письма — зрительные — связаны прежде всего с пространством, тогда как слуховые — со временем. Если рассматривать процесс порождения текста, будь то письменная или устная формы реализации, то, очевидно, нельзя утверждать, что у письменных знаков основной принцип — одновременность, а у звуковых — последовательность (Якобсон 1972, 86). Ведь при написании слово также строится последовательно, частично имитируя развертывание звукового слова. Вот при восприятии текста форма его реализации играет существенную роль, поскольку письменный текст воспринимается одновременно, а устный — последовательно. Кроме того, письменный текст существует самостоятельно, тогда как устный — неотделим от автора.

Если в случае звучащего текста мы получаем готовым его интонационный рисунок, то в случае письменной формы реализации ПТ нам необходимо «реконструировать», восстановить его интонационную структуру, исходя лишь из его письменной формы, где интонация может передаваться с помощью описания (*он тихо промолвил*), а также — с помощью графических средств.

Отметим, что особенности восприятия ПТ зависят во многом и от особенностей той культуры, которой принадлежит данный текст. Так, например, японские и китайские письменные ПТ воспринимаются совершенно иначе, нежели европейские: «Японский и китайский читатель, читая иероглифический текст, пользуется двумя параллельными чтениями рядом: слуховым и зрительным, и, воспринимая разом и звуковой и зрительный эффекты, он получает от чтения в общем больше, чем мы; он в одно и то же время и читает, и как бы рассматривает иллюстрации. И нередки случаи, что искусство писателя проявлялось в умелом и остроумном подборе иероглифов, чтобы произвести удачные зрительные эффекты, доставляющие наслаждение читателю. Если у нас возможна игра слов в наших текстах, то в текстах иероглифических возможна помимо этого еще игра идеоначертаний» (Астон 1904, 25).

Стремление стереть различие между устной и письменной формами реализации ПТ отражается и на индивидуальных графических исканиях поэтов. Так, еще Леонардо да Винчи изобрел с целью максимально адекватной передачи слуховых впечатлений собственную систему орфографии (Волынский 1909, 47). Многие русские поэты, чувствуя несовершенство графической системы, также вводили собственные дополнения и модификации: тире и многоточия

Карамзина, курсив Жуковского, четыре точки А. Григорьева и т. д.

Таким образом, рассматривая письменный текст на фоне устного, вполне правомерно считать его своеобразным инвариантом, а его устные прочтения — вариантами, т. е. письменную форму реализации ПТ можно и необходимо изучать автономно, но при этом всегда сопоставлять ее с первичной — устной формой. Причем на основании всего сказанного следует уже поставить вопрос о создании особого раздела стилистики, а именно — графической стилистики художественной литературы.

ЛИТЕРАТУРА

Амирова Т. А. Язык и письмо как предмет лингвистики.— Учен. зап. МГПИИЯ-1, том 35. М., 1966.

Артоболевский Г. В. Исполнение стихов Маяковского.— В кн.: Искусство звучащего слова, вып. 12. М., «Советская Россия», 1973.

Астон В. Г. История японской литературы. Владивосток, 1904.

Белецкий А. И. Избранные труды по теории литературы. М., «Просвещение», 1964.

Бернштейн С. И. Стих и декламация.— В кн.: Русская речь, сб. I. Новая серия, Л., 1927.

Бодуэн де Куртенэ И. А. Об отношении русского письма к русскому языку. СПб., 1912.

Бонди С. М. Черновики Пушкина. М., «Просвещение», 1971.

Бурлюк Н., Бурлюк Д. Поэтические начала.— В кн.: От символизма до «Октября». Литературные манифесты, I. Россия. М., «Новая Москва», 1924.

Вахек Й. Письменный язык и печатный язык.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., «Прогресс», 1967.

Волынский А. Л. Леонардо да Винчи. Киев, 1909.

Выготский Л. С. Мышление и речь.— Избранные психологические исследования. М., Изд-во АПН РСФСР, 1956.

Гердер И. Г. Избранные сочинения. М.— Л., Гослитиздат, 1959.

Куфаев М. Н. Книга в процессе общения. М., изд-во П. Витязева, 1927.

Леонтьев А. А. Некоторые вопросы лингвистической теории письма.— В кн.: Вопросы общего языкознания. М., изд-во АН СССР, 1964.

Ляхов В. Н. Очерки теории искусства книги. М., «Книга», 1971.

Маяковский В. В. Как делать стихи. Полн. собр. соч., т. 12, Гослитиздат, 1959.

Мотш В. К вопросу об отношении между устным и письменным языком.— ВЯ, 1963, № 1.

Предисловие к книге «Садок судей-2». В кн.: «От символизма до «Октября». Литературные манифесты, I. Россия. М., «Новая Москва», 1924.

Пришвин М. М. Избранные произведения, т. 2. М., «Художественная литература», 1972.

Тезисы ПЛК.— В кн.: Пражский лингвистический кружок. М., «Прогресс», 1967.

Хлебников Велимир. Собрание сочинений, т. 5. Л., Изд-во писателей в Ленинграде, 1931.

Черри К. Человек и информация. М., «Связь», 1972.

Эйхенбаум Б. М. О камерной декламации.— В кн.: *Эйхенбаум Б. М.* Литература. Л., «Прибой», 1927.

Якобсон Р. К вопросу о зрительных и слуховых знаках.— В кн.: Семиотика и искусствометрия. М., «Мир», 1972.

Янакиев М. Теория орфографии и речь.— ВЯ, 1964, № 1.

О ПОЭТИКЕ ЗАГЛАВИЙ

Е. В. ДЖАНДЖАКОВА

В последние годы заглавия вызывают большой интерес у синтаксистов. Однако заглавие — не только особая синтаксическая позиция, это элемент текста, причем совершенно особый, «выдвинутый», совмещающий несколько функций. Его роль и отношения с текстом зависят от вида речевой деятельности.

В художественной литературе заглавие органически «входит в художественную структуру произведения (книги, цикла)» [1]. Исследователи творчества того или иного писателя говорят об их подчеркнуто серьезном отношении к названиям своих произведений. Известно, какое значение названию стихотворных сборников и разделов придавал А. Блок. Говоря о книге С. Городецкого «Перун», Блок писал: «Название первого отдела «Семя вражды» — открывает глаза на дальнейшее гораздо больше, чем любое стихотворение этого отдела...» [2]. Л. Гинзбург отмечает значение семантики заглавий на примере «Кипарисового ларца» И. Анненского: «Не только заглавия стихотворений, но и заглавия трилистников, складней задуманы как действенный элемент, как ключ, в котором должны читаться охваченные ими стихотворения» [3]. Как образно писал С. Кржижановский, заглавие — это «не шапка, а голова, которую извне к телу не приладишь» [4]. Поэтому все сколько-нибудь значительные изменения в поэзии отражаются и на заглавиях. Ср., например, с одной стороны, «Золото в лазури», «Пепел», «Урна» А. Белого, «Стихи о Прекрасной даме», «Снежная маска», «Земля в снегу» А. Блока и «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», «Засахаренное кры...» футуристов. А с другой стороны — спокойные, «ничего не обещающие» заглавия рассказов А. Чехова (вместо «Великий человек» — «Попрыгунья», вместо «Мое имя и я» — «Скучная история»). Эволюция заглавий в направлении к максимальному лаконизму [5] — также явление не самостоятельное, а связанное с общей тенденцией развития художественной речи к слиянию слова поэтического и реального.

---

[1] *Магазаник Э.* Поэтика заглавия и оглавления. «Материалы XXIII научной конференции СамГУ». Самарканд, 1966, с. 14.

[2] Цит. по кн.: *Гинзбург Л.* О лирике. Л., 1974, с. 258.

[3] Там же, с. 330.

[4] *Кржижановский С.* Поэтика заглавий. М., 1931, с. 17.

[5] «Если в начале XVIII в. Дефо, описывая историю души, озаглавливает книгу приблизительно 50—60 словами, то сейчас А. Белый, думая то же, довольствуется одним знаком — «Я» (*Кржижановский С.* Заглавие.— Литературная энциклопедия. Словарь литературных терминов, т. I. М.— Л., 1925, с. 249).

Заглавие — это категория поэтики. Исследователи художественной речи не раз отмечали особые качества лирического слова, особенно его семантическую осложненность. Эта специфичность лирики проявляется и в отношении к заглавию. Так, например, только здесь бывают тексты без заглавия[6]. Это никак не говорит об ослаблении роли заглавия (в лирике все факты языка, все единицы стиховой структуры актуализируются). Наоборот, значимость заглавия в поэзии настолько велика, что само по себе его отсутствие становится поэтически значимым (как нулевое заглавие). Заглавие — визитная карточка поэта, отсутствие его — своего рода сигнал того, что ожидается текст, насыщенный ассоциациями, неуловимыми для определения[7]. Имеющиеся заглавия характеризуются чрезвычайным разнообразием.

Возможен такой тип заглавий, поэтическая значимость которых как бы установлена заранее. Сюда относятся заглавия-слова, обозначающие растения, явления природы, времена года, времена суток, собственные имена мифологических, исторических и литературных героев, заглавия-сочетания со словами *первый, последний* и т. п. Эти слова и словосочетания и вне заглавия обладают значительным «запасом смыслов», выношенных «культурным сознанием народа» (Л. Гинзбург), но позиция заглавия, специфичность его интонации, пауза между заглавием и текстом чрезвычайно активизируют эту «родовую память человечества» (С. С. Аверинцев). В результате читатель настраивается на восприятие текста не как изолированного явления, а в соотнесенности с другими, ассоциативно возникающими текстами. Даже если эти ассоциации неотчетливы, а сам текст, к которому отсылает автор, читателю неизвестен (иногда такого конкретного текста может и не быть вообще), все равно создается эффект скрытой цитаты, аллюзии, не разгаданного читателем намека. Таковы в большинстве своем заглавия А. Тарковского («Эвридика», «Эсхил», «Оливы», «Кузнечики», «Рукопись», «Поздняя зрелость», «Первые свидания», «Перед листопадом», «Камень на пути» и т. п.).

Стихотворения с такими заглавиями возможны у поэтов всех времен и направлений, но не всегда и не у всех эти заданные заглавием ассоциации, ореолы и смыслы подтверждаются текстом. Эффект обманутого ожидания не менее силен, чем подтвержденного. У Е. Винокурова нередко встречаются заглавия, похожие на заглавия Тарковского, но их поэтическая значимость иная. Так, если стихотворение называется, например, «Эвридика», то читатель невольно «настраивается» не только на мифологический

[6] А в прозе, наоборот, возможны тексты, состоящие только из заглавия и последней фразы (см., например, «Неначатые рассказы» Ф. Кривина).

[7] Ожидания не всегда оправдываются, но это уже совершенно другой вопрос — творческой удачи или неудачи.

сюжет, но и определенный эмоциональный тон. У Тарковского этот тон поддерживается стихотворением (хотя пересказа мифа нет). У Винокурова же стихотворение называется «Гамлет», но вместо ожидаемого культурно-философского «тона» поэт излагает подчеркнуто бытовой, будничный сюжет:

Мы из столбов и толстых перекладин
За складом оборудовали зал.
Там Гамлета играл ефрейтор Дядин
И в муках руки к небу простирал.
А в жизни, помню, отзывался ротный
О нем, как о сознательном бойце!
Он был степенный, краснощекий, плотный,
Со множеством веснушек на лице.
Бывало, выйдет, головой поникнет,
Как надо, руки скорбно сложит, но
Лишь только «быть или не быть?» воскликнет,
Всем почему-то делалось смешно.
Я Гамлетов на сцене видел многих,
Из тьмы кулис входивших в светлый круг,—
Печальных, громогласных, тонконогих...
Промолвит слово — все притихнет вдруг,
Сердца замрут и задрожат бинокли...
У тех — и страсть, и сила, и игра.
Но с нашим вместе мерзли мы и мокли,
И запросто сидели у костра.

Контраст лексических единиц в тексте (*ротный, бывало, запросто — простирал, поникнет, воскликнет*) связан с контрастом между заглавием и текстом, так как название стихотворения вызвало уже многочисленные литературные ассоциации, а вместо них — бытовые реалии (*столбы, перекладины, склад* и т. п.) и «мысль, выговоренная впрямую» (см. заключительные строки стихотворения).

На отрицании символически-мистического значения заглавия и утверждении в тексте его не просто нейтрального, общеязыкового, а социально ограниченного, жаргонного значения построено и другое стихотворение Е. Винокурова «Сорок». Слово, вынесенное в заглавие, обозначает не «священное число пифагорейцев», а «мокрый клочок газеты», «тот окурок, которым я затянусь». В результате этой борьбы значений заглавное слово приобретает новое символическое звучание.

Другой тип заглавий — подчеркнуто непоэтические, нетипичные для традиционно поэтической речи. Сюда относятся заглавия, включающие научные термины («Атомы», «Нейтрон» — В. Костров, «Сила тяжести» — Л. Мартынов, «Высокое напряжение» —

П. Антокольский), и производственно-техническую и профессиональную лексику с распространенными в ней аббревиатурами («Террикон» — Л. Мартынов; «На дебаркадере» — В. Кузнецов; «Сверхзадача», «Музкоманда», «Матчасть», «Помкомвзвод» — Е. Винокуров; «Нефтезавод» — В. Костров; «Чайная», «Электросварщики» — В. Соснора; «Политрук» — Б. Слуцкий и т. д.), и разговорную лексику и грамматические формы («По ягоды», «Кассирша» — Е. Евтушенко; «Разговор начистоту» — Ю. Полухин; «Сто грамм» — Е. Винокуров), и слова, обозначающие типично бытовые реалии и рисующие такого же типа ситуации («Сапоги» — Е. Евтушенко; «Холодильник», «Баня» — Б. Слуцкий; «Пьют пиво», «Моя любимая стирала» — Е. Винокуров).

Дело, естественно, не в праве этих слов и словосочетаний на их использование в поэтической речи вообще, и в заглавии в частности, а в том, что слова, входящие в эти заглавия, имеют четкую временную, социальную, профессиональную или прочую оценку, обладают малыми ассоциативными возможностями и потому настраивают на понимание следующего за ними текста как единичного, изолированного от других текстов. Взаимоотношения такого заглавия с текстом стихотворения могут сложиться двояко: текст может преодолеть однозначность и однонаправленность такого заглавия, а может закрепить ее. Таким образом, экспрессия слов-заглавий определяется не столько самим заглавием или следующим за ним текстом, сколько их взаимоотношением.

Третий тип заглавий — заглавия необычные с собственно языковой точки зрения. Такие заглавия экспрессивны уже сами по себе: «Баллада-яблоня», «Противостояние очей», «Лирическая религия», «Больная баллада», «Осенебри», «Длинноного», «Треугольная груша» и т. п. (А. Вознесенский).

Стихотворения с таким заглавием в какой-то мере похожи на стихотворения без заглавий: они не задают ни тему, ни эмоциональный настрой стихотворения (Вознесенский, например, в «Треугольной груше» для указания «тональности» лирического отступления использует второе заглавие: «Иронико-философское», «Архитектурное», «Студенческое, озорное», «Отступление в ритме рок-н-ролла» и т. п.). Но в значительно большей степени, чем отсутствие заглавия, усиливают «ожидание» каждого следующего слова стихотворения, постепенно как бы растворяясь в нем.

Заглавия одного цикла, сборника, поэтического направления или периода обнаруживают взаимное тяготение и складываются в своеобразную лексическую и семантическую систему. Например, значительная часть заглавий Тарковского тяготеет к семантическому полю *жизнь — путь*: «Дом», «Дорога», «В дороге», «Камень на пути», «Первые свидания», «Прохожий», «Беженец», «На берегу», «Посередине мира» и т. д. В сборнике В. Полторацкого «Река жизни» большинство заглавий организуется в две

группы в соответствии с двумя словами, сведенными в заглавии: «Бужа», «Ока», «Над Волгой», «На Дунае», «Пристань», «Светлый берег» и — «Дружба», «Праздник», «Над могилой», «Бессмертие», «Юбилей», «Пережитое», «Возвращение» —, а некоторые возможны сразу в обеих группах («Начало»).

По всей вероятности, многие явления, характерные для поэтической речи как отдельного автора, так и целого направления или периода, стали бы более понятны, если бы мы имели словарь заглавий. См., например, показательные совпадения и противопоставления заглавий у поэтов одного времени, но разных направлений («Стирка белья» А. Тарковского — «Моя любимая стирала» Е. Винокурова; «Вчера и сегодня» Тарковского — «Сегодня и вчера» Б. Слуцкого; «Мой дом» В. Сосноры — «Твой дом» Б. Ахмадулиной; «Поздняя любовь» В. Корнилова — «Первая любовь» К. Ваншенкина и т. п.), а также переклички с заглавиями предшественников («Земля в снегу» А. Блока и «Перед снегом» А. Тарковского, «Камень» О. Мандельштама и «Камень на пути» Тарковского). Независимо от того, что эти совпадения, противопоставления и переклички заглавий могут быть не только сознательными, но и случайными, важно само по себе это «эхо» заглавий, среди которых можно будет выявить такие, которые, «будто отделившись от своих... текстов, ...бродят среди нас, как некие призраки книг» [8]. Эти заглавия становятся своего рода «культурными символами».

Как часть текста, заглавие связано с остальным текстом не только эмоционально или идейно-тематически, но и чисто лингвистически. Стихотворение, лишенное своего заглавия, часто похоже на неполное предложение: С ног не сшибла. Черкнула пером, Словно ласточка, словно птица. И — не вырубишь топором. Не забудешь и не простишь. И какое-то новое семя Осторожно в душе растишь (Б. Слуцкий. «Чужая строка») или на вырванное из контекста предложение с местоимением: Исполнен душевной тревоги, В треухе, с солдатским мешком, По шпалам железной дороги, Шагает он ночью пешком. (Н. Заболоцкий. «Прохожий»).

Заглавие не только придает семантический вес местоимениям и местоименным наречиям, но и «регулирует» семантический объем многих полнозначных слов текста. Так, во взятом без заглавия стихотворении Е. Винокурова: Я не знаю, что там было? Что там будет? Что там есть? Расплылись мои чернила, Не понять и не прочесть... («Письмо») не только «широко» понимается слово *там*, но и *чернила* получают обобщенно-неопределенное значение символа. Заглавие же придает этим словам семантическую четкость и конкретность.

---

[8] *Кржижановский С.* Поэтика заглавий. с. 6.

Естественно и обратное соотношение — неполнота, даже неполноценность, заглавия без текста. Такие, например, заглавия, как «Аморфная», «Откровенная», «Диалектическое» (И. Грудев) без текста понимаются, как независимые в синтаксическом отношении субстантивированные прилагательные. Но в соотнесении с текстом они становятся прилагательными, образующими с существительными текста словосочетания: «Откровенная» — *Капелька, с судьбой открыто споря, Светится, качаясь на ветру, вся собой отображая горе, Или светлой радости слезу.* Аналогично образуются сочетания «Аморфная» — *вода*, «Диалектическое» — *сочетание.*

Синтаксические связи между заглавием и остальным текстом могут быть усилены, а их отсутствие восполнено лексико-семантическими, синтаксическими и фонетическими повторами заглавия в тексте. Заглавие может удваиваться в первой строке: «Охота» — *Охота кончается.* Меня затравили (А. Тарковский); «Баллада точки» — *Баллада*? О точке? О смертной пилюле? (А. Вознесенский).

Хотя в лирике обычны стихотворения и без заглавий, авторы часто дают заглавие по первой строке или ее части, создавая подчеркнутое удвоение. См., например, у И. Лиснянской: «Вот если бы я была уверена», «Заварю я чай покрепче», «Хорошо, что душа...», «И мелется зерно», у Тарковского — «О, только бы привстать» и т. п. Незавершенность синтаксической структуры такого заглавия и пауза между заглавием и первой строкой усиливают ожидание самого текста, который начинается с повтора. Это словесное совпадение заглавия и первой строки при их интонационном и смысловом несовпадении выделяют заглавие. См. «Простите» — *Простите*, Нелюди и люди, Что я казалась вам такой. Незащищенной от иллюзий Даже властительной рукой. Или: «Твои слова...» — *Твои слова.* Те же слова, Но иначе их говоришь (И. Лиснянская).

Заглавие может окольцовывать стих, замыкая его: «Чем пахнет снег» — И остается вместо вех, Бензин, которым *пахнет снег*» (А. Тарковский) или вступая в различного рода семантические отношения с заключительными словами стихотворения: «Темнеет» — И вот уже у нас в предместье — *ночь* (Тарковский) «Прощанье» — Как бы там ни было — *здравствуй*! (В. Соснора). Может насквозь «прошивать» текст: «Красные листья» — *Красные листья, красные листья* бегают, будто *красные лисы*, вдоль переездов железнодорожных, вдоль перелесков по гроздьям морошки, по родникам, прозрачным, как *линзы*, бегают *листья, красные лисы.* Им бы на кленах да на суку, да на черенки паутинки цеплять! *Красные листья* ловят секунды, ловят, как *лисы* ловят цыплят. Бури сорвали *красные листья,* но не втоптали в почву, не втопчут! Бегают *листья* — *красные лисы* с кочки на кочку, мимо шлагбаумов черно-белых бегают, бегают, бегают, бегают...

(В. Соснора). Здесь, помимо утроения заглавия в начале и повторения его дважды далее к тексте, действует еще частичный повтор сочетания, данного в заглавии (*красные — листья*), и варьирование его составляющих (*листья — лисы — линзы*).

В заглавии-словосочетании слова нередко объединяются по звуковому принципу («Лунный внук», «Метели налетели», «Сон подсолнуха» — Л. Мартынов; «Плыл плавный дождь» — А. Межиров; «Соловьи в садах отголосили» — А. Прокофьев; «Мелодия Кирилла и Мефодия» — А. Вознесенский), что приводит иногда к семантическому столкновению связанных таким образом слов: «Баллада-яблоня», «Лирическая религия» (А. Вознесенский).

Однако гораздо важнее то, что благодаря частичному звуковому повтору заглавие активно включается в текст.

Очень распространен этот прием у А. Вознесенского. Соединенные в заглавии стихотворения слова *кроны* и *корни* объединены не только союзом *и*, но и созвучием *кро-* и варьирующимся *н/нь* и соответственно *и/ы*. Но созвучие на этом не затихает, оно опоясывает стихотворение, соединяя заглавие и последнюю строфу: *Леса роняют кроны. Но мощно под землей, Ворочаются корни Корявой пятерней.* Внутри стихотворения заглавие «звучит» слабее, но нигде не затихает полностью: *хоронить — короновать — гранит — красноват — сирень*; 50% ударных гласных приходится на *О* и *И* (*кроны* и *корни*).

Важную роль играет звуковое слияние заглавия и конца текста в стихотворении «Осень в Сигулде». Звукосмысловой комплекс *си* начинает и заканчивает стихотворение (*Сигулде — спасите*), а между ними: *свисаю — сбросили — спасибо — спросила — спасибо — объяснила — сипло — басила — пластинка — спасибо — спасибо*. Происходящее в конце стихотворения превращение *спасибо* в *спасите*, меняющее эмоциональную и семантическую тональность стиха, возвращает нас к заглавию, к слову *осень*, приобретающему драматическое звучание.

Заглавие может быть связано с остальным текстом даже рифмой: «Флейта» — Мне послышался *чей-то* Затихающий зов, Бесприютная *флейта* Из-за гор и лесов (А. Тарковский). Здесь прежде всего в рифмующуюся пару объединяются слово *флейта* заглавия и *чей-то*, а потом уже к ним присоединяется *флейта* третьей строки. Рифменная связь усиливает все иные виды связи заглавия, способствуя его предельной динамизации: «Выпусти птицу» — *Выпустишь птицу* — продавщица — клетка из тиса — *выпусти птицу* — люд сматерится — *выпусти птицу* — из неволи и сытости — *выпусти*, *выпусти* — половицы — *выпусти птицу* — чтоб разрядиться — *выпусти птицу* — в небо синицу — *выпустишь птицу* — наманикюренная десница — над рынком струится, *выпустив птицу* — вместо гостинца — память о птице (А. Вознесенский).

Эти конечные рифмы усилены начальными: *выпусти — пусты — пусть — выпусти.*

Как видим, характер отношений между заглавием и текстом сложен и многообразен и, естественно, никак не исчерпывается описанными выше случаями. Заглавия в лирике — не просто различительные знаки, а неотъемлемая часть текста, подчеркивающая в нем главное. Небрежность по отношению к заглавию, наблюдающаяся у некоторых авторов (об этом писал еще С. Кржижановский, и это подтверждается современным материалом), нисколько не умаляет значение заглавия как категории поэтики.

ОБ ОБРАТИМОСТИ ТРОПОВ

Н. А. КОЖЕВНИКОВА

Мысль о внутренней связи разных видов тропа, в первую очередь метафоры и сравнения, высказанная еще в античности [1], получила развитие в русской филологии начала XX в. Экспериментируя с сочетаниями *туча, как гора, грозные очи, белая, острая луна*, А. Белый создает на их основе цепь взаимосвязанных в смысловом отношении, но по-разному структурно оформленных тропов и приходит к выводу о том, что «формы изобразительности неотделимы друг от друга; они переходят одна в другую», а «один и тот же процесс живописания, претерпевая различные фазы, предстает нам то как эпитет, то как сравнение, то как синекдоха, то как метонимия, то как метафора в тесном смысле» [2].

В художественной литературе наглядно представлен один из типов взаимоотношения между разноструктурными тропами — взаимодействие сравнений и метафор.

В русской классической литературе обратимость тропов как художественный прием использовалась редко. У Гоголя встречается переход от сравнения к метафоре-сравнению [3]: *уста-рубины, готовые усмехнуться — рубины уст* и переход от сравнения к метафорическому эпитету: *выставилась шпага, походившая на шпиц, торчавший в воздухе — лучи солнца... играя на шпажном шпице.* В «Мертвых душах» в небольшом фрагменте совмещен переход от метафорического эпитета к метафоре-загадке и от сравнения к метафоре-загадке: ...весьма странный экипаж. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а был скорее похож на *толстощекий* выпуклый *арбуз*, поставленный на колеса. *Щеки* этого *арбуза*, то есть дверцы ... затворялись очень плохо ... *арбуз* был набит ситцевыми подушками...

Переход от сравнения к метафоре эпизодически встречается и у других писателей: *Дым* поднимался *столбами* в чистом воздухе. Огня пожаров нигде не было видно, но со всех сторон поднимались *столбы дыма* (Толстой, Война и мир); Известная некогда *красавица и* всероссийская *умница*, давным-давно *превратившаяся в* дрянной *сморчок* — высохший *сморчок* упомянул было о славянских княжествах (Тургенев, Дым). У Лескова на основе сравнения *он напоминал бычка* возникает метафора, которая

---

[1] Античные теории языка и стиля. М.—Л., ОГИЗ — Соцэкгиз, 1936, с. 216, 219.

[2] *Белый А.* Символизм. М., Мусагет, 1910, с. 446.

[3] *Левин Ю. И.* Структура русской метафоры. Труды по знаковым системам, II. Тарту, 1965, с. 293.

несколько раз появляется для обозначения персонажа: В больших карих глазах у *бычка* как раз светилось отражение большой, свежеперенесенной и тяжкой обиды — *бычок* махнул головою в сторону и начал (Колыванский муж). В конце рассказа вновь появляется сравнение: *Он, как бычок*, окончательно отмахнул головою и от Москвы и от Калуги и кончил свой курс немцем.

Значительно более активно используются взаимосвязанные тропы в литературе начала XX в. В поэзии этого времени разноструктурные тропы, передающие один и тот же образ, встречаются, как правило, в разных стихотворениях. Преобразования тропов внутри стихотворения редки. Например, У Блока: *Луч* вонзился в прожженное сердце стекла, *как игла* — Золотая *игла*! Исполинским *лучом* пораженная мгла! (Гимн); На тонкой мачте — маленький *фонарь*, *Что* драгоценный *камень фероньеры* Горит над матовым челом небес — мы глядим *на* драгоценный *камень фероньеры*, Горящий в смуглых сумерках чела (В Северном море). Переход от сравнения к метафоре осложняется у Блока реализацией метафоры: Вон, *точно карты*, полукругом Расходятся *огни*. Гадай, дитя, *по картам ночи*, Где твой маяк (Болотистым пустынным лугом).

У Белого ряд образуют метафорический эпитет, метафора-загадка и сравнение: *Слезными росами* праздно прыснет... И хочет его молодая осинка *Слезами* своими окапать; Мой посох *Во слезах — Во серебряных росах* (Осинка). В стихотворении Брюсова «Ангел бледный» также содержится редкий случай перехода от метафоры к сравнению: *Звезд вечерние алмазы* Над тобой горят светлее — *Звезды ярки, как алмаза грани*.

Основное применение преобразования тропов находят в прозе, в первую очередь в прозе А. Белого, у которого они более или менее последовательно проходят через все творчество, начиная от прозаических фрагментов в сборнике «Золото в лазури» до последнего романа «Маски». Обратимые тропы, возникшие в творчестве Белого, по-видимому, без влияния Гоголя, в «Серебряном голубе» — в период увлечения Гоголем — приобретают опору в гоголевском словоупотреблении. Хотя прием совпадает, функция его у Белого существенно меняется: обратимые тропы становятся одним из важных средств организации текста, одной из основ его лейтмотивной структуры.

Даже в литературе начала XX в. сфера распространения приема шире, нежели проза Белого и во многом следовавшего ему Замятина. Прием как бы носится в воздухе и появляется в разных системах словоупотребления. Например, в рассказе Л. Андреева «Оригинальный человек» встречается такое построение: Мисс Коррайт, у которой *белки глаз* были, *как* глубокие *тарелки* — мисс Коррайт во все стороны двигала своими *тарелка-*

ми — вертящиеся белые *тарелки*. Переходы от сравнения к метафоре — довольно распространенный прием в прозе раннего Пришвина («За волшебным колобком»).

В прозе 20-х годов прием встречается прежде всего у тех писателей, чье творчество в той или иной степени связано с орнаментализмом, хотя область его использования не только орнаментальная проза, но вообще проза поэтическая в самом широком смысле этого слова. У одних писателей (например, у Горького, Шолохова) превращения тропов очень редки, у других они представляют собой одну из заметных особенностей словоупотребления (Серафимович «Железный поток», Федин «Города и годы», Вс. Иванов «Цветные ветра», Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»[4]).

Распространение взаимосвязанных тропов в орнаментальной прозе вызвано своеобразным поэтическим характером слова, его незамкнутостью, обращенностью к другому слову. Слово, словосочетание, фраза, целая сцена, а в данном случае троп обращены не только к определенному участку изображаемой действительности, но и к своим соответствиям и подобиям в тексте, либо предваряя их, либо возвращая к ним, в результате чего возникает сложная лейтмотивная структура произведения. В перекликающихся тропах выражается, с одной стороны, свойственное орнаментальной прозе тяготение к непрямому обозначению реалий, с другой, к множественности и вариативности обозначений одного и того же. Предмет не только не существует замкнуто, в своей непосредственной данности, но уже преображенный продолжает рассматриваться в разных ракурсах.

Хотя в принципе могут быть использованы все способы выражения сравнений и метафор, в том числе и метафорический эпитет, развернутые ряды соотнесенных тропов не распространены. Даже у Белого, который увлекался этим приемом, длинный ряд преобразований встречается только в публицистике: *заря ...напоминала леопардовую шкуру — леопардовая шкура зари — леопардовая шкура — леопардовая заря — леопардовая заревая шкура*. Как правило, из всей возможной цепи тропов используется лишь два или три ее звена. Во II Симфонии Белого то же сопоставление зари с леопардовой шкурой выглядит так: На желто-красном фоне были серые пятна. *Точно леопардовая шкура* протянулась на западе — *леопардовая шкура* протянулась на западе.

Смысловое движение между перекликающимися тропами происходит, как правило, в одном направлении — от прямого сопо-

[4] Некоторые превращения тропов в этом романе Тынянова рассмотрены в статье Р. А. Будагова «Метафора и сравнение в контексте художественного целого» (Русская речь, 1973, № 1, с. 26—31).

ставления к его скрытому выражению, поэтому и соотношения между тропами носят более или менее однотипный и упорядоченный характер. Исходной точкой преобразования становятся те разновидности тропа, в которых смысловые отношения между его частями наиболее прояснены, выражены более четко, нежели в его производных. Это в первую очередь сравнение, которое может быть выражено не только сравнительным оборотом, творительным или именительным сравнения, но и оборотами *похожий на*, *превратившийся в* и разными нестандартизованными оборотами, выражающими идею сравнения. Гораздо реже отправной точкой преобразований становятся метафора-сравнение и метафорический эпитет.

Разные тропы, передающие один и тот же образ, отличаются друг от друга соотношениями прямого и непрямого обозначения исходной реалии. В сравнении и метафорическом эпитете прямое обозначение присутствует как независимое, в метафоре-сравнении оно представляет единство с метафорической заменой, в метафоре-загадке прямое обозначение вытеснено метафорическим. С этим связан и разный эффект соотнесенных тропов, который определен степенью понятности метафоры в узком контексте и меняется в зависимости от выбора и соотношения конструкций.

Самый простой тип преобразования — переход от сравнения к метафоре-сравнению. Прямое обозначение реалии присутствует в обоих разновидностях тропа: *Ровный*, *как* отточенная *сталь*, *ветер* звенит по лицу — режущая *сталь ветра*; пыльные, мягкие, *как перина*, улицы — лошади копытами выбивали *пыльную перину улиц* (Федин), глаза маленькие, *похожие на картечь — картечины глаз — глаза-картечины* (Шолохов).

Аналогичным образом дело обстоит и тогда, когда метафора-сравнение сменяет метафорический эпитет или, наоборот, сменяется им: На рыхло-бледном лице зияли *резиново-красные* уста — заплясала *резина губ* на лице его спутника, текли резвой струей *васильки* угарного *газа — темно-васильковые* угарные *газы* (Белый).

Если сравнение или метафорический эпитет преобразуется в метафору-сравнение, связь между прямым и непрямым обозначением реалии существует в явном виде, лишь по-разному структурно оформляясь. Связь между прямым и непрямым обозначением до конца не порывается и в некоторых других случаях: *Огонь фонаря*, вздрагивая, шевелил желтыми лучами, *как* большой жирный *паук* — дрожал в стеклянной паутине огненный *паук* (Горький). Такие соотношения между разноструктурными тропами встречаются в орнаментальной прозе сравнительно редко.

Гораздо чаще связь между прямым и непрямым обозначением разрывается, в контакт с разноструктурными тропами всту-

пает метафора-загадка, которая входит в разнообразные пары и цепи: метафора-сравнение — метафора-загадка: *лезвия глаз — блеснул лезвиями* из-под опущенных век — *сверкали лезвия* — к ночи раскрывшиеся *лезвия глаз* на шерстяной морде (Замятин); *темное стекло густой воды* — неотрывно смотрели на *густое стекло*, искали воспаленными глазами парус (Лавренев); *пустыня стола — пустыня* (Федин); метафорический эпитет — метафора-сравнение — метафора-загадка: *игольчатые ледяные глаза* — равнодушно вскинул на Орлова *ледяшки глаз — синие ледяшки* были одно время тусклыми и непонимающими (Лавренев); сравнение — метафора-сравнение — метафора-загадка: очи, *зеленым огнем* теперь блеснувшие,— *уголья*, прожигающие душу до тла — зеленые *уголья глаз* — глядит на него *горящими угольями* (Белый).

Если превращение тропов начинается с метафоры-загадки, она непосредственно соотносится с прямым обозначением: Голубоватые *лучи фонаря* висели в тылу человека. *Две* голубоватые *луны*, не грея и дразня, горели на платформе — Играла Венера красноватая, а от голубой *луны фонаря* временами поблескивала на груди человека ответная звезда (Булгаков).

Более всего в орнаментальной прозе распространена смена сравнения метафорой-загадкой.

1) Сравнение выражено сравнительным оборотом: *Как* немазаная *телега*, захрипел *голос* — старик сразу согнал морщинки..., и опять на всю степь захрипела немазаная *телега*; На громадных ресницах, *как* красные *слезы*, дрожали капли крови — На ресницах висли новые красные *слезы* (Серафимович); Эта *лавка — как коробочка* любознательного и важного мальчика, из которого выйдет профессор ботаники — Нету,— отвечает Гедали, навешивая замок на свою *коробочку* (Бабель); *Сумерки* в осень закрывают золотую землю, *как вьюшка* печную трубу — *Вьюшка* небесная прикрыла землю (Пильняк), на передке, *как пень*, *мужичонко* — оглянулся *пень* с передка, сморкнулся и опять к ленточкам прильнул — протянул *пенек*: Тпру-у! — Коричнево-серый *пенек* на передке, спустив вожжи, дремал (Вс. Иванов).

2) Метафора-загадка сменяет сравнение, выраженное творительным падежом, предполагающее более тесные смысловые отношения между членами сравнения, нежели сравнительный оборот: *шматками пакли* — усы, *шматками пакли — брови* — Солдат обернулся и *шматки пакли* упали на глаза (Гладков); Перевалились *слонами* грузовые *автомобили — Слоны* налетали друг на друга, рыча и встряхивая клади на своих спинах; внезапно проснулось непробудное добро, и друг перед другом *люди* распахнулись *весенними окнами — Весенние окна*, распахнувшиеся навстречу друг другу при первом вскрике радости, внезапно захлопнулись ставнями на кованых болтах (Федин).

Подобные же преобразования происходят и тогда, когда сравнение выражено каким-нибудь иным способом: ...вижу *девушку, похожую на Гедду Габлер* — Человек пять моряков за столиками, очень нетрезвых, шумят, и в центре их *Гедда Габлер* (Пришвин); С высоты то, что я вижу вместо *катера, похоже* по форме *на* гигантскую, разрезанную *миндалину. Миндалина* скрывается под мостом (Олеша).

В орнаментальной прозе встречается, в частности, переход от сравнения человека с животным к метафоре, напоминающий знаменитое толстовское уподобление Сони кошке, вслед за которым появляется метафора: Плавностью движений, мягкостью и гибкостью маленьких членов и несколько хитрою и сдержанною манерой *она напоминала* красивого, но еще не сформировавшегося *котенка, который будет* прелестною *кошечкой.* ...видно было, что *кошечка* присела только для того, чтобы еще энергичней прыгнуть и заиграть с своим cousin (Война и мир). Метафора появляется для обозначения Сони и впоследствии: Соня? — подумала она, глядя на спящую свернувшуюся *кошечку* с ее огромной косой... (ср. в эпилоге «Войны и мира»: *она, как кошка,* прижилась не к людям, а к дому).

Аналогичны переходы, например: Француз... обнимал за талию примостившуюся у него на коленях тихонькую *женщину, похожую на* белую гладкую *кошку* — Дай папиросу, французик,— мяукнула неожиданно *кошечка,* свернувшаяся на коленях Леона (Лавренев); Вошел *похожий на* бесхвостого *хорька* капитан.— Слушаю,— любопытно глядя, ответил *хорек.*— Любопытные огни заиграли в глазах *хорька* (Булгаков); ср.: *В* первом *человеке* все *было волчье* — на голове *у волка* была папаха... — *Волк* вынул из кармана черный, смазанный машинным маслом браунинг и направил его на Василису — Оружие-е? — спросил *волк.*

Преобразования могут касаться не только прямого обозначения, но захватывать и его ближайшее окружение. Уже рассмотренные типы соотношения тропов осложняются: *Похожая на* яичную *скорлупу, телега* с хрустом перекатилась через железнодорожный переезд — Плыли они по неукатанным улицам *в* хрустящей *скорлупке* (Федин).

Развитие образа во всех этих случаях однонаправленно — все тропы при разном формальном выражении основаны па одном общем признаке, имеют единое общее значение. Не выходя за пределы преобразования одного и того же сопоставления, которое приобретает разное структурное оформление, вариации одного и того же позволяют увидеть объект сопоставления в слегка измененных ракурсах, так как на первый план выдвигается то прямое обозначение предмета, то метафорическое его замещение.

Преобладание метафор-загадок над метафорами-сравнениями связано прежде всего с разными возможностями этих разновид-

ностей тропа: не всякое сравнение имеет два метафорических соответствия. Возникновению некоторых метафор-сравнений препятствуют семантические ограничения. Трудно себе представить метафоры-сравнения, возникшие на основе сравнения человека с животным, пнем и т. д., в то время как метафоры-загадки возникают на основе таких сравнений беспрепятственно.

Распространение в орнаментальной прозе именно метафор-загадок, кроме того, связано и с сущностью этой разновидности метафоры, с ее основным свойством, которое и легло в основу ее обозначения, и с общим отношением к слову. Метафора такого типа вызывает больший или меньший эффект остранения, который и существен для орнаментальной прозы, где связи между словом и реалией смещены, а отношения между словами принципиально перепутаны: *Кочка* — осокистая *голова*, *кочки* — лохматые *руки* — Лохматую *кочку* наклонил к Калистрату Ефимычу (Вс. Иванов). В орнаментальной прозе встречаются даже перевернутые отношения между обозначениями, объединенными сравнением — в сравнении дано прямое обозначение предмета. У Вс. Иванова вслед за сравнением *копна*, *похожая на лошадиную голову*, идет метафора, проясняющая связи между реалиями: фыркает *копна*.

Сдвинутость отношений между словом и реалией в разной мере обнажена в разных типах контекстов. Соотнесенные в пределах развернутых отрезков текста, тропы в то же время могут быть не связаны со своим непосредственным окружением: прилагательные и глаголы, относящиеся к метафоре, сохраняют связь с прямым обозначением. Если связи метафоры с окружающим контекстом нарочито оборваны, реалия может быть во многих случаях восстановлена и без соотнесения со сравнением: По второму ярусу *каменного солдата* протянулось синим пояском железное уведомление: помещаются тут трактир, постоялый двор и меблированные комнаты — Был и без того *дом* тот в дряхлости своей столетней крепок, *как* старый николаевский *солдат* (Леонов); ...Поглядел на него *морской водой* доктор — Его приветствовала водянистая улыбка и *глаза*, выразительные, *как морская вода* (Тынянов).

В тех же произведениях существует и другой тип контекстов. Вырванные из контекста фразы на первый взгляд могут казаться непосредственно направленными на предмет, но эта иллюзия разрушается, как только они вписываются в широкий контекст и рассматриваются на фоне предшествующего: Разоблаченный *из мантии*, он был неправдоподобен; ср.: *Шуба* волочилась, *как мантия* (Тынянов).

В контекстах этого рода наглядно обнаруживается зависимость, существующая между разноструктурными тропами. Хотя формально происходит только переход от сравнения к метафоре,

соотношения между тропами таковы, что метафора не самодостаточна, она предполагает соотнесенность со сравнением, возвращение к нему, т. е. и обратное преобразование метафоры в сравнение. Если метафора-сравнение независима от соответствующего сравнения, то метафора-загадка в некоторых случаях связана с ним очень тесно.

Возвращение к исходному тропу предполагают и те сочетания, в которых метафора связана с прямым обозначением далекой и скрытой ассоциативной связью, например тыняновское сочетание *полемические штиблеты* (ср.: Палевые *штиблеты звучали* резко, *как* журнальная *полемика*).

Рассмотренные случаи использования обратимых тропов образуют устойчивый центр, в который входят типичные способы их преобразования. В то же время существуют и преобразования, которые развития не получают, но свидетельствуют о стремлении расширить возможности приема. Расширение это идет в разных направлениях, касаясь и структуры тропов, и их смыслового наполнения. Помимо обычного перехода от сравнения к метафоре встречаются и довольно редкие переходы от метафоры к сравнению: *Поморгает* на мамочку *суриком* переполненных *глаз* — Едким *разрезом* раскосых, китайских *глазенок*, кроваво налитых, *как суриком*, вдруг *подморгнет* (Белый). В цепь преобразований включается глагольная метафора: ...Выходила на берег высматривать, *не закрылится* ли косым летом ожидаемый *парус* — Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, *он* несся по воде *крылом* веселой птицы — под розово-желтым *крылом* выплыл из сини черный низкий корпус (Лавренев).

Прямолинейное движение от сравнения к метафоре осложняется метонимическими переносами: — Ась? — скрипнул из-за угла *медник, как* немазаная *телега* — Отозвалась и немазаная *телега* — *Заскрипел медник, будто* немазаная телега — Вдруг у самого носа слышит знакомый *голос, хриплый, как* немазаная *телега* (Белый); Мой консул вдруг превращается в прекрасную девушку... с *глазами цвета лиловых колокольчиков* — Лиловые *колокольчики* улыбаются — *Колокольчики* молчат (Пришвин).

Признак, на основе которого возникают разноструктурные тропы, как правило, постоянный, может терять устойчивость. По мере перехода от одного вида тропа к другому происходит не только смена конструкции, но и смена признака: Помещение это сырое и темное, *как в сапоге* здесь: потолки висят тяжко, гнетут потолки: весь дом на нижнем этаже, *как на сапогах* стоит. Разделены *сапоги* длинными сквозными воротами (Леонов).

Разнообразные смысловые вариации слова связаны с текучестью слова в прозе тех лет — один и тот же признак или действие распространяется на широкий круг предметов, близких и далеких, объединенных смежностью или чисто ассоциативными

субъективными связями, в результате чего на первый план выходит то одно, то другое смысловое наполнение слова.

Иногда в пределах небольшого контекста сталкиваются два пересекающихся ряда тропов, содержащих разные прямые обозначения при одинаковом непрямом эквиваленте. Это усложняет смысловое движение текста, так как точки соприкосновения устанавливаются не только внутри ряда, но и между рядами. В романе А. Белого «Петербург» обозначение *куб* относится попеременно то к домам, то к карете: *Дома* сливались *кубами* в планомерный пятиэтажный ряд — Вдохновение овладевало душою сенатора, как стрелою линию Невского разрезал его лакированный *куб* — черный *куб кареты* — черновато-серые *домовые кубы* — Аполлон Аполлонович наслаждался подолгу без дум четырехугольными стенками, пребывая в центре черного, совершенного и атласом затянутого *куба*.

Один и тот же образ может последовательно прилагаться к разным реалиям: Он подошел к рампе и вызывающе взмахнул головой *перед* пустым *мешком зрительного зала*; *В* черной глубине *мешка* одиноко замер жалкий, красноватый огонек — *Сцена* тоже имела что-то общее с раздутым *мешком* — В пустом *мешке сцены* непрерывно и гулко, вперебой звучали их голоса — Он смотрел *в мешок тьмы*, на красную точку огня, поискал чего-то в тусклом сумраке сцены (Горький).

Подобное распространение единого образа на разные предметы имеет аналогию у Гоголя, хотя и не развертывается у него в серию обратимых тропов. Имеется в виду сравнение Собакевича с медведем, за которым следует метафора *медведь*! *совершенный медведь*!, развивающаяся и дальше: Родился ли ты уж так *медведем*, или *омедведила* тебя захолустная жизнь. От исходного сопоставления ответвляются боковые линии: Фрак на нем был совершенно *медвежьего* цвета, в углу стояло ореховое бюро на пренелепых ногах, совершенный *медведь*.

Одна из форм соотношения перекликающихся тропов в тексте — непосредственное их следование друг за другом: Выбивалось пламя и пропадало в гигантских *веретенах пыли*. *Пыльные веретена* неслись по городу и вертелись (Ремизов). Перекликающиеся тропы могут быть сосредоточены в небольшом, легко обозримом фрагменте текста — в абзаце или рядом стоящих абзацах. Их внутренняя связь в этих случаях лежит на поверхности, но и действие их распространяется только на эти небольшие фрагменты, в них исчерпываясь. Для орнаментальной прозы не менее характерно разъединение тропов, которые оказываются отделенными друг от друга большими фрагментами текста. Чем больше соотнесенные тропы оторваны друг от друга, тем больше их объединяющая роль в тексте. Связывая оторванные друг от друга фрагменты, соотнесенные тропы включаются в специфи-

ческую структуру текста, основанную на повторах, перекличках, лейтмотивах.

Поскольку превращения тропов — одна из форм выражения множественности и вариативности обозначений одной и той же реалии, преобразования тропов используются не только самостоятельно, но составляют отдельные звенья в цепи разнородных обозначений предмета: Рыча гигантскими гусеницами, ползли *глыбастые суставчатые танки* — Тупо и лениво ползли *суставчатые* серые *громады* в синь озер — *Глыбастые громады*, огрызаясь пулеметами, отползали назад — Пешие настигали его железом, сбыченными лбами, *глыбами танков* (Малышкин).

Преобразование сравнения в метафору часто сопровождается повторением метафоры. На основе повторяющейся метафоры возникает сквозная деталь. Специфичность орнаментальной прозы в том, что для нее характерна не просто повторяющаяся деталь, но именно деталь, возникшая на основе тропа. Например, в «Островитянах» Замятина на основе сравнения губ с червями возникает устойчивая метафора *черви*, которая сопровождает персонажа на протяжении всего повествования.

Вспышка интереса к трансформации тропов падает на литературу 20-х годов. В литературе последующего времени, когда лейтмотивность как основной принцип организации текста теряет актуальность или приобретает не столь обнаженные формы, интерес к этому приему угасает. Это, однако, не значит, что прием исчерпал себя и не сможет стать активным в рамках иной системы словоупотребления. Об этом свидетельствуют те, хотя и немногочисленные факты превращения тропов, которые встречаются в современной прозе, гораздо более простой и строгой, нежели проза орнаментальная. Ср.: *голова* продолговатая, *как дынька — дынька* крошечной *головы* (В. Катаев); неподвижные серые *глаза* были *как две заслонки* — слезы, покатившиеся *из-за заслонок*»; маленький, быстрый, *как оса*, «*мессершмитт*» — вьющаяся в небе страшная *стальная оса* (Симонов).

Хотя сжатость стихотворного пространства, по-видимому, мешает развитию этого приема, он встречается и в современной поэзии: *Абажуры* на блестящих ножках алели изнутри, *Как* горные *тюльпаны* — Красные *тюльпаны* зажигали по залу венчики огней (Кс. Некрасова); ...горячий *воздух Качается*, *как люлька* над тобой, И вдруг находишь странный угол чувств: Есть в этой *люльке* щель, и сквозь нее Проходит холод запредельный (Тарковский); На острове плоском, где дышат сквозь сон Лишь травы одни да каменья, *Как сказка*, *возникло* из давних времен Красы небывалой *виденье*. *А сказку* рубил деревенский топор, Простые мужицкие руки (Вс. Рождественский).

Возможность дальнейшей жизни приема заложена в самой его природе — в неразрывности связи сравнения и метафоры.

СРАВНЕНИЯ ОБЩЕЯЗЫКОВОГО ТИПА В АСПЕКТЕ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИДИОЛЕКТОВ

Е. А. НЕКРАСОВА

Сопоставительный анализ поэтических идиолектов и идиостилей предполагает прежде всего выявление параметров, по которым можно проводить сопоставление. Один из таких параметров — отношение поэтов к общеязыковым художественно-экспрессивным средствам, среди которых существенное место занимают сравнения общеязыкового типа. В специфике их использования прослеживается как отношение поэта к конкретному тропу, так и общий характер освоения художественно-экспрессивных средств, конструирующих образную систему художника.

Общеязыковыми сравнениями мы называем довольно обширный класс приближающихся к идиомам сравнений со стертостью образного потенциала, включающий и сравнения общехудожественного типа, так называемые общехудожественные штампы. В таком расширенном понимании термина мы следуем за практикой лексикографической подачи сравнений в семнадцатитомном академическом Словаре русского литературного языка (далее — Ак17), в котором при одной и той же помете (в сравн.) помещаются как сравнения типа *белый, как снег, как собака, умереть*, так и сравнения типа *как щит* (широкий), *как роза* (прелестна). В дальнейшем изложении мы будем опираться на указания Ак17, в необходимых случаях в скобках называя сравнения, отмеченные в словаре. В случае отсутствия лексикографически выделенного признака, по которому проводится сравнение (а такой описательный способ наиболее характерен для этого словаря), будем называть конкретное слово, к которому в приведенной словарем цитате относится собственно сравнение. При отсутствии в Ак17 каких-либо указаний на анализируемые ниже факты, а также при характеристике сравнений общеязыкового типа, претерпевших те или иные контекстные преобразования, создающие как бы индивидуальный вариант соответствующего общеязыкового сравнения, нам придется пользоваться собственным представлением о степени стертости образной экспрессии в том или ином сравнении.

Оставляя в стороне возможную критику лексикографической интерпретации отдельных сравнений в Ак17, подчеркнем, что наша цель — проследить характер использования в поэзии сравнений, принадлежащих к общеязыковому тропеическому фонду, независимо от того, стали эти сравнения общеязыковыми в узком значении данного термина или их можно еще отнести к сфере

общепоэтической образности (эта граница, видимо, никогда не может быть проведена достаточно однозначно).

Ограничим материал только сравнениями, выраженными сравнительными оборотами с союзной связью в пределах лирических жанров, исключая поэмы[1]. Под интересующим нас углом зрения ниже анализируются некоторые сборники А. Вознесенского, Е. Винокурова и Н. Матвеевой, широко использующих экспрессивные возможности сравнений.

В творчестве А. Вознесенского сравнениям часто отдается предпочтение перед другими способами поэтического словопреобразования (метафоричность сравнений условно считаем за один художественный прием). Как мы увидим в дальнейшем, А. Вознесенский избегает общеязыковых сравнений[2]. При этом показательно, что от сборника к сборнику количество таких сравнений заметно сокращается.

В раннем сб. «Антимиры» сравнения общеязыкового типа еще относительно многочисленны: Шеф ржет, *как мерин* (6)[3]; Мой Рено — *как игрушка*... (26); Он дышит, *как лошадь* (54); Ой, в избушку, *Как из пушки*, во весь дух: — Ух!... (99); Столпотворенье, *как в аду* (157); Царь страшон: *точно кляча*, тощий... (171); Пальцы в щеки впились, *как клещи*... (171); ...добр, *как бог*... (87); Чудной *как цуцик* (80); «Вы Америка?» — спрошу, *как идиот* (73). Особо выделим общеязыковые фразеологизмы, включающие элементы сравнения: Мои дела — *как сажа бела*... (81) и Мой напарник, *как ошпаренный*, Садится на матрас. (71)[4]. Для полноты картины и для дальнейших сопоставлений приведем также сравнения общеязыкового типа, которые подверглись существенным контекстным преобразованиям: И обычно надменно белая маска замкнутого лица покатилась над гобеленами, просветлённая, *как слеза*... (76), (ср.: *как слеза* чистый); И нос *точно клубень*... (127), (ср.: *нос картошкой*).

В следующем сб. «Ахиллесово сердце» при явном уменьшении общего количества общеязыковых сравнений несколько увеличивается удельный вес их переработанных вариантов. Сравнения общеязыкового типа: Ты же один, *как перст*... (11); Несемся в машине *как черти* (41); нас лупят, *точно клячу*... (161); К нам, *точно кошка*, в каюту войдет затосковавшая проводница (43).

[1] Исключение сделано для двух произведений Н. Матвеевой: это произведения лирического жанра «Греция» и «Шпалы» (сб. «Ласточкина школа»), охарактеризованные автором как поэмы.

[2] Анализировались сборники: «Антимиры» (М., 1964), «Ахиллесово сердце» (М., 1966), «Тень звука» (М., 1970), «Взгляд» (М., 1972).

[3] Цифра в скобках обозначает соответствующую страницу сборника. Пунктуация источников всюду сохраняется.

[4] Следует сразу же предупредить читателя, что приводятся не все сравнения данного типа, а лишь их представительное большинство, в которое не входят отдельные сомнительные, с этой точки зрения, примеры.

Переработанные поэтом варианты общеязыковых сравнений: Продырявленный *точно решета*, утешаю ажиотаж... (9) (ср.: сквозить, *как решето*); *как ребенок*, будильник орет! (16) (ср.: заплакать, *как ребенок*); Кассирша, *как тесто*, Вздымалась из кассы (105) (ср.: вздуться, *как тесто*); *Мы* — битники. Среди хулы мы — *как звереныши*, волчата (107).

В сб. «Тень звука» общеязыковой пласт представлен еще менее: кричат, *как эхо*... (60); Уплотненность, *как в аду* (24). Видоизмененные общеязыковые сравнения: А я друзей и городов бегу *как бешеная сука*... (49) (ср.: *как бешеная собака*); Ноги, прелести творенья, этажами — *как поленья* (24); висит над весами, *как гиря*, пустынных окон чернота... (38); А кошка, злая, *как оса*... (74), (ср.: язвительный, *точно оса*).

Соотношение общеязыковых сравнений и их художественно переработанных вариантов убедительно показывает, как поэт отталкивается от сравнений со стертой образностью. К такому же выводу приводит и анализ употребления сравнений данного типа в сб. «Взгляд», последнем из анализируемых сборников. Здесь практически нет общеязыковых сравнений[5], поэтому сразу приведем сравнения, в которых ощущается общеязыковая основа, в той или иной степени переработанная автором: я лгал, *как змея* (7), (ср.: шипит, *как змея*); И мой олимпийский мозг впечатан в металл, *как в воск* (21) (ср.: мягкий, *как воск*); Синий взгляд *как пробка* вылетит из-под век... (30) (ср.: выскочить, *как пробка*); воротничок... забьется *как флажок*... (95) (ср.: взмахнуть, *как флажком*); хрупки, *как хрусталь*, изразцы (54) (ср.: прозрачный, *как хрусталь*; тонкий, *как стекло*).

Характер метафоричности многих сравнений А. Вознесенского настолько сложен, что требует специального изучения. Для наших целей здесь важно только подчеркнуть, что метафоричность глубоко «потрясает» семантику слова в сравнениях поэта, существенно перестраивая ее. Например, в сб. «Антимиры»: Что-то в нас смениться хочет? Мы, *как Время*, настаем. (29); В отелях лунных, *как олени*... (150); мы — дети тех гитар отважных и дрожащих между подруг дражайших неверных, *как янтарь*... (103). Кроме того, напомним такие особенности идиолекта А. Вознесенского (рассматриваемые в другом месте), как соединение в один блок сравнений, разнохарактерных по лексическому смыслу и грамматической форме, например: *Как звездопад*, в поту, Его спина дымилась *Буханкой* на поду! ... (122) — и практическое отсутствие в поэзии А. Вознесенского сравнений в повторах.

Среди особо заметных индивидуальных сравнений крайне редкие общеязыковые сравнения совершенно теряются (пример-

[5] Сочетания как *паинька* (37) и как *смоль* (46) рассматриваем как идиомы.

ное отношение общеязыковых сравнений к общему числу сравнений с союзной связью в сб. «Антимиры» — 10 к 270) и не принимают сколько-нибудь заметного участия в создании индивидуального стиля автора. Значимым оказывается практическое отсутствие таких сравнений в произведениях поэта.

В этом плане А. Вознесенский противостоит Е. Винокурову, в стихах которого прежде всего используется художественная экспрессия сравнений, близких к общеязыковым. Остановимся на анализе сб. «Метафоры» [6]. Назовем ряд общеязыковых сравнений: Кругло оно (тело) *как голыш*, Гладко оно *как стекло* (22); Не умирать же *как собаке* Мужчине злым холостяком ... (47); А слово вбито, *точно кол* (77); Здесь все просеяно, *как в сито*... (77); Он *слозно птичка* весь в сетях Меж дел плачевных... (105); Тебя резнет, *как бритвой*... (121); а человек *что вошь*... (49). К ним близки сравнения, содержащие самоочевидные уточнения предмета сравнения: Нос расплющен, *как в боксе*... (88); А по цели, *как в тире*, Бей с усмешкой злой... (89); *Слоено месяц постился*,— Нос его заострен (97).

Столь же широко, если не шире, в сб. «Метафоры» представлены общеязыковые сравнения, переработанные автором. Вот некоторые из них: Мы в футбол забивали, *Как дети*,— в одни «ворота» (16); По камере *как ферт* пройдясь... (18) (ср.: *пройтись фертом*); Оно (о молоке) белит *как снег* планету... (33) (ср.: *белый, как снег*); И презираю, *как щенка*! ... (48) (ср.: отбросить, *как щенка*); и *как* в бочке *муха* Почить навеки в золотом меду (49) (ср.: *липнет, как муха*); Чтобы я сделался ручным, Податливым, *как бобик* (70); юность сквозь пальцы *Как будто песок* протекла (17) (ср.: *рассыпаться песком*); *Как бобик* во дворе, Свернувшаяся мошка Уснула в янтаре (95); Средь грязи, *как собаке*, Смерть принять не с руки... (114); ср.: *жить, умереть, как собака.*

Принципиально важным для уяснения стиля Е. Винокурова в целом является характер употребления им индивидуально-художественных сравнений на фоне приведенных выше сравнений общеязыкового типа; дело в том, что метафоры Е. Винокурова, затрагивающие сравнительные конструкции, как правило, оставляют впечатление приглушенных, сниженных, что, по нашему представлению, и создает основной «нормативный» тон его поэзии. Перечислим основные случаи сравнений с метафоризацией признака сравнения: Мы жили, вдруг скиснувши, но Вдруг искрясь, *как в бокале Искрится при лампе вино.* (14); *Как* радужные *водоросли со дна*, Она (фантазия) встает... (24); Однообразный, однозвучный, *как на основе ткацкой нить, быт*... (26);

[6] Анализировались сборники «Метафоры» (М., 1972), «В силу вещей» (М., 1973).

Молодость, *точно светило*, почти Там на черте: «Я вас скоро покину!...» (51); А беспокойная родня Пилила то и дело, *Как будто лобзиком* меня Все выпилить хотела (70); Чтоб (я) был разварист, *как сухарь* В стакане теплом чая... (71). Метафоры *искрясь* и *встает* можно было бы считать общеязыковыми переносными значениями соответствующих слов[7], если бы не собственно сравнения, которые оживляют их, подчеркивая прямое, непереносное значение слова и тем самым как бы обновляя их употребление в переносном смысле. Более явная метафора *однозвучный* приглушена синонимическим употреблением другого слова в его основном непереносном значении. Подчеркивание прямого значения и тем самым оживление в нем метафорического «гена» переносного значения дает возможность условно рассматривать данное употребление глагола *пилить* (ср. *выпилить*) как метафорическое (а не общеязыковое переносное). Таким образом, и в этой группе сравнений можно отметить ту же тенденцию к снижению эффекта новизны, необычности, что и при употреблении сравнений общеязыкового типа.

Приведем также сравнения индивидуального типа без семантической сдвинутости основных конструктивных членов сравнения: На морозе, *как в дыме*, Мы шли, расстегнувши пальто (17); Мы шли тогда медля, *как в брод*... (14); *как белый налив*, *Как яблоки крепкие*, в ямках колени... (28); В углу музея неспроста, *Как знамя посрамленных полчищ*, Забытая висит фата. (47); *Словно сосенки ствол*, Встала церковь... (50); ...Но жажда жить неустранима, *Как пар зимою изо рта* (64); *как пухлую лягушку*, испуганные сестры поднесут под утро кислородную подушку (74); Дни мелькнут, *как кадры киноленты*... (75). Как кажется, и здесь — стремление выбирать образы сравнений из сферы, близкой к обычной, бытовой. Е. Винокуров имел все основания предварить сб. «Метафоры» строчками о «простых словах»:

Мне нравится обыденная речь.
Слова простые: хлеб, вода, поленья...
Я те слова хотел бы уберечь
От непреодолимого забвенья!

В сб. «В силу вещей» прослеживается та же тенденция — установка на общеязыковую основу сравнений, которые составляют примерно половину всех сравнений сборника. Нижеследующий перечень включает и сравнения общеязыкового типа, пре-

[7] Ср. в Ак17: *Искриться* каким-л. чувством, мыслью. *Выражать какое-л.* чувство, мысль, светиться... Проявляться ярко, выразительно. Об уме, остроумии и т. д. *Вставать*... 2. Устремляться, тянуться вверх, выпрямляться.

терпевшие авторскую переработку: Сиди среди семейства *словно турок*... (23); *словно на пожар*, несешься на вечернюю поверку (9); Но ведь и мы *как птицы*! И мы летать хотим! (35); Мирская совесть тонкая, *как нить*! ... (42); ...Я *точно зверь*, тот, что присел на лапах... (39); А ты смотри, *как смотрят дети*, Смотри, как смотрят в первый раз... (45); лежал полдня, глотая, *как рыба*, воздух ртом... (93); Смотри, кардиограмма,— *как смертный приговор*! (94); Рука *как меловая* с кровати упадет... (95); Ты с жизнью не шути, брат,— тряхнет тебя, как током, рано или поздно. (108); Ходит он, угрюмый, *как бирюк*... (107); Их песенка, *как этот мир*, стара... (111); И тоненько вилась мелодия И *словно ниточка рвалась* (114); Я молчу, *как будто кляп забили*... (116); Смеются, плачут ли навзрыд народы, *точно дети*... (129); И *как юнец*, что в этот час не в школе, стоишь... (23); *Словно* в печке *поленья*, горим на незримом огне... (59); Он приближается, предел, Горчащий, *как полынь*... (98); Но еще без подпорок простою — *словно дом* (101); ...Природа, *как в трубу, трубит*, трубит о здравом смысле (131); Потом пошли девичьи танцы: вон *как лебедушки* плывут!.. (75).

Сравнения индивидуального типа и в этом сборнике, как кажется, подчинены отмеченному выше стремлению поэта вписать индивидуальные сравнения в общий фон, объединив их лексической или тематической однородностью, похожестью или образной «приглушенностью». Рассмотрим эти сравнения несколько подробнее. И здесь в сравнениях, приближающихся к общеязыковым, стертая метафоричность глаголов, к которым относятся собственно сравнения, слегка подновляется самими сравнениями, подчеркивающими общеязыковое значение полисемантичных глаголов: *Как заря*, прощально догоря, тонет Рим в бесчинствах и пороке, ожидая втайне дикаря... (73). С известной долей условности отнесем к этой группе и следующий пример: Но *словно смутный сон*, догадка тоскливо брезжила во мне. (30); О, злой, *как щелочь*, дух пеленок! О, теплый привкус молока!.. (37). Обратим внимание на сведение воедино двух просторечных значений слова *злой* (см. Ак17): 5. ‘Крепкий, забористый...’ и 7. ‘Ядовитый, опасный, вредный’ и на их близость друг другу.

Отметим сравнения, объединенные тематической общностью: Охота есть, хоть тресни, жизнь рассказать порой... Историю болезни, *как исповедь*, раскрой! (92); ...В историю болезни, *как в тайну*, углубись. (96); Врач *словно бы историк* сидит, скрипит пером. (95). Человеку легенда всю жизнь, до кончины, нужна! Отболеет *как тифом*... Бывает! (60). Тематическая однородность этих сравнений из группы стихотворений, следующих одно за другим, является как бы вторичным (дополнительным) объединяющим их признаком, поскольку прежде всего здесь ощущается все та же очень слабая степень метафоричности глаголов.

У Е. Винокурова есть сравнения, образная экспрессия которых приглушена и иным способом, например, историко-литературной основой сравнения: Сюда в прохладный зал, где полумрак, бумажные текут ручьи и реки... Мы смущены, *как будто из варяг мы неожиданно попали в греки* (63); или: Но лежит, занесена песком, вечная всемирная загадка, *словно ключ в ларце на дне морском* (58); По потолку проходит трещина... На стенке календарь без дат. И, *как высокая библейщина*, В окошко небеса глядят... (134).

Сюда же отнесем сравнения, не выходящие за пределы беллетристической нормы: Весь в башнях, шпилях, трубах город был *как чудовищный обман.* (30); Мы мир подробно разобрали в усилье многовековом... Мы обнаружили детали, *как в механизме часовом*! (104); Человек мне ненавистен этот. У него глаза, *как паучки* (116); *Как будто натерли лицо наждаком*! ...Вот так и пошел он по свету рябым С улыбкой к растеньям и детям... (124).

Сравнения, в основу которых положены наглядно-чувственные, прежде всего зрительные, ассоциации, составляют явное меньшинство: И жаворонок в дали идет, идет звуча, туда, по вертикали, *как бы в лапте «свеча»*... (35); Я чувствую, что непростая в них (словах санскрита) мысль живет, от всех таясь, *Как водоросли прорастая*, имея с повседневным связь (33) [8]; ...Что тем, кто в гипс, *как в латы*, на год приговорен,— история Эллады. Египет, Вавилон? (95); Я вслушиваюсь чаще... *Как будто соловей* томится слово в чаще толстущих словарей. Но я покой нарушу, что в полумраке там, и вырваться наружу я слову к солнцу дам. Пусть вверх взовьется, чтобы узреть хоть клок зари... И мрачно, *как чащобы*, сомкнутся словари (46); Он тверд,— тот воздуха комок,— *как будто слиток меди*... (105); Ему (киногерою), что смотрит с полотна, всемирная,— *как солнце*! — слава бесплатно, *как билет*, дана (112) [9]. Он в полотенце, *как пират*, на шее фотоаппарат (115); *Как заяц*, ушастое детство С повязанной шарфом щекой... (125); В огонь сунь палец и смотри... И задохнешься в крике, и слезы, *точно волдыри*, вдруг выступят на лике! (130).

Для большей части примеров, по-видимому, характерны индивидуально-образные ассоциации, конструирующие сравнения; отдельные спорные, с этой точки зрения, примеры могут только подчеркнуть тезис о тенденции к переработке «неэффектного» материала в «поэтике простоты» Е. Винокурова.

Рассмотрим теперь принципы употребления общеязыковых

---

[8] Отметим этот образ и в сб. «Метафоры»: *Как радужные водоросли* со дна. она (фантазия) встает (24).

[9] Употребление сравнений в тождественной ритмико-композиционной позиции — одна из характерных черт идиолекта Е. Винокурова.

сравнений в поэзии Н. Матвеевой[10]. Пристрастие Н. Матвеевой к сравнениям как к художественно-экспрессивному средству несомненно. Неповторяющихся сравнений у нее не так уж много. Все дело в том, что поэтесса постоянно использует сравнения в повторе, или в настолько спаянном контексте, что группа сравнений часто воспринимается как одно развернутое сравнение[11].

Собственно общеязыковые сравнения в сб. «Душа вещей» нечасты: Морозной ночью Стыдливо, крадясь *как вор*, Уносишь елку... (123); Писал он песни, *как дитя*... (50); «Нашел! — он крикнул.— Эврика! — *как брат,* Раскрыв народам быстрые объятья... (61).

Сравнения, образы которых взяты из сферы обычных представлений: Кольца на пне — *Как на воде круги*... (12); Но отзвук Беспределен, *как воздух, Как вода*... (10).

Ряд сравнений, образная часть которых совпадает с общеязыковыми, а предметная испытывает тот или иной тип художественного преобразования, например, употреблены в контексте олицетворения[12]: Но *как цепь* ее (степь) сковал огромный сон: Сновмалюток ей не сбросить со спины... (28); ...Думаю про солнце: Золото — а дышит; Ходят, *как живые*, Золотые жабры, Отблески заката... (26); Пятна рощ Сместились, *как шальные*... (93). Сравнения, употребленные в контексте метафоры[13]: Жужжит и жалит слава *как пчела*... (106); И сыпались тени изломанных птиц, *Как листья*, в сухой водоем... (53); Нити древесные вьются, *словно флаг*, Тают, *как дым*, Летят, *как тучи пыли*, Гибко плывут... (13). Метафоризация, затрагивающая предметную часть этих сравнений, минимальна, приглушена.

Встречаются у Н. Матвеевой и иные способы преобразования сравнений общеязыкового типа. Ср., например: Где обезьянки прыгают, *как дети*, А смотрят — *как больные старички* (33), где контрастно соположены два сравнения общеязыкового типа, причем одно из них распространено прилагательным; или: И разгорается восток, *Как девичья щека* (50), где образная часть сравнения создает игру на полисемии глагола-сказуемого главной, предметной части сравнения.

Для Н. Матвеевой характерен еще один тип использования общеязыковой экспрессии сравнений. Ср.: И чаща, листья вычур-

---

[10] Анализировались сборники: «Душа вещей» (М., 1966) и «Ласточкина школа» (М., 1973).

[11] Подробнее см.: Языковые процессы современной русской художественной литературы. Поэзия. М., 1977 (раздел «Сравнения»).

[12] В данном случае мы называем лишь ведущий способ словопреобразования, не касаясь других.

[13] Метафоризация развивается в предметной части, а собственно сравнение выступает как логическое обоснование, разъяснение непереносного значения слова-метафоры, т. е. включается в ее непосредственный контекст.

ные стиснув, *Как руки, веки, зубы и уста*, За ней слилась... (34); или: Скрежещет (шарманка), *как возок*, Скрипит, *как бурелом*, *Как флюгер, как сапог, Как дерево с дуплом.* (139). Здесь художественная экспрессия сравнений связана с чисто филологическим умением почти исчерпать возможный круг общеязыковых, привычных образов, вызываемых лексически ограниченным значением глагола. Близки к ним случаи уточнения одного и того же признака сравнения, например: Болван, чья ограниченность граничила, *Как бриллиант, как тонкость и ранимость* (107), или: Но ее (звезды) далекий свет... Долго, долго будет жить... Перебираясь Со лба на лоб И с уст на уста, *Как песня, Как тихий мужественный рассказ, Как благородная легенда.* (82). Этот прием, несомненно, связан с пристрастием Н. Матвеевой к неторопливому, внешне замедленному развитию образного сюжета, к повторам; не противореча основной тональности ее произведений, он углубляет и обогащает ее.

Различные сравнения общеязыкового типа обращают на себя внимание и в сб. «Ласточкина школа»: С убегающим взглядом, вертящихся, *как на шарнирах*, Акварельных, игрушечных, радужных, линзообразных... Сколько ликов и видов! (97); Он *как герой* на улицах сражался... (76); Грубым римлянам перевязь эллинов Подошла, *как корове* седло (71); За тогу римлян держатся, *как* дети... (55).

Ряд сравнений этого типа испытывает существенные преобразования: «Что есть Истина?» — голос раздался в ночных небесах, Обратясь к Языку (что всегда *как солдат на часах*) (101); ...За черной, *как пропасть*, канавой Стеклянно блистают кусты... (69); порт... грязен, *словно черт*... (39); Телом слабый, но сияньем — сильный, *Точно дух*, пузырь явился мыльный... Брань его покрыла толстым слоем, *Как броня.* (23); Твердую быль отгоняешь *как дым* (15); Май сияющий, май безобидный Подрастает, *как в сказке дитя* (12).

Таким образом, Н. Матвеева, в противоположность А. Вознесенскому, не избегает общеязыковых сравнений и их художественно преобразованных вариантов. Возникает вопрос: являются ли сравнения общеязыкового типа (в широком значении этого термина) органической частью общего фонда сравнений у поэта? Применительно к творчеству А. Вознесенского приходится ответить отрицательно; как мы пытались показать, А. Вознесенский, видимо, сознательно избегает сравнений этого типа (даже общеязыковых идиом, имеющих форму сравнения), Е. Винокуров, напротив, именно на этом классе сравнений строит свою поэтику[14],

[14] Разумеется, мы говорим только о «сравнительной» сфере, оставляя вне всякого анализа взаимодействие принципов использования сравнений в текстах с другими особенностями поэтики.

подчиняя ощущению обычности даже характер художественного преобразования сравнений индивидуально-художественного типа. Чтобы ответить на поставленный вопрос применительно к творчеству Н. Матвеевой, необходимо проанализировать основную тематическую направленность ее индивидуально-художественных сравнений.

Сб. «Душа вещей» открывается стихотворением «Песня в песне». Образы сравнений, сосредоточенных в одной из его частей (Под водой, *как белье* на веревке, Отраженья домов трепетали. И качалась труба заводская *Рукавом великаньей фуфайки*, И, металлом заката сверкая, *Будто ножницы*, Лязгали чайки) характеризует бытовая сфера, которая специально подчеркивается автором (И речные плывущие вещи С никуда не плывущими вместе *По-домашнему* мне подпевали И других подпевать подбивали).

Стихотворение «Гипноз» также изобилует бытовыми сравнениями; об обезьянке: Лишь рыжий росчерк в воздухе мелькнул; *Как будто кто-то пригоршню какао* Сухою струйкой с ветки *сыпанул*. Глаза (змеи) лежали на головке плоской, *Как на тахте*. Из них тянулся взгляд, *Как дым из трубки*, призрачный, но плотный...; Сквозь плотную, *как пепел*, духоту... Он (взгляд змеи) плыл...; И попугай, чей клюв был ярко вдавлен В цветную грудь, *как пламенный сургуч*, А крылья глянцевитые осклизли *Зеленым блеском бронзовых зеркал*,— Вокруг сучка перевернулся трижды И так забился, так заскрежетал, *Как будто брал* недавно в общей кухне *Уроки лязга* у семи котлов; Зашаркал горлом, *как ночною туфлей*, Раскашлялся, *как будто нездоров*, А сам спокойно и невозмутимо Сухим глазком глядел куда-то мимо, *Как симулянт при виде докторов*. Перед мартышкой, скачущей по веткам, *Как десять флагов*, пущенных по ветру, *Как пьяный факел*, вспыхнул попугай. И личико... поднесла К лучу, *как ложку* к супу...; Разбилось наважденье, *как стекло*, Но *как неясный крест* оконной рамы Стоит в глазах, уже смеженных сном... Так взор змеи... Еще с минуту в воздухе висел... И наконец, *как призрак переплета Оконной рамы*, вылинял, осел... И вот, то сокращаясь, то вздуваясь, Переливаясь, *Как железный дым*... Ушла змея...

Следует подчеркнуть, что если бытовизм первого из приведенных стихотворений можно объяснить его сюжетом (путешествие по реке), то второе стихотворение своим экзотическим содержанием прямо не связано с заземленностью сравнений; освобожденные от тематического бытовизма, они тем ярче подчеркивают характер образного мышления Н. Матвеевой.

Приверженность автора «Души вещей» к бытовым сравнениям прослеживается и при одиночном употреблении сравнений в стихотворениях, не связанных с бытовой тематикой: Скользкий да мокрый, *как в мыльнице мыло*, В радужной ракушке дремлет моллюск (125); Лунный луч в надтрещинках теней, Резкий, *как*

расколотая плитка... (120); В середине лунного луча Запеклись соломенные стулья, *Как внутри серебряного студня Косточки волшебного леща* (120); Лишь над берлогой слабый дух тепла Дрожит, *как пар над крышкою котла* (119); О, надкусанный Восток! Цепи Гималаев,— *Точно в мякоти плода Оттиски зубов* (46); Дорога в тумане Тепла, *Как рука в рукаве...* (84); Сад Свищет свежестью, *как нитка в полотне...* (91); Майский жук... стучится боком В воздух, *как в забитое окно...* (95); Паутинка в воздухе прозрачном Холодна, *как трещина в стекле* (100); *Как битое стекло*, хрустит мороз... В оплывах снега дремлют пни берез *Огарками задутых ветром свеч* (119).

Приведенные примеры дают основание сказать, что предметно-бытовая сфера сравнений Н. Матвеевой практически не зависит от тематики стихотворения. Это — одна из существенных особенностей сборника[15]. Видимо, «заземленность» сравнений и создает ощущение их простоты, хотя многие из них обнаруживают значительные художественные преобразования, в частности довольно сложные виды метафоризации. Следует обратить внимание и на то, что многие из сравнений Н. Матвеевой связаны с образно яркими конкретно-чувственными ассоциациями, основанными прежде всего на зрительных ощущениях, что, как правило, обусловлено кругом «вещных» денотатов.

Сборник «Ласточкина школа» вносит некоторые новые моменты в использование сравнений. По тематической принадлежности образы сравнений и здесь в основном связаны с бытовой сферой, однако, с одной стороны, эти сравнения становятся более изощренными, более экзотично-архаичными, с другой — увеличивается доля сравнений из других тематических сфер, но эти сравнения обнаруживают уже не столько образную наглядность, сколько стремление к созданию рафинированного образа. Показательно, в частности, следующее развернутое сравнение: Сказку Сервантеса вспомнить Рад иногда и сервант: В нем затрепещут бокалы, *Словно заржет Росинант...* (65). Сопоставив его с заявлением поэтессы в сб. «Душа вещей»: Мне на ухо поэты нашептали Созвучья для созвучья самого, Но думается мне, что у *Шампани* Нет общего с *шампунью* ничего (115),— мы поймем одно из направлений в эволюции стиля Н. Матвеевой. Покажем это на конкретных иллюстрациях.

Сравнения, образы которых можно отнести к бытовой сфере: А пчела... Неподвижно движется... *как веретено...* (10); Но закрытым остался шиповник,— *Будто в лампе огонь прикрутили* (13); Летят, как перья по шляпе фетровой, По голым землям метелки трав (59); ...узор Подводных листьев, *как чай заваренных*

[15] Обратим внимание на заглавие сборника, подчеркивающее соединение духовного и «вещного» в единый сплав.

В красно-коричневой чаше озер... (59); И светят шапочки грибов, *Как масло, снятое с ножа* (80); ...затворница — зелень — *Как подтек на стене монастырской...* (113); ...Беззвучные галки Оседают на волосы леса, *Как старушечьи полушалки...* (114).

Для ряда сравнений в этом сборнике характерен налет бытовой архаичности, что придает им привкус «красивости», иногда в ущерб чувственной наглядности и убедительности: Перемещенье птиц, *как в лавке опахал* (21); (человеческий гений) Зажигает фонарь на вершине маячной, Чтоб горел его свет, *как венец новобрачной* (117); Слышу клик сиротливо-протяжный,— *Будто джинн прокричал из кувшина* На далекой черте горизонта... (113); Растворилась Греция в Риме, *Как жемчужина в чаше яда* (73); До красных кирпичей дотронулся вьюнок, *Как тонкое жабо до грубых красных щек* (20); И стояла роща, *как Людовик*,— В сизых буклях изморози ранней (33).

Несомненна также «красивость» некоторых образов сравнения, почерпнутых из других сфер: Иней таял, даже не стараясь Удержаться в легкой сетке чащи, Уменьшаясь, *Точно белый страус,* Отвернувшийся и уходящий (33); *Как мрамор тягости ночной,* На солнце яблоки лежат (79); В красной мгле ее (ржи) сухих разливов *Будто шерсть горящая трещит, Будто электрический загривок Медных кошек...* Рдеет поле с трещиной межи... (92).

Итак, бытовизм тематики преобладает и в сравнениях сб. «Ласточкина школа», однако он отмечен новой тенденцией к поискам деталей не столько повседневного быта (как это было в предыдущем сборнике), сколько быта «давно минувших дней» и «красивого далека». Приходится согласиться с замечанием критика о том, что в некоторых случаях у Н. Матвеевой «стремительно точная образность отступила перед натужной красивостью» [16].

Подводя некоторые итоги сказанному, можно отметить, что Н. Матвеева относится к общеязыковым сравнениям значительно более терпимо, чем А. Вознесенский, но основная тональность ее «сравнительного фонда» создается не столько преобладанием общеязыковых сравнений (как в творчестве Е. Винокурова), сколько бытовизмом тематики ее сравнений.

Можно проследить определенную зависимость между отношением поэта к сравнениям общеязыкового типа и характером его поэтического идиолекта. Отталкивание А. Вознесенского от общеязыковых сравнений связано, по-видимому, с его стремлением каждый атом художественной ткани произведения сделать не-

[16] *Михайлова Л.* Поэзия духовности.— Лит. газ., 19 февр. 1975.— В этом же плане выдержан ряд замечаний в статье Г. Красухина «Изощренность мастерства» (Там же).

обычным, броским, экспрессивно насыщенным до предела. Широкое использование сравнений общеязыкового типа и их художественно обновленных вариантов в творчестве Е. Винокурова вполне отвечает стремлению поэта создать внешне простую, спокойную поэтику слова без резких, бьющих в глаза художественных приемов. Общеязыковые и примыкающие к ним сравнения в творчестве Н. Матвеевой как часть его образной системы поддерживают в этой системе общую тенденцию к тематической однородности образов.

Отношение автора к сравнениям, приближающимся к общеязыковым, таким образом, может выявить некоторые типичные признаки его художественного идиолекта, а наблюдение над функционированием таких сравнений в тексте — дать материал для сопоставительного анализа индивидуальных стилей.

СЕМАНТИКА ОКСЮМОРОНА

Н. В. ПАВЛОВИЧ

Материалом для исследования был составленный нами словарь оксюморонов, содержащий более 500 словосочетаний с примерами контекстов, взятых из русских поэтических и прозаических художественных произведений XX в.

ОТБОР МАТЕРИАЛА

Мы считаем оксюморонными словосочетания, в которых выполняются следующие требования.

1. Они являются противоречивыми в том смысле, что одному и тому же объекту действительности приписываются одновременно свойства «быть а» и «быть не-а». Соответственно, лексемы (или группы лексем) словосочетания таковы, что в их значение входят элементы, которые соотносятся как «а» — «не-а» и занимают одинаковые позиции в семантической структуре лексем. Примеры: *влюбленная ненависть*; *религизоный атеизм*; *несытое пресыщенье*; *честный вор*; *бесчувственная эмоциональность*; *фанфарное безмолвие*; *взрослый недоросль*; *понимая, не понимать*; *невидящие видят*; *сон наяву*; *без смерти смерть*; *общий частный случай*; *гармоничность несообразностей*; *принуждать к добровольным поступкам.*

Такие словосочетания, как: *круглый квадрат*; *русский американец*; *вижу голос Венеры*; *девичье молоко*; *словесный обыск* — не будут рассматриваться как оксюморонные, так как для составляющих лексем указанное условие не выполняется. Неоксюморонные сочетания могут стать оксюморонными в тексте. Так, *русский американец* может стать оксюмороном, если в контексте значения лексем *русский* и *американец* таковы, что в них входят такие элементы, как, например, ‘практичность — непрактичность’, ‘трезвость ума — способность иметь иллюзии’. Метафора *богачи зари* приобретает оксюморонный смысл в контексте стихотворения В. Хлебникова («Мы писатели ножом!..»). Семантическая техника этого стихотворения такова, что *богачи зари, моты золота осени листьев, богатеи желтых червонцев на дереве* становятся вариантами образа *богатые нищие.*

2. Синтаксические словосочетания, которые мы считаем оксюморонами, содержат атрибутивные, координативные и такие актантные связи, при которых на глубинно-синтаксическом уровне выполняется условие: $X \xrightarrow{i} Y = X \xrightarrow{i} A \wedge Y \xrightarrow{i} A$, где X, Y — лексемы или группы лексем, i — актантная связь, A — семантический актант, $\wedge$ — конъюнкция. Например:

Атрибутивная связь. *Холостяки семейные, юнцы маститые*: Холостяки семейные В перстнях, юнцы маститые... Нашу-

чено, несмеяно, А главное — насчитано! (М. Цветаева); *друг без друзей*: Вон он — гляди,— уставший от чужбин, Вождь без дружин. Вот — горстью пьет из горней быстрины,— Князь без страны. Там все ему: и княжество, и рать, И хлеб, и мать. Красно твое наследие,— владей, Друг без друзей! (М. Цветаева); *изменять, не изменяя*: Я изменю тебе, как той Не изменяя, не лукавя (А. Блок).

Координативная связь. *Радость-страданье*: Сдайся мечте невозможной, Сбудется, что суждено. Сердцу закон непреложный — Радость-Страданье одно! Путь твой грядущий — скитанье, Шумный поет океан. Радость, о Радость-Страданье — Боль неизведанных ран! (А. Блок); *страстно-бесстрастный*: Один из знавших Блока очень верно сказал, что лицо у него было «страстно-бесстрастное» (К. Чуковский); *похож и не похож*: Младший брат папы был похож и не похож на него. Не застав брата, ожидая его, он загребал меня (А. Цветаева); *чужбина-родина*: Но и с калужского холма Мне открывалася она — Даль — тридевятая земля! Чужбина, родина моя! (М. Цветаева).

Актантные связи. *Движет покоем:* И в бурном волненьи один недвижим Дух вечный все движет покоем своим (Вл. Соловьев); *смысл бессмысленных речей*: Когда деревенские ораторы употребляют непонятные ни для себя, ни для слушающего слова,— они делают установку на город, на революционную городскую речь. И в таких непонятных словах,— не только слабость, но и сила и смысл бессмысленных речей деревенских ораторов (Ю. Тынянов); *мазня гения*: Не полотно — резня Красок. Дотварный ил. Творческая мазня Гения. Проба сил... (М. Цветаева); *безгрешен грех:* Безгрешен грех — пожатие руки Тому, кто даст и молодость и негу... Мои следы к тебе одной по снегу На берега форелевой реки! (И. Северянин); *предсказывать назад*: Однажды Гегель ненароком И, вероятно, наугад Назвал историка пророком, Предсказывающим назад (Б. Пастернак).

Соответственно, не считаются оксюморонами:

а) выражения типа *счастлив несчастьем других*, *дружит с врагом своего начальника*, так как у *X* и *Y* разные субъектные актанты, и не соблюдается сформулированное выше ограничение на тип актантной связи;

б) высказывания-парадоксы типа *высшая степень искусства говорить — умение молчать*, которые имеют особый синтаксис, отличный от оксюморонного — *X* и *Y* должны быть связаны не непосредственно, а через глагол-связку плюс *это* или другие элементы, выполняющие сентенциональную функцию.

Если *X* и *Y* — не лексемы, а группы лексем, то, чем лаконичнее словосочетание, тем оно «оксюмороннее». Ср.:

одновременность действий, которые произошли в разные времена;

одновременность действий, происшедших неодновременно;

одновременность неодновременно происшедших действий;
одновременность неодновременных действий;
одновременная неодновременность.

Трудно говорить о жесткой количественной мере того, что считать оксюмороном. В литературе есть понятие «оксюморонное сочетание фраз» (П. Богатырев), понятие оксюморонного сюжета (В. Шкловский). Мы будем считать, что при соблюдении условий 1 и 2 словосочетание тем более походит на оксюморон, чем оно лаконичнее и чем меньше слов разделяют собственно лексемы, содержащие признаки «а» — «не-а». Например, *панихида по живому* оксюморонее, чем *заупокойная служба по живому*, что, в свою очередь, оксюморонее, чем *заупокойная служба над гробом еще живого Бонапарта* (последнее выражение — из А. Виноградова).

ЗНАЧЕНИЕ ОКСЮМОРОНА КАК СИНТЕЗ ЗНАЧЕНИЙ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕГО ЛЕКСЕМ

В оксюмороне противоречие ощущается, а затем разрешается[1]. Если оно не ощущается, то это не оксюморон, а если не разрешается, то — бессмыслица. Основываясь на этом, мы полагаем, что на первом этапе синтеза семантических описаний X и Y — значений двух лексем или двух групп лексем, составляющих оксюморон,— противоречие возникает, а на втором этапе разрешается. Под семантическим описанием, или значением, лексемы понимается множество семантических признаков всех значений данной лексемы[2]. Признаки могут быть независимыми друг от друга и могут находиться в отношении управления. Реализация какого-либо значения лексемы понимается как альтернация семантических признаков, а реализация значения словосочетания из лексем

[1] Если трактовать образ как тезис — антитезис — синтез (В. Брюсов), то оксюморон — это образ, имеющий определенную языковую форму. Ср.: Я ждал страданья столько лет Всей цельностью несознанного счастья (М. Волошин) или: О, быть покинутым — какое счастье! Какой безмерный в прошлом виден свет (М. Кузмин) и оксюмороны на ту же тему — *радость-страданье, свет страданья, счастлив в горе, больное счастье* и т. д.

[2] В психолингвистическом аспекте такое семантическое описание соответствует понятию семантического поля. Это описание упрощено. Есть оксюмороны, которые образуются следующим образом: одна из его составляющих лексем X ассоциативно связана с лексемой Z, такой, что Y и Z содержат противоречащие признаки «а» и «не-а». Например, *закадычный враг*, Z = *друг; уличное стояние*, Z = *движение; тусклое Ваше сиятельство*, Z = *сияющий*. В этом случае синтезируемые семантические описания содержат еще и признаки лексемы Z. Общий принцип семантического синтеза и типы альтернации признаков для таких оксюморонов те же самые, но их значение содержит дополнительный психолингвистический элемент, который так же, как и языковые способы реализации ассоциативной связи $X — Z$, составляет предмет отдельного исследования.

X и Y понимается как согласованная альтернация семантических признаков X и Y. Приняты следующие обозначения; X: a, b, $c \longrightarrow d$, где a, b, c, d — семантические признаки, запятой отделены признаки-альтернанты, независимые признаки соединяются знаками конъюнкции или дизъюнкции, зависимые — стрелкой управления. Если значение лексемы X: a, b, $c \longrightarrow d$, то значениями-вариантами могут быть, например, $a \wedge b \wedge c \longrightarrow d$; $a \wedge b$; $a \wedge c \longrightarrow d$.

На первом этапе синтеза значения X и Y реализуются как те признаки-альтернанты, которые находятся в отношении противоречия, а на втором этапе осуществляется альтернация и противоречие нейтрализуется. Синтез оксюморона — это согласованная альтернация признаков значений его лексем, такая, что вначале реализуются признаки с отношением противоречия, а затем осуществляется множество реализаций, таких, что если X реализуется как «а», то в Y признак «не-а» не реализуется, т. е., в значении оксюморона из каждой пары противоречащих признаков реализуется только один. В свете сказанного ясно, что для того, чтобы получить оксюморон, нужно иметь значения X и Y с возможно бо́льшим числом признаков-альтернантов, а это возможно при наличии связи между разными значениями лексемы, или, в терминах Ю. Тынянова, «большого объема лексического единства». Поэтому для оксюморонной лексики характерны слова с такой неопределенностью в значении, что они являются лишь обозначениями своих

Рассмотрим возможные семантические типы альтернации признаков при синтезе оксюморона.

значений, словами-метками [3].

1. Независимый признак — «вложенный» признак. В семантических структурах вида $(a \xrightarrow{\text{Content}} b) \wedge b$ признак b существует и как независимый, и как управляемый другим признаком. Стрелка управления в данном случае обозначает валентность содержания [4]. Такие структуры мы будем называть вложением, а признак под стрелкой — вложенным. Вложение соответствует толкованиям типа:

P знает, что a имеет место, и a имеет место

P хочет, чтобы a, и a

Формально фиксировано, что a, и a

Принято считать, что a, и a и т. д.

и выражает категории преднамеренности, планирования действий, осознания явлений, т. е. существование некоторого признака од-

---

[3] Характеристику такой лексики см.: *Тынянов Ю. Н.* Словарь Ленина-полемиста.— ЛЕФ, 1924, № 1, вып. 5, с. 87.

[4] Понятие семантической валентности и конкретные виды валентности описаны в кн.: *Апресян Ю. Д.* Лексическая семантика. М., «Наука», 1974, с. 119—133.

новременно в двух рефлексивных позициях — в реальности (a имеет место) и в сознании некоторого лица или в общественном сознании, мире социально-формальных и социально-неформальных норм. Например, такую структуру имеют признаки-альтернанты лексемы *выборы*: P_1 решает, что P_2 должен быть членом A ($a \xrightarrow{Content} b$) и P_1 выполняет формальный акт, свидетельствующий о том, что P_1 решает, что P_2 должен быть членом A $c \xrightarrow{Content} (a \xrightarrow{Content} b)$ и т. д., т. е. решение о выдвижении кандидатуры и выдвижение, решение о голосовании — голосование. Такие структуры характерны для лексики, описывающей человеческие отношения. Например, «P_1 добр к P_2» имеет среди других такие признаки, как:

$a \xrightarrow{Caus} b$ P_1 каузирует P_2 хорошо (добрые дела)

$c \xrightarrow{Content} (a \xrightarrow{Caus} b)$ P_1 хочет каузировать P_2 хорошо (добрые намерения в поступках)

$d \xrightarrow{Content} (a \xrightarrow{Caus} b)$ в обязанности P_1 не входит каузировать P_2 хорошо(добр «просто так», а не по долгу)

$c \xrightarrow{Content} b$ P_1 хочет, чтобы P_2 было хорошо (доброжелательство)

b/P_2 хорошо Каузация (P_1 делает так, чтобы было A) в качестве признаков-альтернантов имеет признаки преднамеренности (P_1 хочет, чтобы было A), планирования действия (P_1 считает, что его действия имеют своим результатом A), реализации (его действия имеют своим результатом A) либо их отрицания — непреднамеренность, незапланированность действий и т. д. На этих примерах видно, что в таких структурах может быть описана достаточно большая часть лексики. Для структур типа «вложение» правило альтернации имеет следующий вид:

Если $X : a \xrightarrow{Content} b,\ b$

$Y : a \xrightarrow{Content} \overline{b},\ \overline{b}$ то

оксюморон от X, Y : $(a \xrightarrow{Content} b) \wedge \overline{b}$, $(a \xrightarrow{Content} \overline{b}) \wedge b$, где оксюморон от X, Y — значения-варианты оксюморона, образованного от лексем X и V. Например: *врать правду*.

P_1 говорит правду P_2, что A:

$a \xrightarrow{Content} b$ P_1 сообщает P_2, что A,

$c \xrightarrow{Content} b$ P_1 считает, что A,

b имеет место A

P_1 врет P_2, что A:

$a \xrightarrow{Content} b$ P_1 сообщает P_2, что A,

$c \xrightarrow{Content} \overline{b}$ P_1 считает, что не-A,

$\overline{b}$ имеет место не-A

врать правду:

$(a \xrightarrow{Content} b) \wedge (c \xrightarrow{Content} \bar{b}) \wedge b$ (считая, что не-A, сообщать другому, что A, когда на самом деле имеет место A);

$(a \xrightarrow{Content} b) \wedge (c \xrightarrow{Content} b) \wedge \bar{b}$ (считая, что A, сообщать другому, что A, когда на самом деле имеет место не-A).

Аналогично образуются значения оксюморонов: *фальшь истины*; *правда лжи*; *венчанные содержанки*; *безвыборные выборы*; *слушая, не слушать*; *узаконенный произвол*; *законное беззаконие*; *жестокая доброта*.

2. Видовой признак — родовой признак. В литературе описано явление нейтрализации родо-видовых признаков, поэтому на семантических структурах такого рода мы не будем останавливаться подробно, а просто дадим правило альтернации и примеры оксюморонов.

Если $X : a, b$

$Y : \bar{a}, \bar{b}$, то

оксюморон от X, Y : $:a \wedge \bar{b}, \bar{a} \wedge b$

Так синтезируются оксюмороны: *говорить, не говоря*; *безмолвный разговор*; *говорить молча*; *ехать и не ехать*; *ответ без ответа*.

3. Видовой признак — видовой признак при общем родовом признаке.

Если $X : a \to b, a \to c$

$Y : a \to \bar{b}, a \to \bar{c}$

оксюморон от X, Y : $(a \to b) \wedge (a \to \bar{c}), (a \to \bar{b}) \wedge (a \to c)$, где a — родовой признак. Например, *одиночество* P — это такое состояние P (a), что P не имеет семьи, не состоит ни с кем в тесном духовном контакте, не имеет ни с кем совместной деятельности. . ., т. е. получаем семантическую структуру типа $a \to (\bar{b} \wedge \bar{c} \wedge \bar{d}. . .)$, что в терминах признаков-альтернантов равносильно записи: $a \to \bar{b}$, $a \to \bar{c}$, . . . Значения оксюморонов *одиночество совместности*, *одиночество вдвоем* — это, соответственно, всевозможные сочетания $(a \to b) \wedge (a \to c) \wedge (a \to \bar{d})$, $(a \to \bar{b}) \wedge (a \to c) \wedge (a \to \bar{d})$, $(a \to \bar{b}) \wedge (a \to \bar{c}) \wedge (a \to d)$. . ., т. е. наличие семьи, духовного контакта, отсутствие совместной деятельности либо отсутствие семьи, наличие духовного контакта, отсутствие совместной деятельности и т. д. Аналогично образуется значение оксюморонов: *несходство сходного*; *изменить не изменяя*; *и личен, и безличен*; *и мой, и не мой*; *знакомый незнакомец*.

Этот же семантический тип альтернации представляет большая группа оксюморонов, образованных от лексем с признаками, которые Ю. Д. Апресян описывает как «больше некоторой нормы — меньше некоторой нормы». Примеры *сложная простота*; *далекое близкое*; *близко, далеко*; *богатый нищий*; *молодая старость*; *молодой старик*; *юная бабушка*; *и старше, и моложе*; *легкое бремя*; *ноша тяжкая легка*; *тяжко и легко*; *долгий миг*; *мгновенный век*;

времени много и мало; *хилый силач*; *слабый великан*; *сила слабых*; *слабость сильных*; *не тесно в этой тесноте*; *эта длинная короткая жизнь*; *стремительная медлительность*; *старый новый мотив*. Такая лексика вне контекста не имеет реального лексического объема. «*X* больше нормы» и «*X* меньше нормы»— это видовое обозначение ряда конкретных признаков ситуации: *X* такой, что имеет место *a*, *b*, *c*, *d*. . . и *X* такой, что не имеет места *a*, *b*, *c*, *d*. . .

4. Альтернация кванторов. Есть лексемы, которые употребляются в двух значениях: категорическом — с квантором всеобщности ($\forall P/\overline{R}\,(P)$ или $\overline{\exists}P/R\,(P)$) и в некатегорическом — с квантором «многие», т. е. «для многих *P* имеет место $\overline{R}\,(P)$» ($WP/\overline{R}\,(P)$). Это большая группа лексем типа «не-*X*-абельный» «не-*X*-уемый» со значениями: не существует такого *P*, что *P* способен *X*-овать *A* или не существует такого *P*, что *P X*-ует *A*, для многих *PP* не способен *X*-овать *A* или для многих *PP* не X-ует *A*

Тип альтернации:

Если $X : R\,(P)$

$Y : \forall P\ \overline{R}\,(P)$, $WP/\overline{R}\,(P)$, то

оксюморон от X, Y: $R\,(P) \wedge WP/\overline{R}\,(P)$

Например: *совместить несовместимое*; *уловить неуловимое*; *постичь непостижимое*; *измерить неизмеримое*; *увидеть невидимое*; *сокрушить несокрушимую власть*; *победить непобедимую армию*; *истощить неистощимые запасы*; *стерпеть нестерпимую боль*; *невозможное возможно*; *незыблемое зыблется*; *недвижимое движется*; *сбылось несбыточное*.

5. Семантический актант — семантический актант. Есть оксюмороны с очень абстрактным лексическим составом, как, например: *неподвижность в движении*; *действует, не действуя*; *деятельное бездействие*; *движет покоем*; *желает, не желая*; *и да, и нет*; *отрицает, не отрицая*; *и есть, и нет*. Фактически, это — лексемы, не имеющие семантических признаков в своем составе, они сами являются признаками других лексем. Их значения — это их модели управления, а роль признаков-альтернантов играют семантические актанты, точнее — утверждения о существовании семантических актантов. Например, действие — это наличие деятеля, объекта действия, средства, результата. Бездействие — это отсутствие деятеля, объекта, результата, средства либо только объекта, только результата и т. д. Тогда *действуя*, *бездействует*; *действует*, *не действуя* может значить, например, 'действует, но без результата' (есть все актанты, кроме результата), нет действия, а результат есть (отсутствие

всех актантов, кроме результата). В этом случае синтез — это альтернация семантических актантов:

Если $X : A, B, C$

$Y : \overline{A}, \overline{B}, \overline{C}$, то

оксюморон от $X, Y : A \wedge \overline{B} \wedge \overline{C}$, $\overline{A} \wedge B \wedge C$, $\overline{A} \wedge B \wedge \overline{C}$ и т. д., где A, B, C — утверждения о существовании актантов, $\overline{A}$, $\overline{B}$, $\overline{C}$ — утверждения о несуществовании актантов.

«Несуществование *i*-того актанта» — это обобщенное описание множества конкретных ситуаций, о которых без знания контекста ничего сказать нельзя. Есть словосочетания, в которых это значение присутствует на более конкретном уровне:

а) как несуществование некоторого определенного актанта — *возникать из ничего, ничья дочка, думать ни о чем*;

б) как несуществование определенного актанта, обозначенного конкретной лексемой,— *я читаю страницы неписаных книг, живет жизнью, которой нет, шорох несуществующих шагов.*

Такие словосочетания мы также считаем оксюморонными, но многие из них достаточно стандартны (*ссора из-за ничего* — это ссора по незначительному поводу, *разговор ни о чем* — разговор на неинтересную или маловажную тему), и противоречие в них уже не ощущается. Однако в общем случае это не так (*рисовать на никаком фоне, везет за никакие заслуги, прийти ниоткуда, в далеком никогда*), и общая модель их синтеза — оксюморонная: *живет жизнью, которой нет* — это ‘живет так, что живет и не живет’ или ‘живет так, что жизнь есть и жизни нет’. Значение оксюморона такого типа определяется: а) семантическим типом конкретных лексем — той, у которой нарушена модель управления, (в наших примерах — *возникать*, *дочка*, *думать*) и лексемы-субъекта несуществования (*жизнь*, *книги*); б) семантическим типом валентности, т. е. несуществование некоторого актанта имеет свои признаки-альтернанты, например, «несуществование содержания *A*» — это «отсутствие интереса к *A*», «незначительность *A*», «тривиальность *A*», «непонятность *A*».

Описанные выше типы альтернации содержат пять типов семантических структур. Эти семантические структуры являются, в сущности, разными способами представления понятия. То, каким способом может быть представлена семантически данная лексема, определяется тем, в какие языковые парадигмы она входит. Например, лексема *слушать*, с одной стороны, может быть противопоставлена *слышать* (преднамеренность—непреднамеренность), а с другой стороны, входить в парадигму *смотреть*, *трогать* и т. д. Значит, эта лексема может быть представлена и семантической структурой «вложение», и структурой, содержащей родо-видовые признаки.

При синтезе оксюморона возникает проблема выбора наиболее вероятных вариантов альтернации признаков, т. е. таких значений оксюморона, для которых легко подобрать объясняющий контекст. Эта проблема требует отдельного исследования. Отметим лишь два существенных фактора. Реализация того или иного признака в значении оксюморона зависит:

а) от «веса» этого признака в значении лексемы (например, *не женат* — это прежде всего отсутствие формальной регистрации, *мертвый* — прежде всего биологическое несуществование, а потом уже духовное и формальное);

б) от того, какая лексема оксюморона является управляющей, а какая — подчиненной. Ср.: *грустная радость — радостная грусть*, *далекое близкое — близкое далекое*, *друг-враг — враг-друг*, *видя, не видит — не видя, видит*.

Вот пример контекста, диагностирующего релевантность синтаксиса при синтезе оксюморона:

— Ты смешно про себя сказал: *удачливый неудачник*. Боюсь, что я полная противоположность.

— В каком смысле?

— В прямом. *Неудачливый удачник* (А. Крон)

МОДАЛЬНОСТЬ ОКСЮМОРОНА

Оксюморон имеет модальность. В общепринятое толкование[5] оксюморона — «С одной точки зрения, ... с другой точки зрения, ...» или «В каком-то смысле..., в каком-то смысле...» — входит образ говорящего. «С одной точки зрения, *X*...» означает осознание говорящим того, что *X* реализуется в некотором, одном из возможных своих значений. Таким образом, значение оксюморона, кроме признаков-альтернантов, содержит в неявном виде указание на сам факт альтернации, т. е. модальность, указывающую на совмещение в одном высказывании двух точек зрения на одно и то же явление. Такую модальность можно назвать рефлексивной, или диалоговой. Если она выражена в явном виде, то оксюморон теряет свои свойства. Ощущение противоречия ослабляется: *мой и как бы не мой* — или совсем исчезает при более подробной «расшифровке»: *не наш*, по закону... *но наш* по прожитому в нем детству (А. Цветаева).

Оксюморон может иметь только модальный смысл, обозначая абсурдность некоторой другой точки зрения на ту ситуацию, которую со своей точки зрения оценивает сам говорящий: *Это будет, когда слепой увидит, а глухой услышит*, т. е., тогда, когда будет то, чего не будет. Такой смысл оксюмороны часто имеют в фольклоре, в пародиях, где на абсурдность ситуации указывает контекст,

[5] См., например: Rhétorique générale. par J. Dubois, F. Edeline. Paris, 1970.

не только не разрешающий противоречие, но усугубляющий его нагромождением других противоречий, которые также не получают разрешения.

Выше мы рассмотрели типы альтернации семантических признаков в «языковых» оксюморонах, т. е. таких, значения которых могут синтезироваться без обращения к тексту. Текст указывает лишь «разгадку» — конкретизирует то общее значение оксюморона, которое получается из значений его членов *X* и *Y*: *ледяной огонь вина* (В. Брюсов), где Страсть пытает, *ласковый палач* (В. Брюсов), *Коммунистово рождество* — день Парижской коммуны (В. Маяковский). Предметом отдельного рассмотрения должны быть «неязыковые» оксюмороны — оксюмороны, являющиеся таковыми только в замкнутом тексте, где в их образовании участвуют семантические поля других лексем или семантическое поле всего текста.

О ФОРМАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ТИПАХ В РУССКОМ СЛОВОТВОРЧЕСТВЕ

С. Н. ШЕПЕЛЕВА

В данной статье намечается подход к решению задачи описания русского поэтического словотворчества. Представлены некоторые результаты, полученные на материале русской поэзии 20-х годов XX века.

Не давая строгого определения термину «поэтическое словотворчество», мы относим к явлению, названному так, слова поэтического языка, не принадлежащие к общелитературному языку. Критерием принадлежности слова к общелитературному языку считаем наличие его в составе основных словарей русского общелитературного языка.

Таким образом, предметом нашего рассмотрения являются так называемые потенциальные (относящиеся к продуктивным словообразовательным типам) и окказиональные (образующиеся по непродуктивным словообразовательным типам) слова, встречающиеся в поэтическом тексте. Описание их есть составная часть исследования и описания потенциальных возможностей словообразовательной системы русского языка, через реализацию которых и осуществляется поэтическое словотворчество.

Мы представим классификацию выбранных нами слов по словообразовательным моделям внутри класса глаголов.

Словообразовательная модель понимается нами как некоторое множество слов с заданной на нем совокупностью отношений, здесь:

а) отношением «иметь общее словообразовательное значение»;

б) отношением «принадлежать к одной части речи»;

в) отношением «иметь один из отмеченных способов словообразования»;

г) быть категориально однородными по образованию (быть образованными от одной части речи).

Представлены следующие способы словообразования:

1. Префиксация. Основным словообразовательным средством являются префиксальные морфы [1].

2. Суффиксация. Основным словообразовательным средством являются суффиксальные морфы плюс соответствующий флексийный набор или (в глагольном словообразовании) формообразующие суффиксы инфинитива. Суффиксальные морфы могут быть

[1] Основными словообразовательными средствами считаем основообразующие (результирующие) префиксальные, суффиксально-флексийные морфы и их комбинации (в отличие от других элементов, участвующих в преобразованиях мотивирующего слова в процессе словопроизводства).

как положительными — выраженными материально, так и нулевыми. При нулевой суффиксации фиксируется значимое отсутствие суффикса в основе мотивированного слова. К суффиксальным морфам относим также частицу *-ся/сь*, располагающуюся после глагольного окончания [2].

3. Префиксация в сочетании с суффиксацией.

В основу определений словообразовательных значений вошли данные Грамматики современного русского литературного языка, издание АН СССР, 1971 г.; из того же источника — информация о продуктивности словообразовательных типов и примеры к ним.

ГЛАГОЛЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ

Модель 1.

Словообразовательное значение: 'проявлять признаки явления, названного мотивирующим словом'.

Способ словообразования: суффиксальный.

мятеж — мятежиться Молодость *мятежится*, Сердце счастьем нежится, Брагу жизни пьет (В. Д. Александровский, Кузнец)

мгла — мглиться *Мглилась* в горькую улыбку первых весен грусть (Н. Асеев, Банкир); И *мглились* штыки в Перми (Н. Асеев, В те дни, как были мы молоды)

держава — державить Разлученно *державили* наши хмурые брови (Н. Асеев, В те дни, как были мы молоды).

Словообразовательный тип продуктивен. Ср.: *толпа — толпиться*, *балаган — балаганить*.

луна — лунеть Его самолет *лунеет* и лижет вселенский лед (Н. Асеев, Единственный житель города)

труд — трудеть И эту радость по сердцам продень и дай им рдеться, не замирать, не созерцать, *трудеть* — игрою детства. (Н. Асеев, Машина времени).

В данном случае имеет место образование новой формально-семантической схемы построения слов, характеризующейся формальным показателем — суффиксом *e/ej-*, мотивирующим существительным и приведенным словообразовательным значением (глаголы данного типа образуются обычно от прилагательных, ср.: *синий — синеть* и т. п.).

---

[2] Об отнесении к суффиксам частицы *-ся/сь* см., например: *Земская Е. А.* Современный русский язык. Словообразование. М., 1973, с. 30.

Модель 2.

Словообразовательное значение: ‘подняться вверх подобно тому, кто назван мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

орел — взорлить Ты, сбросив с плеч ярмо вериг, *взорлила* к солнцу жизни новой. . . (Я. П. Бердников, Русь)

Новая формально-семантическая схема построения слов: префикс *вз-*, суффикс-*и*/*ø*- в сочетании с приведенным словообразовательным значением.

Модель 3.

Словообразовательное значение: ‘в течение некоторого времени вести себя подобно тому (совершать действия, свойственные тому), кто назван мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

эсер—поэсерить Только денек *поэсерили* (Д. Бедный, Покойница)

В данном случае возможны два варианта отношений непосредственной мотивации: *эсерить—поэсерить* и *эсер—поэсерить*. Дело в том, что слова данного структурного типа имеют соотносительные глаголы, которые служат для них производящими, ср.: *рыбак—рыбачить—порыбачить*. Этот тип является продуктивным. Проводя аналогию, можно было бы считать слово *поэсерить* производным от *эсерить*. Для установления отношений мотивации при этом используется принцип введения «нереализованного такта» (см. *П. А. Соболева*. Основания порождающей грамматики русского языка. М., 1968, 205).

Отношение *эсер — поэсерить* устанавливается, если учитываются только отмеченные в поэтическом тексте или в словарях слова и не принимается во внимание не реализованная здесь словообразовательная ступень.

Во втором варианте имеет место новая формально-семантическая схема: префикс *по-*, суффикс *и*/Ø- в сочетании с приведенным словообразовательным значением. Мы останавливаемся на последнем варианте решения.

Модель 4

Словообразовательное значение: ‘приобрести качества того, стать подобным тому, что названо мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

чужбина — очужбиниться И снова бег по мерцающей зале, Где все *очужбинилось* — дверь ли, стена ль. . . (И. Сельвинский, Улялаевщина)

Новая формально-семантическая схема: префикс *о-*, суффиксы *и*/Ø-*ся* в сочетании с приведенным словообразовательным значением.

Модель 5

Словообразовательное значение; ‘покрыться тем, что названо мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

лед — зальдиться чтоб не *зальдился* у Мавзолея его неостывший след. . . (Н. Асеев, Годовщина смерти вождя)

Новая формально-семантическая схема: префикс *за-*, суффиксы *и/Ø-ся* и приведенное словообразовательное значение.

Модель 6

Словообразовательное значение: ‘привести в состояние, характеризующееся качествами, выраженными в значении мотивирующего слова’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

пружина — распружинить Мы *распружиним* мускулы тела. . . (В. Д. Александровский, Взваливай больше на наши спины. . .)

Непродуктивный словообразовательный тип: Ср.: *задор — раззадорить*.

Модель 7

Словообразовательное значение: ‘осуществить ситуацию, выраженную мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

пауза — спаузить Он *спаузил*, явно тщеславия ради, Рукоплесканьям выделив миг (И. Сельвинский, Улялаевщина)

Новая формально-семантическая схема: префикс *с-*, суффикс *-и/Ø-* и приведенное словообразовательное значение.

Модель 8

Словообразовательное значение: ‘предоставить кому-либо то, что названо мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

стакан — остаканить Меня зарыв, Он тот же час Себя сивухой *остаканит* (С. Есенин, Метель)

Непродуктивный словообразовательный тип, ср.: *обилетить* (в современной устной речи).

Модель 9

Словообразовательное значение: ‘приобрести то, что названо мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

желудь — разжелудиться Но ведь дуб молодой, не *разжелудясь*, так же гнется, как в поле трава. (С. Есенин, Несказанное, синее, нежное)

Новая формально-семантическая схема: префикс *раз-*, суффиксы *и/Ø- ся* и приведенное словообразовательное значение.

Модель 10

Словообразовательное значение: ‘действовать с помощью того, что названо мотивирующим словом’.

Способ словообразования: суффиксальный.

копыта—копытить Хорошо *копытит* конь (С. Есенин, Вижу сон. Дорога черная. . .)

Словообразовательный тип продуктивен, ср.: *багор — багрить*, *борона — боронить*. Новым здесь является образование непереходного глагола *копытить* ‘бежать (о коне)’.

ГЛАГОЛЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ

Модель 1

Словообразовательное значение: ‘придавать чему-либо качество, названное мотивирующим словом’.

Способ словообразования: суффиксальный.

нищий — нищить Кто села изнурял и *нищил* города? (Д. Бедный, Кто защищается)

Продуктивный словообразовательный тип; ср.: *грязный — грязнить*.

ГЛАГОЛЫ, МОТИВИРОВАННЫЕ ГЛАГОЛАМИ

Модель 1

Словообразовательное значение: ‘интенсивно и (или) тщательно совершить действие, названное мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксальный.

любить — вылюбить Если душу *вылюбить* до дна, Сердце станет глыбой золотою (С. Есенин, Письмо к сестре)

Тип продуктивен, ср.: *лизать — вылизать*.

Модель 2

Словообразовательное значение: ‘совершить, довести до результата действие, названное мотивирующим словом’.

Способы словообразования: префиксальный и префиксально-суффиксальный.

решать — вырешить Но знаю, посмеются, погалдят и *вырешат* — пустые бредни снятся (Н. Асеев, Автобиография Москвы)

Новая формально-семантическая схема.

копытить — накопытить Напылили кругом. *Накопытили*. И пропали под дьявольский свист. (С. Есенин, Несказанное, синее, нежное)

Словообразовательный тип продуктивен, ср.: *пылить — напылить*.

Модель 3

Словообразовательное значение: ‘достигнуть большой интенсивности в совершении действия, названного мотивирующим словом’

Способ словообразования: префиксальный.

мчаться — разомчаться А другой, *разомчась* из Чечни, Ликом врезался в ветер встречный (Н. Асеев, Русская сказка)

Новая формально-семантическая схема (рядом с продуктивным словообразовательным типом, слова которого образуются префиксально-суффиксальным (постфиксальным) способом от глаголов, не имеющих возвратной формы, такими, как *бушевать, нервничать* и т. п).

Модель 4

Словообразовательное значение: ‘действие, названное мотивирующим словом, совершить, направив вокруг чего-либо, на все стороны чего-либо’.

Способ словообразования: префиксальный.

хлынуть — охлынуть Того ж, кто не видит проку в том, кто смотрит не ветки выше, таким мы *охлынем* рокотом, что он и своих не услышит! (Н. Асеев, О нем)

льнуть — обольнуть Мы, люди, преклоним колени, Где лед *обольнули* тюлени (Н. Асеев, Полярное путешествие)

печалить — обпечалить Буераки. . . пеньки. . . косогоры *обпечалили* русскую ширь (С. Есенин, Этой грусти теперь не рассыпать. . .)

Тип продуктивен, ср.: *кутать — окутать, смотреть — осмотреть.*

Модель 5

Словообразовательное значение: ‘однократно совершить действие, названное мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

ронять — сронить И в луны мешок травяной Он башку незадаром *сронит* (С. Есенин, Пугачев)

Новая формально-семантическая схема: префикс *с-*, суффикс *и/ø* и приведенное словообразовательное значение.

Модель 6

Словообразовательное значение: ‘удаляться, совершая действие, выраженное мотивирующим словом’.

Способ словообразования: префиксально-суффиксальный.

карабкаться — укарабкиваться И все ж до темна, через степь маяча, Сохраняя дистанцию в десять верст, *Укарабкивались* бандитские клячи

Под разбойничий свист, улюлю да порск (И. Сельвинский, Улялаевщина)

Новая формально-семантическая схема: префикс *у-*, суффикс *-ива-* и приведенное словообразовательное значение.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

1. Наблюдается сравнительно большое разнообразие словообразовательных моделей, применяемых в словотворчестве (на 24 произвольно взятых примера — 17 моделей).

2. Непродуктивные словообразовательные типы почти не используются в глагольном словообразовании (3 случая из 24). Предпочтение отдается конструированию новых формально-семантических схем (11 примеров) и образованию слов по продуктивным словообразовательным типам (10 примеров).

3. В качестве мотивирующих слов при глагольном словообразовании выступают существительные (отмечено 14 отсубстантивных образований), глаголы (9 образований) и гораздо реже прилагательные (1 пример).

Представляется интересным продолжить наблюдения над поэтическим словотворчеством в данном аспекте.

О СИМВОЛЕ В ПОЭЗИИ А. МЕЖИРОВА И Е. ВИНОКУРОВА

О. В. ШУЛЬСКАЯ

Решение одной из важнейших задач филологии — описание стилей поэтического языка с учетом тенденций его развития — предполагает обращение к сопоставительному анализу поэтических идиолектов в их сходствах и различиях. «Интуитивно то или иное своеобразие... авторов несомненно ощущается не только квалифицированным критиком, но и любым внимательным читателем. Однако пути сопоставительного описания еще не проложены, его методика не разработана и в науке... Сходства и различия в отношении к «корневой рифме» бросаются в глаза, между тем более структурные и собственно семантические сходства и различия между поэтами остаются нередко вне поля нашего зрения» [1].

Мы отдаем себе отчет в том, что бинарные сопоставления при отсутствии фона, на котором бы они рассматривались, безусловно, ограничивают исследование. Как известно, творчество поэтов проецируется не только на современные нормы литературного языка, на беллетристические нормы, но и на творчество поэтов-современников. Однако описание беллетристических норм, как и описание языкового многообразия индивидуальных стилей в их типологических сходствах и индивидуальных различиях в настоящее время отсутствует. Изучение этого фона — задача будущего. Любое описание поэтического арсенала художника слова явится определенным (пусть минимальным) вкладом в синхронное описание поэтического языка.

Сопоставление поэтических идиолектов можно проводить под разным углом зрения. Для определения особенностей художественного почерка поэтов представляет интерес сопоставление используемых ими слов-символов и символических рядов. Этот путь связан с обращением к словникам и частотным словарям, т. к. в данном случае «необходима статистика..., квинт-эссенция из цитат — предполагающая нелегкую обработку словесного материала» [2]. Характер символов и словесных ассоциаций, связанных с ними, является существенной чертой поэтического идиолекта, ибо символика каждого большого поэта в значительной степени дает представление о поэтической модели мира, конструируемой художником слова.

---

[1] *Григорьев В. П.* К спорам о слове в художественной речи.— В кн.: Слово в русской советской поэзии. М., 1975, с. 63.

[2] *Белый А.* Поэзия слова. Пг., 1922, с. 7.

Проблема символа и его «выявление» в художественном произведении — мало разработанная область как в лингвистике, так и в литературоведении. В связи с этим и определение символа лишено терминологической строгости. Символ вообще, «расширительно», с точки зрения гносеологии понимается как «образ, взятый в аспекте своей знаковости»[3]. Что касается его языковой природы, функционирования символа как явления поэтического языка, то это наименее изученный аспект, хотя первые попытки рассмотрения символа «появились в рамках лингвистической стилистики»[4].

Символ — особая проблема в теории тропов. Если знаковый характер символа, а также «многозначность самого термина символ»[5] не оспаривается учеными, то в вопросе отнесения символа к тропам это не освобождает их от разногласий. В противоположность утверждениям, что символ не является метафорой и никаким другим тропом[6] и что в основе возникновения символа не лежат собственно языковые причины[7], в ряде работ подчеркивается присущее символу «метафорическое начало, содержащееся и в поэтических тропах»[8]. Символ выводится из метафоры, когда «совершается замена самих предметов (метафора)... В последнем случае мы получаем символ, т. е. неразложимое единство; средства изобразительности в этом смысле суть средства символизации»[9]. Разницу между метафорой и символом А. Белый видит в том, что в метафоре замена одного через другое словесно выражена, а в символе второй план определяется только из всего контекста.

В. В. Виноградов, рассматривая символ с лингвистической точки зрения, понимая его вместе с тем очень широко, как поэтический образ вообще, подчеркивал, что символ может возникать не только на метафорической основе, но и в результате «повторяемости известных словесных сцеплений, ... порядка их появления»[10], а также благодаря положению слова-символа в определенной семантической сфере — семантическом гнезде.

Не вступая в теоретические споры о природе символа, мы будем говорить о художественном символе, принимая в качестве конструктивной точки зрения А. Белого и В. В. Виноградова об

[3] *Аверинцев С. С.* Символ.— Краткая лит. энциклопедия, т. 6. М., 1971, с. 826.
[4] *Бутырин К. М.* Проблема поэтического символа в русском литературоведении (XIX—XX вв.).— В кн.: Исследования по поэтике и стилистике. Л., 1972, с. 257.
[5] *Лосев А. Ф.* Символ.-Философ. энциклопедия, т. 5. М., 1970, с. 10.
[6] См. *Иванов Вяч.* По звездам. СПб., 1909, с. 247—248.
[7] См. *Черкасова Е. Т.* Опыт лингвистической интерпретации тропов.— ВЯ, 1968, № 2, с. 31; ср. *Некрасова Е. А.* Метафора и ее окружение в контексте художественной речи.— В кн.: Слово в русской советской поэзии. М., 1975, с. 80—85.
[8] *Квятковский А. П.* Поэтический словарь М., 1966, с. 263.
[9] *Белый А.* Символизм. М., 1910, с. 17.
[10] *Виноградов В. В.* О символике Анны Ахматовой.— В кн.: Лит. мысль. Пг., 1922, с. 136.

определении второго плана слова из всего контекста с учетом частотности слова, а также соотнесенности его с определенным кругом слов, ассоциативно связанных в сознании поэта и образующих те или иные образные комплексы. Рассматривая художественный символ, мы ограничим наши наблюдения индивидуальной символикой художника слова. Под индивидуальным символом мы понимаем символическое употребление слова [11], имеющего второй план и нагруженного у поэта дополнительными ассоциациями, которые и дают возможность слову стать символом. Слово-символ суггестивно, оно обладает способностью создавать глубинный смысл, находящийся в сложных отношениях с семантикой слова, часто не связанный с его номинативным значением.

Рассматривая индивидуальную символику поэта, мы различаем традиционный и индивидуальный символ. Традиционный символ, нагруженный всеми известными ассоциациями, используется поэтами часто как готовый образ; например, слово *лира* — «как символ поэзии вообще» [12], *буря* — как символ душевных и житейских потрясений и др.

Индивидуальная символика выявляется из всего творчества художника слова, поэтому необходимо отличать символ одного стихотворения от символики, которая прослеживается во всех контекстах поэта и связана, как правило, с частотностью слова. Такое слово не всегда характеризуется ярким сдвигом в его значении. Часто символическое употребление слова подчеркивается и закрепляется путем связи его с рядом словесных ассоциаций, прикрепленных к слову-символу и входящих с ним в один символический комплекс.

Цель данной работы — анализ и сопоставление некоторых ключевых слов, выступающих символами в поэзии А. Межирова и Е. Винокурова, а также определение характера построения символа и символических сцеплений у этих поэтов.

Для сопоставления нами взяты сборники А. Межирова и Е. Винокурова — поэтов одного поэтического поколения, рожденного войной. При всем различии художественного почерка, поэтического видения мира, их в какой-то степени объединяет «спокойная» манера письма, приглушенная метафоричность, установка на традицию, а не на яркое, необычное слово. Материалом послужили три сборника А. Межирова: «Ветровое стекло» (М., 1961), «Прощание со снегом» (М., 1967) и соответственно три сборника Е. Винокурова: «Признанья» (М., 1958), «Зрелища» (М., 1968) и «Метафоры» (М., 1972) [13]. Названные сборники Межирова и Винокуро-

[11] См. определение символа в работе «Поэт и слово. Опыт словаря» (М., 1973, с. 116).

[12] Поэтическая фразеология Пушкина. М., 1969, с. 126.

[13] В некоторых случаях использовались примеры и из других сборников обоих поэтов.

рова близки по времени их написания, а также по объему. Ко всем шести сборникам были составлены словоуказатели и частотные списки знаменательных слов (соответственно для каждого поэта), а на основе последних — частотные списки существительных, включающих наиболее частые слова (с частотностью не менее 12). Для анализа из этого списка выбраны лишь некоторые ключевые слова[14]: у Межирова — *снег*, *стекло*, у Винокурова — *звезда*, *окно*[15]. Выбирая для сопоставления отдельные ключевые слова, мы не претендуем на охват всей символической системы и достаточно полное представление поэтической модели мира у Межирова и Винокурова, поскольку проследить до конца все ассоциативные связи художников слова невозможно в одной статье.

*

Сложный и интересный художник, А. Межиров воспринимает мир как драматическую соотнесенность (но не противопоставление) контрастных понятий, из которой складывается гармония жизни. Этой «всеподчиняющей, с первых лет уловленной и до последних лет не утерянной гармонией»[16] связаны все стихотворения поэта, посвящены ли они теме войны, занимающей важное место и находящей очень личное решение у Межирова, или мирной, современной тематике. Как каждого большого поэта, А. Межирова интересует соотнесенность понятий внешнего и внутреннего мира человека, но не в плане вещной, бытовой конкретности в сопоставлении (или противопоставлении) с реальным миром, как у Винокурова, а в плане духовного контакта человека и внешнего мира. С этой основной, как нам кажется, особенностью межировского миропонимания связаны многие его символы, тесно объединенные друг с другом нитями ассоциаций. Поэтика Межирова характеризуется не только постоянством определенных тем, на которые он ставит все новые и новые акценты, но и привязанностью к одним и тем же словам[17], обнаруживающим в стихотворениях поэта множество семантических нюансов.

[14] О понятии «ключевое» слово и его выделении в частотном списке см. *Guiraud P.* Langage et versification. D'après l'oevre de Paul Valery. Paris, 1953, p. 155, а также: *Левин Ю. И.* О некоторых чертах плана содержания в поэтических текстах.— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, XII, 1969, p. 107.

[15] Сопоставление одних и тех же слов на одном уровне у Межирова и Винокурова не дает объективной картины, так как их «вес» различен в поэтических системах обоих художников слова, поэтому нами выбраны те символы, которые являются ядром значимого образного комплекса и выражают важную тему в творчестве того и другого поэта.

[16] *Анненский Л.* Неисчерпаемость поэзии.— Москва, 1963, № 12, с. 209.

[17] В этом отношении показательно сравнение частотных списков существительных у Межирова и Винокурова. В частотный список наиболее частых слов (с частотностью не менее 12) у Межирова входит 39 слов, у Винокурова — 67.

Имя Винокурова обычно связывают с представителями так называемой «прозаической поэзии» [18]. В литературной критике не раз подчеркивалось пристальное внимание Винокурова к обыденным, прозаическим вещам. Отсюда и значительный процент лексики, называющей бытовые, конкретно-вещные реалии. На пристрастие к бытовому, обыденному указывает и сам поэт: Мне нравится обыденная речь. Слова простые: *хлеб, вода, поленья...* («Мне нравится обыденная речь...»).

Одной из особенностей поэтического мироощущения Винокурова является восприятие внутреннего мира человека и окружающего его внешнего мира в контрастах и противоречиях. Уделяя достаточно много внимания этой черте винокуровской поэзии, литературная критика противоречива в оценке цельности поэтического мироощущения у Винокурова. С одной стороны, мы находим высказывания о том, что контрасты у Винокурова не дают синтеза и поэтического единства. «Это значит, что нет того цельного поэтического мироощущения, которое позволяет видеть в „капле малой божество", в милых сердцу частностях — частицу мировой жизни» [19]. С другой стороны,— «столкновение противоборствующих... начал жизни ощущается у Винокурова не только в оголенной философичности замысла, но и в самой поэтической плоти» [20].

Контрасты занимают немалое место и в поэтическом мире Межирова, но гармония мира для него — неотъемлемая часть восприятия жизни. В литературной критике не случайно прозвучала тема сопоставления этих двух поэтов: «Своеобразие его (Винокурова) интонации особенно отчетливо выступает при сравнении с кем-нибудь из близких по судьбе поэтов. Вот, например, А. Межиров — сильный и сложный художник, намеренно избегающий резких тонов, какого-либо психологического нажима на читателя. В неярких его красках, в строгой простоте и точности рисунка — особая художественная позиция, с высоты которой Межиров отвергает риторику, вносит в жизнь начала истинной гармонии. Винокуров тоже побивает риторическую лжепоэзию, но иными средствами. Он противопоставляет ей повышенную экспрессивность, резко сгущает краски» [21].

*

Обратимся к анализу некоторых ключевых слов в поэзии А. Межирова. Слово *снег*, являющееся центром сложного образного комплекса, во всех трех рассматриваемых сборниках употребляется с высокой частотой. Оно входит в название стихотворения и в

[18] *Марченко А.* «Что» и «как» в поэзии.— БЛ, 1962, № 2, с. 39.
[19] *Ермилова Е.* Обыденная речь или поэтическое слово? — Лит. газ., 1973, 1 авг.
[20] *Евтушенко Е.* И в Санчо Пансе живет Дон-Кихот.— Лит. газ., 1973, 1 авг.
[21] *Лавлинский Л.* Я дневника не вел...— ЛГ, 1969, 21 мая.

название сборника — «Прощание со снегом». Слово, употребленное в заглавии стихотворения или сборника, как правило, значимо у поэта. Таковым оно выступает и у Межирова: И сколько б ни валила с неба На землю зимняя страда, В Москве не будет больше *снега*, Не будет *снега* никогда (Прощание со снегом). В этом контексте слово *снег* явно нагружено дополнительными ассоциациями. Прежде, чем проанализировать названное стихотворение, обратимся к другим контекстам, включающим слово *снег*.

В сборник «Ветровое стекло» входит стихотворение «Тишайший снегопад», относящееся к раннему периоду творчества Межирова. Это стихотворение о снеге, о снегопаде в Москве: Тишайший *снегопад* — Дверьми обидно хлопать. Посередине дня — В столице, как в селе. Тишайший *снегопад*, Закутавшийся в хлопья, В обувке пуховой Проходит по земле.

Слово *снегопад* употреблено здесь в метафорическом контексте, где у этого слова появляется сема ‘мягкое, тихое’, которую поддерживают слова *хлопья*, *пуховой*, *тишайший*, а также следующее далее сравнение: И все-таки он (снегопад) кот В *пуховых сапогах*. Ср. перифразу к слову *снег — перина пуховая* — в контексте, где также акцентируется у слова тот же оттенок значения: Такая тишина зимы. *Периной пуховой* укрыты Все крыши, купола и плиты — Все третьеримские холмы. (Баллада о немецкой группе).

В сборниках Межирова мы отмечаем немало примеров, где слова *снег*, *снегопад* употребляются в «благожелательном» контексте [22]. Это слово со знаком +: По роскошеству нарядов Небывалой белизны, По обилью *снегопадов* Краше этой нет весны. (Песня доверья). Ср. также контексты, где подчеркивается сема ‘светлое’ в слове *снег*: Теперь всю ночь, до поздних зимних зорь, И при дневном, от *снега* белом, *свете* Стой на своем... (Споры); По лесам, среди валежин, На асфальте городов *Снег* подошвами заслежен, Вижу, подписи следов. Люди в сон внесли, как в терем, *Снежно-белый* лист земли, И меня своим доверьем, Расписавшись, облекли (Песня доверья).

Мы видим, что только пейзажное прочтение стихотворений Межирова о снеге не давало бы действительной картины. Благодаря микросдвигам в словах *снег, снегопад* их смысловой вес увеличивается. У этих слов появляется второй план. В ранний период творчества снег у Межирова — символ светлого мироощущения. «Его тишина — это тишина в сердце, это уверенность в доброте мира, тихая сказка, сбывшаяся в заснеженном городе» [23].

---

[22] Ср. из сборника «Под старым небом» (М., 1976): Я не могу уйти — но ухожу, Пересекаю ржавую межу, По ржавым листьям — к *снегу* молодому (Я не могу уйти — но ухожу...); И голубоватый *снег* простынный Стелет прямо под ноги луна (Alter ego).

[23] *Приходько В.* Дорога по-прежнему далека.— Знамя, 1964, № 5, с. 229.

В стихах более позднего периода в структуре символа *снег* происходит развитие новых компонентов значения, которые возникают благодаря семантическим связям, устанавливающимся между словом *снег* и его словесным окружением: Я жил в морозной пыли, Закутанный в *снега*. Меня писать учили Тулуз-Лотрек, Дега (Москва. Мороз. Россия.). В этом примере в метафорическом сочетании *закутанный в снега* у слова *снег* появляется сема «находящийся во власти каких-то сил». Снег уже не воспринимается здесь как символ романтического мироощущения — не случайно Межиров говорит о манере письма Тулуз-Лотрека и Дега — художников, далеких от романтического восприятия жизни. Ср. также: Другую (книгу) выстрадал сполна Духовно. В ней опять война Плюс полублоковская *вьюга*. Подстрочники. Потери друга. Позор. Забвенье. Тишина (Две книги у меня...).

В сборнике «Прощание со снегом» слово *снег*, оставаясь попрежнему высокочастотным и значимым, обогащается новыми оттенками смысла. Вернемся к стихотворению «Прощание со снегом».

Вот и покончено со снегом
С московским снегом голубым,—
Колес бесчисленных набегом
Он превращен в промозглый дым.

О, сколько разных шин! Не счесть их!
Они, вертясь наперебой,
Ложатся в елочку и крестик
На снег московский голубой.

От стужи кровь застыла в жилах,
Но вдрызг разъезжены пути,—
Погода зимняя не в силах
От истребленья снег спасти.

Москва от края и до края
Голым-гола, голым-гола.
Под шинами перегорая,
Снег истребляется дотла.

И сколько б ни валила с неба
На землю зимняя страда,
В Москве не будет больше снега,
Не будет снега никогда.

Анализ этого стихотворения вне контекста всех других сборников Межирова может привести к прямолинейному прочтению его, какое мы и находим у критика С. Рассадина в статье «Беру

мое» [24]. Отвечая на свой вопрос, что в этих стихах выражено, Рассадин заключает: «Честно поразмыслив, отвечу: в Москве так много машин, что они истребляют весь снег..., у Межирова факт (уже поистине печальный — подтверждаю как московский пешеход) с помощью драматической лексики и драматических интонаций лишь увеличен, озвучен, окрашен — все, что угодно, только не поднят до уровня живой трагедии, о которой нам заявляют так настойчиво.. Разыгралась буря в стакане, но с превосходнейшим учетом десятибалльного шторма» (Там же). Подобные оценки произведения, минующие исследование структуры всей поэтики художника слова, характерны для многих критических работ, пренебрегающих анализом языка и стиля автора.

Стихотворение «Прощание со снегом» очень значимо для Межирова, что подтверждает и вынесение его названия в заглавие сборника. Приходит пора зрелости, и поэт прощается с прежним мировоззрением. Если в «Ветровом стекле» снег, который «формами дворов На кубы перерезан», связан все-таки в сознании поэта с чем-то мягким, светлым (Но все-таки он *Кот в пуховых сапогах*), то в «Прощании со снегом» голубой снег «истребляется дотла»: Колес бесчисленных набегом Он превращен в *промозглый дым*. В этом стихотворении, построенном на иносказательности образов (отсюда — и различные прочтения его), снег можно рассматривать как символ холода и мрака. Это уже слово со знаком —. Такое значение подкрепляется и другими употреблениями слова *снег*, а также слов, входящих с ним в один образный комплекс и связанных в некоторых контекстах Межирова с темой холода, какой-то давящей силы, от тяжелой власти которой поэт пытается освободиться: Что-то дует в щели, *Холодно* в дому. Подошли *метели* К сердцу моему. Подошли *метели*, Сердце замели. Что-то дует в щели *Холодом* земли. (Что-то дует в щели...); Но оттаять в объятиях юга До сих пор я никак не могу И дышу, как *сибирская вьюга*, На зеленом твоем берегу (Горы).

Тема прощания со снегом, со стихией, во власти которой поэт находится, звучит во многих стихотворениях Межирова. В большинстве случаев в этих контекстах мы отмечаем микросдвиги в значении слова *снег*, а также иносказательность образов, которая поэтом, как правило, не раскрывается, а становится понятной при учете всей образно-символической картины. Например: Громко ахала весна — *Снег взрывали*, И в подвале Нарушалась тишина (Два отрывка).

Все стихотворения, объединенные темой прощания с прежним мировосприятием, «прощания со снегом», характеризуются драматическим звучанием, концентрацией лексики определенного пла-

[24] *Рассадин С.* Беру мое.— Лит. газ., 1975, 27 авг.

на: *убыл, тяжко, холодный, бессонница, ропот* (Просыпался от лопат...), *ахать, последний, отчаянно* (Два отрывка) и др. Это настроение придает соответствующую окраску символу *снег*, который в свою очередь используется поэтом в качестве определенного эмоционального тона.

В поэтическом мире Межирова символ *снег* связан также с темой музыки, звучания в природе: Над полуторкой вьется *снежок*. Старой *песенкой*, в юности петой, Юный голос мне сердце обжег... (Крытый верх у полуторки этой...); То ли ранний ручей пробудился В ноздреватом весеннем *снегу*, И от стужи слегка простудился, И о чем-то *бубнит* на бегу (Любимая песня).

Образный комплекс, ядром которого является слово-символ *снег*, часто связывают в критике с блоковскими мотивами Межирова. Однако образно-символический ряд *снег, метель, вьюга*, являющийся очень важным в символической системе сборников А. Блока, носит у Межирова совсем иной характер и имеет иную тональность. И хотя в одном из своих стихотворений Межиров говорит о «полублоковской вьюге», эти строки не следует понимать упрощенно, как стремление подражать Блоку. Ведь «полублоковская вьюга» — «это и не «вьюга» и не «Блок», а в лучшем случае «тишайший снегопад» в знакомых наизусть переулках милого Замоскворечья» [25]. Весь названный образно-символический комплекс только косвенно связан с Блоком — это обращение к традициям, нахождение во власти их.

Слово *снег*, обнаруживающее множество семантических нюансов в контекстах Межирова, является одним из сложных символов поэта. Поскольку в структуре этого слова нет никаких препятствий для употребления его в различных значениях, в поэтике Межирова происходит развитие символа *снег*. Его семантическая структура представлена такими компонентами, как 'тихое, светлое', а также 'мрачное, холодное'. Между этими значениями есть ряд переходных случаев. Та или иная сема, входящая в структуру символа *снег*, может выдвигаться в контексте на первый план или оставаться на периферии, накладывая свой отпечаток на основное значение этого символа.

Символическое употребление слова *снег* не препятствует у Межирова использованию его в прямом значении, без дополнительной смысловой нагрузки. Например: Синявинская черная вода Под *снегом* никогда не замерзала (Споры); *Снегом* жажду утоляя, Дышит — пышет в рукава (слесарь) (Над домом). Однако таких примеров в анализируемых сборниках Межирова мы нашли немного. В преобладающем большинстве случаев символический взлет слова оказывает влияние на все употребления его в текстах поэта.

---

[25] *Глушкова Т.* Мастер.— Лит. обозрение, 1976, № 1, с. 42.

В этом отношении характерно стихотворение «На заснеженном вокзале...».

На заснеженном вокзале,
Отправляясь в дальний путь,
У вагонов мы стояли,
Снег старались отряхнуть.

Над перроном выла вьюга,
Снег валился вкривь и вкось,
Отряхнуть его друг с друга
Нам тогда не удалось.

Уезжали из метели,
Уходили от зимы,
Не прошло и полнедели —
Угодили в лето мы.

Дождь накрапывал в Батуми,
Было сыро и тепло.
Акробатом на батуте
Бакен прыгал тяжело.

С кошельковой сетью сейнер,
Как заржавленный утюг,
Все похоже здесь на север,
А на самом деле — юг.

Отпустили нас тревоги,
Отступили холода,
Снег растаял по дороге,
Не осталось ни следа.

У слова *снег*, как и у слов, входящих с ним в один символический ряд (*вьюга, метель, зима*) здесь нет видимого приращения смысла — они не входят в тропеически нагруженный контекст. Тем не менее слово *снег* в этом стихотворении имеет второй план. В нем присутствует сема ‘холодное, тяжелое’. Такое прочтение возможно при учете всех других компонентов символической структуры слова *снег* у Межирова, который строит свою поэтику не на ярком, броском метафорическом слове, а на тонких, иногда едва уловимых сдвигах в значении. Поэтому при анализе символики Межирова важно учитывать те «невидимые нити», которые «могут протягиваться между словами там, где при грубом учете их значений не может быть никакой связи» [26]. От таких слов «тянутся нежные, но цепкие щупальцы, схватывающиеся с таковыми же других слов, и тогда реальности... оказываются захваченными этой крепкою сетью из почти незримых нитей» (Там же).

[26] *Флоренский П. А.* Строение слова.— В кн.: Контекст, 1972. М., 1973, с. 369.

*

Слово *снег* у Винокурова не приобретает, как нам кажется, значения индивидуального символа. Слова *метель*, *вьюга*, *зима* употребляются в анализируемых сборниках с невысокой частотой.

Слово *снег* и его контекстуальные синонимы мы находим у Винокурова как в предметной, так и в образной части сравнения [27]: На деревьях *снега*, как пена... (Два лица); *Снежинки*, летя с небес, Словно крошечные балерины, Танцевали нам полонез. В словах *снег*, *снежинки* при сравнении со словами *пена* и *балерина* подчеркивается значение ‘легкое, белое’ — хотя цветовой признак необязательное качество предмета, он присутствует здесь как у слова *пена,* так и *балерина.* С другой стороны, при использовании слова *снег* в качестве образа сравнения также берется его признак белизны: А ведь ромашки как *снежинки* были... (Цветы) — или сухости: Будь просто сух, как отлетевший сук, Как *снег* бывает сух при стуже (Ничто на свете пусть не окропит...).

Таким образом, слово *снег* у Винокурова используется в основном в качестве традиционного сравнения, когда берутся основные признаки этого слова (‘легкость, сухость, белизна’). В отличие от употребления слова *снег* у Межирова, это сквозной, проходящий образ у Винокурова, занимающий периферийное место в его поэтике.

В список самых частых существительных трех анализируемых сборников Винокурова входят такие высокочастотные слова, как *лицо*, *рот*, *тело*, *кровь*, *смерть*, *тайна* и др., являющиеся ключевыми у поэта. Некоторые из них вынесены в заглавия стихотворений и сборника («Лицо человеческое»). Однако при всей значимости эти слова в поэзии Винокурова не становятся символами, ибо необходимым условием символического взлета слова является нагруженность его дополнительными ассоциациями, появление у него второго плана.

Утверждая свою художественную позицию — поэтику простоты, Винокуров часто идет по пути использования традиционных поэтических средств. Основной «нормативный» тон его поэзии [28], наряду с «приглушенными» метафорами и сравнениями, близкими к общеязыковым, поддерживается и символами. Поэт обращается к словам, символическое употребление которых закреплено в литературе давней традицией. К таковым относится слово *звезда*, являющееся у Винокурова ключевым. Поэт использует традиционную символику этого слова, имеющего определенное наполнение —

[27] У Межирова мы нашли только один пример (из первого сборника «Дорога далека»), где слово *снег* входит в сравнение: *Снег* седой щетиной на скуле...

[28] См.: *Некрасова Е. А.* Сравнения общеязыкового типа в аспекте сопоставительного анализа художественных идиолектов (наст. сб.).

'что-то светлое, прекрасное, мечта': И пусть тобой подорвана основа, Эйнштейн! Туда, к предутренней *звезде*! (Опять).

Установившийся комплекс ассоциаций, прикрепленных к символу *звезда*, находит отражение в стихотворениях Винокурова: это слово входит в контексты, связанные с темой творчества, миросозерцания, что определяет и подбор лексики определенного плана: Мне в пустыне бы жить, говоря про стихи Под *звездою* с библейскими пастухами. Как могла б моя речь величавая течь! (Пустяки); Отрочество — это миг, Когда короче всего расстояние От сердца до человечества. Это глаза, Поднятые к *звездам*,— Взлет в область бескорыстия... (Отрочество).

Иногда поэт оживляет этот традиционный поэтический образ, вводя его в «непоэтическое» окружение и тем усиливая его звучание: Еда и женщина! Сняты Покровы с жизни. В резком свете, Мир прост! Ужасней простоты Нет ничего на этом свете. Мы шли. Дорога далека! Держались мы тогда непрочной, Мгновенной сложности цветка И синей *звездочки* полночной (Простота); Снег вокруг моих ботинок подтаял, А в алюминиевом чайнике, Который я держал в руке, Вода уже покрылась корочкой льда... Я видел над глыбой леса, Далеко-далеко, в стороне от других, отставшую, Одну маленькую *звездочку*. Я смотрел на нее. И она смотрела на меня (Опоздал). В последнем примере в слове-символе *звезда* акцентируется значение 'судьба'. Ср. также: Своей хранимый робкою *звездою*, Я не люблю задач не по плечу (Пиры).

Слово *звезда* мы находим у Винокурова в контекстах, включающих контрасты, постоянно привлекающие внимание поэта; будничное, прозаическое — высокое, светлое, а также: свет — тьма: Пусть всегда Над низменным, Над мелким И над пошлым Горит *звезда*, Горит моя *звезда*! (Любовь); Но *звезды* нужны им (девушкам), Чтоб, глядя на них, Вздыхать о делах своих, Близких, земных (Для девушек робких...); А я во тьме привала Был к *звездам* вознесен (Овладеванье); Вдали чернела глыба леса... Я поднимал голову: Надо мной было несчетное Воинство *звезд* (Опоздал).

Наряду с тропеически нагруженными контекстами, в которые входит слово *звезда*, мы находим у Винокурова и формульные сочетания с этим словом: Победно надо мной Ночь зажигала *звезды* (На платформе); А я любил разлив природы И тесноту вечерних *звезд* (Стихи о детстве).

Символ *звезда* у Винокурова довольно статичен. Семы, входящие в структуру этого символа ('светлое, прекрасное', а также 'судьба'), реализуются в контекстах в равной степени на протяжении всего исследуемого периода в творчестве поэта.

Традиционно-поэтический ореол слова *звезда*, его символика оказывают влияние на употребление этого слова в стихотворениях Винокурова. Контексты, где *звезда* употребляется в нормативных значениях, встречаются у поэта в анализируемых сборниках отно-

сительно редко. Например: Сияют *звезды*, шумен ближний сад (Возвращение).

Частотность употребления слова *звезда* в рассмотренных сборниках Межирова очень невысокая (6). Анализ его творчества показывает, что поэт, как правило, уходит от традиционной символики. Слово *звезда* мы находим у Межирова в контексте, где лексическое окружение, ситуация не соответствует ореолу этого слова, а также в контексте, содержащем иронию (второй пример): Луна у нее под ногами И дюжина *звезд* над короной, И на мотоцикле кругами По правилам аттракциона (Аттракцион); Просыпался от лопат, По булыжнику скребущих. *Звезды* крупные горят, Нету снега в райских кущах. Ну, а здесь вдали от *звезд*, Райская не в моде нега... (Просыпался от лопат...).

Мы нашли только один пример в сборниках Межирова, где у слова *звезда* используется его традиционно-поэтическое наполнение: Рухну с обрыва в бездну, К *звездам* душой рванусь (Снится, что умираю...).

*

Тема контакта человека и внешнего мира очень существенна для Межирова. Ее выражает ключевое у поэта слово *стекло*. Слово это, вынесенное и в заглавия стихотворения и сборника («Ветровое стекло»), также может рассматриваться как индивидуальный символ. Стекло — это та призма, сквозь которую лирический герой поэта воспринимает жизнь.

Характерно в этом отношении стихотворение «От зноя и от пыли...», рисующее символическую картину эволюции лирического героя, изменения его восприятия жизни: От зноя и от пыли, От ветра и воды, Терраску *застеклили* На разные лады. Цвела моя терраска! Для каждого *стекла* Особенная краска Подобрана была!

Эти начальные строки, где все слова (кроме глагола *цвела*) употреблены в своих основных значениях, подготавливают читателя к восприятию слова *стекло* в его фразеологически связанном значении: С террески *застекленной*, Из пестрого окна Мне жизнь видна зеленой И розовой видна (Ср.: *смотреть на что-либо сквозь розовые стекла*) И далее слово *стекло* развивает индивидуальное, поэтическое значение: *Стекляшками* на части Разъято бытие...; Но жизнь превыше быта, Добро сильней, чем зло. И вдребезги разбито Обманное *стекло*. Нейтральное *стекло*, получая недвусмысленную оценку (обманное), становится здесь фактором, препятствующим неискаженному мировосприятию, символом искажения действительности.

Время и жизнь меняют призму, сквозь которую лирический герой Межирова воспринимает мир. Обманному стеклу противопоставляется прямое: Зеркала выпрямляем кривые, Ставим в рамы

прямое *стекло* (В жизни парка наметилась веха...). В стихотворении «Ветровое стекло» мы находим контекст, говорящий о иных — несубъективных — причинах искажения мировосприятия: А время шло, Мужая и борясь, И на *стекло* Отбрасывало грязь.

Все это стихотворение пронизано символикой, а слово *грязь*, которую герой стирал *во мгле*, *На ветровом Исхлестанном стекле*; *ливень*, что воя, Падал тяжело На ветровое Мокрое стекло; *гроза* воспринимаются как иносказание. Межиров, как правило, не раскрывает условность и иносказательность своих образов, но стихотворение завершается явно символической картиной: И смотрят двое Весело и зло Сквозь ветровое Грязное *стекло*.

Между обманным, или грязным, и прямым есть множество переходных случаев; все они говорят о невозможности неопосредованного восприятия всего многообразия действительности в ее прошлом и настоящем: Сквозь грань *стекла*, через прозрачный сок Я вижу опаленную страну (Слово на кахетинском празднике); А он не спит ночами, Уставясь тяжело, Печальными очами В морозное *стекло* (Отец).

Слово-символ *стекло* в поэтическом сознании Межирова ассоциативно связано со словом *окно*, выражающим тему контакта микро и макромира, дома и «мира заоконного». Образ окна часто используется в поэзии (ср., например, значимость этого образа у Пастернака), но у Межирова он получает индивидуальное звучание. Слово окно связано с символическим рядом, о котором говорилось выше: *снег*, *зима*, *мороз*, *метель*, *вьюга*, с темой прощания: Скоро, скоро, *зима*, *зима Снегом* окно залепит. Я отдаю тебя задарма, Губы твои и лепет (Скоро, скоро, зима, зима...); А за *окном зима*, *зима*, Но прочен дом, надежны своды. Прощай, цыганка, Ты сама — Дитя дороги и свободы (Кончается воспоминанье); В прямоугольнике *окна* Перину стелет пуховую *Метель* (Баллада о немецкой группе); Что там творится в мире *заоконном*?! Зима в исходе, видно по всему. Давайте вместе слушать, как со звоном Летит сосулька из зимы в весну (Февраль).

Индивидуальное звучание темы окна подчеркивает и наличие этого слова в контексте, связанном с темой музыки, которая объединяет все образные комплексы и символические ряды у Межирова: Незнакомая страна... Родниковая струна День и ночь звенит под камнем Возле самого *окна* (Песенка Сагурамо), Будет на свечу собака Из полуночного мрака Лаять в низкое *окно*. Спи. На улице темно. Далеко еще до света, Не допета песня эта... (Во Владимир перееду...).

У Межирова мы не находим таких ситуаций контакта микро и макромира, как, например, у Пастернака: вещи домашнего обихода, предметы в комнате, бытовое — и внешний мир в его бесконечности. У Межирова ситуация по ту и другую сторону окна совершенно четкая — человек и внешний мир, природа. Вещный

мир, бытовое никогда не выступают у Межирова на первый план, что характерно для поэзии Винокурова.

В стихотворениях Межирова, где звучит мотив окна, чаще всего мы находим ситуацию, когда человек видит мир из окна, воспринимает жизнь из своего микромира: Надо подойти к *окну*,— Чтобы сердце билось чаще, Чтобы холодок знобящий Спать бы не дал никому (Спин на паперти калека...); Глядит, глядит в молчанье Приезжий старожил, Как под *окном* мещане прогуливают жир (Из дневника); Чем познаванья поздние чреваты — Бедой или победой над бедой, Когда в *окне* — туман солоноватый И в горле — соль премудрости седой (Баллада преодоления). Используя полуметафорические сочетания *соль премудрости* и *туман солоноватый* (последний пример), Межиров подчеркивает то общее, что связывает внешний мир и внутренний мир человека.

Мотив окна и стекла встречается у Межирова и в ситуации, когда жизнь входит через окно в микромир: Еще война бандеровской гранатой Влетала в полуночное *окно*,— Но где-то рядом на постели смятой, Спала девчонка нежно и грешно (С войны); Иркутск в холодное *стекло* С твоим прищуром смотрит зло... (Иркутск).

Несмотря на значимость образа окна в поэзии Межирова, у нас нет оснований говорить о слове *окно* как об индивидуальном символе, каким выступает у Межирова слово *стекло*, обнаружившее сдвиги в значении во многих контекстах и нагруженное у поэта дополнительными ассоциациями. Мы не нашли у Межирова ни одного случая включения слова *окно* в тропеически нагруженный контекст. Однако слово *окно*, входя в круг словесных ассоциаций, связанных с символом *стекло*, а также с другими символами, например, *снег*, подчеркивает индивидуальное, межировское звучание символа *стекло*.

*

У Винокурова слово *окно* встречается во многих сборниках с высокой частотой [29]. Как и Межиров, Винокуров использует этот традиционный образ для выражения темы контакта человека и внешнего мира. Но мотив окна и тема контакта получают у Винокурова иное звучание.

Слово *окно* входит у Винокурова в название двух стихотворений: «Окна», «Окно». Ярких сдвигов в значении этого слова мы не обнаружили в стихотворениях поэта. Можно отметить лишь отдельные случаи микросдвига в слове *окно* в следующих контек-

[29] Слово *стекло* в рассмотренных сборниках Винокурова встретилось только три раза. В остальных книгах поэта оно также употребляется с невысокой частотностью и без существенных приращений смысла.

стах: Мы тоненькими голосами Вели, а в глубине окна Мерцающими корпусами Светилась новая страна (Стихи о детстве); Заката древние красоты Стояли в глубине окна... (Моя любимая стирала...). У слова *окно* в неотмеченном сочетании *глубина окна* в обоих примерах появляется значение пространственности, объемности: *глубина* ‘место, пространство на значительном, на какомлибо расстоянии от поверхности до дна или края внутрь чего-либо’, ср. нормативные сочетания *в глубине двора, комнаты*. Это важно подчеркнуть, так как Винокуров видит глубину, объемность в конкретно-вещном, будничном мире, окружающем человека.

Проанализируем стихотворение «Звериное тепло домашнего уюта», где слово *окно* является стержневым в формировании образов.

Звериное тепло домашнего уюта...
А комната — как будто бы каюта.

И кажется, качается диван.
Жизнь за окном — Великий Океан!..

А комната? Ее несет куда-то!
На стенке календарь. Какая нынче дата?

А комната? Среди скитаний — стан.
По звездам держим путь. Вверх подыми секстан!..

Свисают простыни! Нестойкий привкус чада.
И ползает дитя. Бьет погремушкой. Чадо!

За стенкой холода. Но ход необратим —
И потому вперед куда-то мы летим.

Дитя бубнит во сне. И пар от молока...
Пропосятся в окне со свистом облака!

Все стихотворение пронизано символикой. Поэт развивает традиционный символический образ плавания на корабле по морю. Этот образ поддерживается также традиционными сравнениями комнаты с каютой, жизни — с океаном. Здесь используется и лексика, которая может быть включена в тот же образный комплекс, связанный с изображением жизни как плавания по морю: *секстан* (устар. форма от *секстант*), *скитания, стан, звезды, держать путь, лететь*. Особенность их употребления здесь заключается в том, что эти традиционные романтические образы постоянно перебиваются бытовыми, нарочито прозаическими деталями: *диван, привкус чада, погремушка, бубнит, пар от молока*. Концентрация этой лексики, называющей бытовые реалии, в одном контексте с традиционно романтическими образами преследует цель как бы уравнять эти два контрастных плана — романтическое и будничное, прозаиче-

ское,— которые объединяются Винокуровым как две стороны одного явления — жизни. Таким образом, традиционные символы возрождаются здесь в новом их использовании и получают чисто винокуровское звучание.

Стихотворение композиционно также подчинено общей идее — оно как бы обрамляется образом окна (и стены), с одной стороны которого конкретно-вещное, будничное, а с другой — внешний мир, природа, стихия. См. также стихотворение «Из исторических событий», где повторяется та же тема и используются те же образы: Где в чайной райпотребсоюза На *окнах* шторки парусят...; Я взял салатик и вина... И вечность, может быть, дохнула Сквозь шторки узкого *окна*. В последнем примере мы находим контраст того же плана: *салатик* и *вечность*.

Тот же принцип построения, т. е. изображение ситуаций по обе стороны окна, можно отметить и в других стихотворениях Винокурова. Например: За *окном* неистовый Ветер выл в трубе, А ему подсвистывал чайник на столе; По потолку проходит трещина, На стенке календарь без дат. И как высокая библейщина, В *окошко* небеса глядят.

В последнем случае контраст образов подкрепляется и словесно: здесь мы находим несоответствие между высоким понятием *библия, библейский*, что подчеркивает и эпитет *высокий*, и стилистической окраской слова *библейщина*. Суффикс *-щин*(а) «служит для образования отвлеченных слов, которыми обозначаются характеристические общественно-бытовые явления, идейные течения с отрицательной окраской»[30], например, *вкусовщина*, *уголовщина* и др.

В стихотворениях Винокурова встречается и ситуация, когда по одну сторону окна — человек (иногда вне вещно-конкретного быта), а по другую — жизнь в ее историческом развитии: Его (отца) куда-то уносило, Во глубь неслыханной новн... И мчалась за *окном* Россия В слезах, пожарах и крови (Вагон в 1918 году); В тишине мы не стирая слез, глядели На вспышки дальние в *окне* (Стихи о детстве).

Таким образом, тема окна получает в большинстве рассмотренных нами контекстов чисто винокуровское звучание. Окно — это грань, отделяющая подчеркнуто обыденное, будничное и высокое, мир вещей и мир природы, ход истории — т. е. те полярности, диалектику которых Винокуров пытается установить в своем поэтическом мире. При всей значимости контекстов, включающих слово *окно*, мы не может утверждать, что слово это является индивидуальным символом у Винокурова. Безусловно, поэт не случайно выбирает определенную реалию из множества других. Именно эта реалия, в данном случае окно, важна для него. Отсюда и высокая

[30] *Виноградов В. В.* Русский язык. М., 1972, с. 118.

частотность слова *окно,* и включение его в названия некоторых стихотворений. Как мы уже отмечали, у слова *окно* в некоторых контекстах появляется сема 'объемное, пространственное', но она звучит довольно приглушенно, что еще не дает основания говорить о наличии второго плана в этом слове. *Окно* у Винокурова только приближается по значению к символу. Следует заметить, что образ окна у Винокурова довольно статичен. У него почти нет движения. Возможно, Винокуров не раскрывает этот образ, так как использует его готовое традиционно-поэтическое наполнение (как и в символе *звезда*). Этот характер построения символа связан с особенностями поэтики Винокурова, с использованием им традиционно-поэтических средств, с установкой его поэзии на простоту выражения. В этом отношении показательно стихотворение «Метафоры», где поэт говорит о своем понимании тропов. Метафора получает у него расширенное толкование: И та вон рожь, что колосится *Метафора.* И бор. И брег... *Метафора* — и та вон телка. И луг. И тополь. И дома...

В этом полемически заостренном стихотворении (*Кому-то там я не потрафил, Что был от треска в стороне*) Винокуров подчеркивает свое отношение к слову, в котором на первый план выдвигается его вещественно-логический элемент, его традиционные связи с другими словами. Это отличает его от поэтов, основным принципом словоупотребления которых является отношение к слову как экспрессивной единице.

*

Мы рассмотрели две символические сферы, два образных комплекса у Межирова и Винокурова. Само значение символов, способы их сцепления различны у этих поэтов, как различно и поэтическое мировосприятие у Межирова и Винокурова. Особенностью символики Межирова является тесное переплетение символических рядов. Слова-символы переходят у него из одного образного комплекса в другой очень пластично, составляя такой переплетенный клубок ассоциативно связанных символов, что, рассматривая их в отдельности, мы как бы нарушаем гармонию в поэтическом мире Межирова. Это относится и к символическим комплексам, центрами которых являются слова *снег* и *стекло.* От них тянутся нити к другим не менее важным комплексам, которые, по-видимому, невозможно исследовать со всей исчерпывающей полнотой, ибо «...рационально-логическое толкование всех деталей образно-символического построения поэта всегда будет только приблизительным, можно только приподнять „покрывало" со стихов и яснее увидеть „светящиеся слова"» [31].

[31] *Сапогов В. А.* Поэтика лирического цикла А. Блока. Автореф. канд. дис.. М., 1967, с. 13.

При использовании символа Межиров, в основном, уходит от традиционной символики (ср. его отношение к таким словам, как *звезда*). Слова *снег*, *стекло* употребляются у него в индивидуальных, поэтических значениях. Семантическая структура этих символов развивается у поэта на протяжении всего творчества. Винокуров, напротив, не отказывается от традиционных символов и использует их традиционно-поэтическое наполнение (*звезда*, *окно*; образ плавания на корабле по морю). Однако эти символы возрождаются в новом их применении, в том повороте темы, который характерен для Винокурова и связан с его поэтическим видением мира. У него нет такого пластического сцепления образов, символов, как у Межирова, поэтому иногда их можно рассматривать изолированно. Но у Винокурова есть логика их построения, определенная форма их связи. При всем внешнем обилии тем и образов символы Винокурова объединяются в стройную систему, но не пластически, а мыслью. Ср. в связи с этим высказывание поэта: «Для меня поэзия — это прежде всего мысль».

Однако при различном подходе к построению символов и слову вообще у обоих поэтов есть и общие черты: даже у самых частых ключевых слов, являющихся символами у Межирова и Винокурова, отсутствуют яркие, броские преобразования слова. При анализе таких символов необходимо учитывать реальные условия, которыми определяются смещения в значении слов, а также повторяемость определенных словесных сцеплений, прикрепленных к тому или иному символу. Поэтому такие символы, как, например, *снег*, у Межирова «читаются» только при учете всех их контекстных употреблений.

Исследование принципов построения символов и символических комплексов у разных поэтов дает возможность не только определить наиболее характерные черты модели мира, конструируемой поэтом, но и сделать некоторые выводы об особенностях работы поэта над словом, а также некоторые наблюдения над стилями поэтического языка.

ОБ ОДНОМ ГЛАГОЛЕ В ПОЭЗИИ А. БЛОКА

М. Д. ЯКУБОВСКАЯ

Едва заметные переходы от одного значения к другому, почти безграничность оттенков, усложнение и наряду с этим упрощение семантической структуры, неожиданность внутренних связей — вот некоторые проявления многогранной жизни слова в поэтическом тексте. У каждого поэта свой поэтический словарь, свои устойчивые семантические ряды, своя фразеология, собственное осмысление некоторых слов, свой мир связей и отношений между словами. Какова же в этом мире жизнь обыкновенного, привычного, обиходного слова, слова, которое не входит в словарь излюбленных автором образов, а используется им, на первый взгляд, именно вследствие его привычности и необходимости? В данном случае речь пойдет о глаголе *проходить* (*пройти*) в лирике А. Блока.

В Малом академическом словаре семантическое содержание глагола *пройти* раскрывается в 12 значениях. Как известно, для слов с широко развитой системой значений характерна регулярность семантической производности и в силу этой регулярности сохранение всех значений в рамках смыслового тождества. Семантическое тождество глагола *пройти* сохраняется благодаря компоненту ‘движение’, который содержится в смысловой структуре всех 12 значений. Само слово *движение*, временно́е и пространственное, толкуется словарями путем противопоставления словам *неподвижность*, *покой*. Покой и неподвижность чужды блоковскому восприятию жизни, несовместимы с ним. Идея движения жизни пронизывает всю его поэзию. Это движение нарастает от цикла к циклу, становясь все напряженнее и динамичнее. Оно символизируется у Блока в жизни человеческого духа, которую он «улавливает в самых ее внутренних движениях». Для выражения этой идеи Блок использует семантический ряд *проходить—мчаться—лететь—нестись:* И *проходишь* ты в думах и грезах (III, 236); И словно мечтанье, и словно кружение, Земля *убегает*, вскрывается твердь, И словно безумье, и словно мученье, Забвенье и удаль, смятенье и смерть,— Ты *мчишься*! Ты *мчишься*! (II, 280); И мы *летим*, *летим* над этой бездной Среди сгущающейся тьмы (II, 212) [1].

Из всей группы глаголов движения, так широко представленных в русском языке, наиболее активным в поэтическом словаре Блока оказывается глагол *проходить* (*пройти*). Он редко встречается у Блока в своем прямом значении физического перемещения. Слово вырвано из привычной лексико-семантической системы внутриязыковых сопоставлений (*пройти — проехать — пролететь —*

[1] Цит. по кн.: *Блок А.* Собр. соч. в 8-ми т. М.— Л., 1960.

проплыть — проползти) и вовлечено в иную систему значений, в которой обогащается дополнительными смыслами и неожиданными оттенками. Что же это за смыслы и какие изменения вносят они в семантическую структуру слова?

Обратимся к стихам А. Блока: Ты *прошла* голубыми путями, За Тобою клубился туман... (I, 112); Заповеданных лилий *Прохожу* я леса (I, 170); Ты *прошла* ночными путями (III, 277); Своей дорогой голубою *Проходишь* медленнее Ты (I, 345); И, *проходя* в смеющиеся дали, Здесь путник ждал, задумчив и смущен, Чтоб мерцнул свет... (I, 157); *Проходишь* Ты в другие дали, Другие слышишь голоса (I, 493); То Вечно-Юная *прошла* в неозаренные туманы (I, 53).

Глагол *проходить—пройти* в этих микротекстах находится в окружении слов и словосочетаний, являющихся в поэзии Блока символами жизни: *голубые пути, ночные пути, голубая дорога, смеющиеся дали, неозаренные туманы.* Глагол теряет значение реально наблюдаемого движения. Исходя из авторской символики, можно предположить, что им передается авторское восприятие жизни, бытия, любимой. Семантическая структура слова *пройти* усложняется и упрощается одновременно. Хотя в этих контекстах глагол лишен своего прямого значения, в нем неизменно звучит смысл 'движение', сообщенный ему привычным употреблением. Слова *дорога, путь, дали* в сочетаниях с *пройти* не создают неожиданных связей, они привычны и для непоэтической речи. Лишь контекст всего цикла стихов, откуда приведены строки, раскрывает необычность и сложность авторского осмысления этих слов и словосочетаний. Усложнение семантической структуры глагола *пройти* проявляется в том, что он в новой системе образов обогащается дополнительным смыслом, который как бы наслаивается на существенный смысловой компонент прямого значения 'движение, перемещение'. Остальные компоненты исходного значения (например, 'способ перемещения') как бы отсекаются контекстом, почему и возможно говорить об упрощении семантической структуры этого слова.

Таким образом, в приведенных контекстах глагол *пройти* лишается значения конкретного действия; он становится элементом образно-семантической системы поэтического языка Блока, раскрывая авторское восприятие жизни, бытия как внутреннего движения.

Интересна роль глагола *пройти* в создании внешнего и внутреннего облика блоковской героини. В сочетаниях с определенным кругом слов им передается душевное состояние героини, приоткрывается ее духовный мир, таинственный и непостижимый: И *прошла* ты сонно-белая... (II, 83); И *проходишь* ты в думах и грезах..., погруженная в сказочный сон (III, 236); Ты близ меня *проходишь* в сновиденьях... (I, 391), Я *проходила*... сквозь дрему, шелесты

и сны (II, 110). Как и в предыдущих контекстах, глагол лишен своего конкретного содержания. Героиня, о которой Блок пишет *прошла*, *проходишь*, в сущности, никуда не идет. Этими словами передаются явления духовного бытия. Глагол имеет смысл бытийности, но бытийности опять-таки динамической, несмотря на слова *сон, дрема, сновиденья, грезы*, которые сопутствуют ему. Интересно проследить внутренние языковые связи, возникающие в этих контекстах. В семантике слов *сон*, *дрема*, *сновиденье*, *сонно*, *греза* совершенно очевиден смысловой компонент «покой» — в семантике глагола *пройти* — «движение». Блок сталкивает смыслы ‘движение — покой’, ‘движение — неподвижность’, создает неожиданные отношения между словами, благодаря чему и возникает внутренний смысл духовной жизни.

При изображении внешнего облика любимой девушки Блок подчеркивает одну какую-то деталь, порой конкретную, порой символическую, являющуюся неясным намеком на какое-либо душевное движение: Ты *пройдешь* в золотой порфире... (II, 7), Ты *проходишь* без улыбки, Опустившая ресницы... (II, 177) *Проходила* Ты в дальние залы Величава, тиха и строга (I, 254); И *проходишь*..., Как царица блаженных времен, С головой, утопающей в розах... (III, 236). Ты, стройная, с тугой косою, *Прошла*... (III, 180); Вот *проходит* она — вся в узорном И с улыбкой на смуглом лице (III, 108).

Зримость, конкретность деталей внешнего образа героини (*тугая коса*, *смуглое лицо*, *узорная одежда*) влияют на контекстное осмысление глагола *проходить*: т а к а я героиня может р е а л ь н о проходить в реальном земном мире или в воспоминаниях, перед мысленным взором поэта. В соседстве же блоковских слов-символов: *Проходила* Ты в дальние залы Величава, тиха и строга (I, 254); Ты *пройдешь* в золотой порфире — Уж не мне глаза разомкнуть. Дай вздохнуть в этом сонном мире, Целовать излученный путь (II, 7) — глагол утрачивает часть семантического содержания и уводит из области реального мира «в область внутреннего состояния».

От цикла к циклу («Стихи о Прекрасной Даме» — «Снежная маска» — «Фаина» — «Кармен») нарастает напряженность, мятежность, динамичность духовной жизни автора и его героини и вместе с этим меняется образная система в поэзии Блока. О женщине страстной, «с душой-бурей», о женщине, которая «вся — порыв, огонь, страсть», невозможно писать: *Ты проходишь*. Мир женской души оказывается родственным миру стихий. В блоковской поэзии возникает новая система смыслов — *метель*, *вихрь*, *буря*, *вьюга*, *снежный ветер* («Снежная маска»), космические образы кометы, светил, звезд («Снежная маска», «Кармен»). Глагол *проходить* выпадает из этой системы как семантически неравноценный. Излюбленными словами Блока, передающими стихийность, безудерж-

ность движения, становятся глаголы *лететь* и *нестись*: Птица вьюги Темнокрылой, Дай мне два крыла!... Чтоб *лететь* стрелой звенящей в пропасть звезд! (II, 225); Сама себе закон— *летишь, летишь* ты мимо, К созвездиям иным, не ведая орбит (III, 240).

Но почему все же в своих ранних циклах Блок так тяготеет к глаголу *проходить*? Почему его героиня так часто *проходит* и лишь в редких случаях *идет*? В семантике слова *проходить*, в частности в семантике приставки *про-*, содержатся смыслы ‘движение мимо кого — чего-л.’ и ‘движение сквозь что-л.’ Можно только предположить, что в активном использовании этого глагола в какой-то степени проявилась сложность личных отношений поэта. Его возлюбленная, возведенная им в образ божества, которому чуждо все земное, являющаяся воплощением «вечно женственного», окружена тайной. Она обитает в сверхчувственном мире. Ее духовный облик таинствен; непостижим мир ее грез, видений, дум, снов, мечтаний: *Она т е ч е т в ряду иных светил*, м и м о поэта, тщетно стремящегося *слиться с неизвестным*. Блок сам неоднократно подчеркивал эту мысль, ставя рядом с глаголом *пройти* слово *мимо*.

Но помни, юная, в тиши
Моих равнин хранил я думы
И тщетно ждал твоей души,
Больной, мятежный и угрюмый.
. . . . . .
Но м и м о *проходила* ты... (I, 126)

И в то же время сильное, земное чувство захватило Блока, прошло с к в о з ь все его существо, его думы, стремления, жизнь. Это в какой-то степени и предопределило выбор языковых средств. Глагол *пройти* в приведенных выше контекстах нигде не имеет однозначного смысла. Значения многозначного слова, как указывает Д. Н. Шмелев, взаимопроницаемы даже в обычных условиях речевого общения. Эта взаимопроницаемость, подчеркивает он, возможна только при условии общности смыслов[2]. В поэтическом же контексте диффузность проявляется в том, что в семантике лексической единицы совмещены не только смыслы, распределенные по словарным рубрикам, но и, сверх того, «местные», окказиональные значения. В этом и находит выражение «творческое всемогущество» слова. Когда глагол *проходить* строит духовный образ блоковской героини, он семантически многопланов: им передано и внутреннее состояние, и духовная разобщенность автора и его возлюбленной (*проходишь* м и м о ты...), и движение, перенесенное из временных и пространственных сфер в сферу внутренней жизни.

[2] *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973, с. 77—78, 97.

Блок прибегает к глаголу *пройти* и для выражения идеи жизненной стойкости. Он опирается на общеязыковое значение этого слова ‘вынести, выдержать, пережить, испытать’. Эта идея проходит через символику жизни в его поэзии. Образ пути, как правило, присутствует в контексте, который организуется вокруг глагола в указанном значении[3]. Глагол находится либо в прямом сочетании с существительным *путь*, либо этот символ развивается параллельно: На верном мы стоим *пути*, Избегли плена не впервые. Веди меня. Чтоб все *пройти*, Нам нужны силы неземные (I, 289); Чтобы сквозь сны бытийственных метаний, Сбивающих с пути, Со знаньем несказанных очертаний, Как с факелом *пройти* (III, 198). В значении ‘пережить, испытать’ глагол *пройти* сочетается у поэта с существительными *желанья*, *слезы*: Мы *прошли желанья* и *слезы*, Наши страсти открыли тайны. И мы с высоты, как грозы, Опалили и вас — случайно (I, 526). Сочетание неожиданно и в семантическом и в синтаксическом отношении. Обычно связи этого глагола распространяются на семантический ряд существительных со значением душевного или физического испытания: *пройти* сквозь страдания, мучения, пытки, издевательства, бури, невзгоды. Под влиянием этих традиционных связей происходит смещение семантического плана: слову *желанья* в блоковском контексте сообщается смысл ‘испытание’; желанья — это те же страдания, муки, бури, которые надо выдержать, пережить, вынести. Идея жизненной стойкости человека, «прошедшего желанья», подчеркивается образами высоты, грозы, скрытым образом пламени, огня, способного «опалить».

Ту же идею вложил Блок в строки стихотворения «И вновь порывы юных лет...»:

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
И если выйдешь цел — тогда
Ты, наконец, поверишь чуду (III, 145)

В той же синтаксической конструкции («глагол+винительный падеж имени» по аналогии с управлением глаголов *испытать*, *выдержать*, *пережить*), но в иной сочетаемости развивается идея стойкости человеческого духа. *Прошли желанья и слезы — Пройди опасные года* — от констатации к мужественному призыву. Если же учесть, что строки эти были написаны в 1912 г., когда в поэзии Блока возникает образ «страшного мира», явившегося отражением «опасного» реального мира, первая строка четверостишья окажется в смысловом отношении чрезвычайно насыщенной. Она особен-

[3] Об образе пути в поэзии А. Блока см.: *Максимов Д.* Поэзия и проза А. Блока. Идея пути в поэтическом сознании Блока. Л., «Сов. писатель», 1975, с. 6—143.

но сильна в контексте всего стихотворения. Словосочетание с глаголом *пройти* строит уже не отдельный образ, а мысль всего произведения — человек, выдержавший все испытания страшной действительности, обретает высшую мудрость: связь с миром, творческий восторг, самоотдача (*И все уж не мое, а наше...*) — вот истинный смысл бытия, вот ради чего стоит жить.

Очень широко использует Блок слово *пройти* для передачи движения времени: Мы вместе ждали смерти или сна. Томительные *проходили миги* (I, 202); *Прошли часы.* Приходил человек С оловянной бляхой на теплой шапке (I, 308); Снежинок легкий пух Куда летит, куда? *Прошли, прошли года* (III, 179). Как видно из этих примеров, сочетаемость глагола традиционна. Это семантический ряд существительных, указывающих на какие-либо отрезки времени: *миг, минута, час, день, год, века.* В таких контекстах реализуется словарное значение 'протечь, миновать'. Наряду с этим, Блок ставит глагол *пройти* рядом со словами *весна, зима, буря лет*, в которые автор вкладывает свой собственный смысл, не совпадающий со словарным: Так *Буря* этих *лет прошла.* Мужик поплелся бороздою Сырой и черной. Надо мною опять звенят весны крыла (III, 92); Лелей, пои, таи ту новь, *Пройдет весна* — над этой новью... созреет новая любовь (III, 86); *Пройдет зима* — увидишь ты мои равнины и болота (I, 126).

Здесь уже действуют другие измерения. Если привлечь достаточно широкий контекст, то становится ясным, что и буря, и весна, и зима символизируют жизнь человеческой души — ее порывы и смятенность (буря), обновление и окрыленность (весна), охлаждение и разочарованность (зима). В словосочетаниях глагола *пройти* с существительными *весна, зима* в их словарном значении реализуется смысл 'протечь', 'миновать' — в семантической структуре глагола актуализируется дифференциальный элемент протекания действия во времени. Семантика же блоковских строк иная. Те же семантические единицы (*зима+пройти, весна+пройти*) вступают в иные смысловые связи: *Пройдет зима* — увидишь ты Мои равнины и болота И скажешь: «Сколько красоты!...» (I, 126). В семантической структуре глагола актуализируется дифференциальный компонент прекращения какого-либо состояния.

У Блока есть свой излюбленный ряд слов, которые он семантически согласует со словом *пройти*: *мечты, печаль, счастье, виденья, рокотанье, очарованье, вдохновенье, любовь, сны.* Слово *пройти* в сочетании с этими, в сущности, отвлеченными смыслами указывает на движение внутренней жизни человека, на то или иное его психологическое состояние: Печаль о невозвратном море *проходит* робкой чередой (III, 99); Они *проходят*, женственные тени — безмирные и сладостные сны. К ним возведу забытые ступени, Воспраздную желаний глубины (I, 499). Здесь в значении глагола совмещены смыслы и 'движение' (лишенное конкретно-

сти), и 'временная протяженность этого движения'. Стремясь выразить настроение или состояние трудно объяснимое, смутное неопределенное, Блок часто обращается к слову *тень,* не имеющему однозначного смысла в его поэзии. Это слово вступает в самые неожиданные и удивительные связи, сталкиваются совершенно различные области восприятий: *прошедших дней младая тень, тень неузнанная, неживая, женственная, грустная.* Само по себе сочетание *проходит* (*прошла*) *тень* не является необычным, но в окружении блоковских образов оно обретает значение намека на какое-либо внутреннее движение или состояние: *Проходят* сны и женственные *тени* (I, 499); В душе *проходит* тоскованьем Прошедших дней младая *тень* (I, 455); И *тень* моя *пройдет* перед тобою... неузнанной, красивой, неживою (III, 147); Сегодня в ночь одной тропою *Тенями* грустными *прошли* Определенные судьбою Для разных полюсов земли (I, 41).

Идея движения, пронизывающая поэзию Блока, получает параллельное развитие как в передаче нарастающей динамики внутренней жизни, так и передаче нарастающей стремительности движения времени. Года *проходят — бегут — летят — мчатся — несутся*; течение времени переходит в бег, а затем в вихревой полет. Меняется семантика слов, определяющих время: *часы* видений, грез, томительные *миги* — и опустошающие, непомерные *года*: Мы вместе ждали смерти или сна. Томительные проходили *миги* (I, 202) — *Миры* летят. *Года* летят ... Пустая Вселенная глядит в нас мраком глаз (III, 41) — И неслись опустошающие Непомерные *года* (II, 218).

Передавая движение времени, Блок акцентирует обычно основное внимание не на самом движении, а на его характере. Глагол *пройти* в таких контекстах выступает как бы в роли вспомогательного, связочного, основная смысловая нагрузка приходится на слова, сочетающиеся с ним. Автора интересует жизненное наполнение проходящих дней, часов, мигов, лет: День *прошел* молчалив и таинственно свеж (I, 59); Мне странно. Столько долгих лет *прошло* тоскливо и печально (I, 434); День *проходил* ... В сумасшествии тихом (III, 50); Та жизнь *прошла* для нас, чудес и бед полна (I, 474); И жизнь *проходит* предо мной Безумной, сонной и прекрасной, И отвратительной мечтой (III, 194). В огне и холоде тревог — так жизнь *пройдет* (III, 96) и т. д.

В этих примерах интересно обратить внимание на смысловую емкость глагольных распространителей — союзом *и* соединяются смыслы, стоящие на крайних точках авторской лексико-семантической парадигмы, это оппозиции: *чудеса — беды, безумный — сонный, прекрасный — отвратительный, огонь — холод.* В столкновении этих смыслов передана диалектика движения жизни, движения времени. Если глагол лишен подобной сочетаемости, то содержание его раскрывается в предложении, интонационно-синтаксическая

организация которого представляет определенную модель: простое, чаще нераспространенное предложение с глаголом *пройти*, не законченное интонационно, — пауза, которая оформляется графически союзом, тире или союзом и тире одновременно,— сложноподчиненное предложение или простое с несколькими распространителями: *Прошли* года, и ты — моя, я знаю ... (I, 358); *Прошли* года, но ты — все та же: Строга, прекрасна и ясна (II, 101); Но день *пройдет*, и в сердце снова Вернутся, не боясь угроз, Слепые призраки былого (I, 402); *Пройдет* весна — над этой новью, Вспоенная твоею кровью Созреет новая любовь (III, 86); Года *проходят* мимо — Все в облике одном предчувствую Тебя (I, 94); Века *прошли* — и не смогла Повергнуть в прах чужая сила Того, что мудрость создала И сединами убелила (I, 457).

Глаголу возвращена смысловая самостоятельность, значение его в некоторых контекстах диффузно (совмещаются значения ‘прекратиться, кончиться’ и ‘протечь, миновать’), но семантическое содержание слова *пройти* этим не исчерпывается — оно дополняется паузой и следующим предложением. Пауза несет свою смысловую нагрузку, каждый раз призывая читателя к сотворчеству. Что-то пройдено, но продолжается течение жизни, непосредственно связанной с прошедшим, обусловленной им или сопоставленной ему. Главное здесь — связь Времен. Автора интересует не жизненное содержание прошедшего или проходящего времени, а внутреннее содержание человека, прошедшего испытание временем. Жизненное содержание в паузе, которая заполняется читателем.

Таким образом, в рассмотренных контекстах глагол *пройти* не равен самому себе: его семантическое содержание или у́же, или шире, чем в естественном языке. Но и усложнение и упрощение семантической структуры происходит на основе существенного дифференциального компонента «движение», который является структурным инвариантом.

Проанализированным материалом далеко не исчерпываются все случаи варьирования глагола *пройти* в стихах Блока. Привычное, обиходное слово в системе семантических связей поэтического текста выступает как элемент поэтического языка. Оно несет образную функцию или приобретает образное значение, которого вне блоковского контекста не имеет.

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИХОВЕДЕНИЯ

СЕМАНТИЧЕСКИЙ ОРЕОЛ МЕТРА (К СЕМАНТИКЕ РУССКОГО ТРЕХСТОПНОГО ЯМБА)

М. Л. ГАСПАРОВ

Семантический ореол стихотворного метра — понятие, ставшее предметом стиховедческих дискуссий сравнительно недавно. Толчком к этим дискуссиям явилась статья К. Тарановского об одной из семантических традиций русского пятистопного хорея (Тарановский, 1963). Автор рассмотрел ряд стихотворений этого размера (очень известных, но обычно не сопоставлявшихся: «Выхожу один я на дорогу...», «Вот иду я вдоль большой дороги...», «По горам среди ущелий темных...», «Выхожу я в путь, открытый взорам...», «Выходила на берег Катюша...», «Гул затих. Я вышел на подмостки...» и др.) и показал, что в них единообразно перекликаются как метрика (вплоть до ритмико-синтаксических формул), так и семантика («тема пути», как реального, так и метафорического, «жизненного»), и что связь эта была задана прежде всего сильным впечатлением, которое произвел на читателей и писателей первый образец в этом ряду — лермонтовское «Выхожу один я на дорогу...» Реакция на статью К. Тарановского была неожиданной. Стиховедов часто упрекали в том, что они занимаются лишь формой стиха, не связывая ее с содержанием; казалось бы, работа Тарановского устанавливала именно такую связь; и тем не менее она была встречена с неприязнью. Возражения обычно имели такой вид: во-первых, есть много стихотворений, написанных пятистопным хореем, в которых темы пути нет, а во-вторых, есть много стихотворений, написанных другими размерами, в которых тема пути есть; стало быть, о связи формы и содержания говорить нельзя [1]. Иными сло-

[1] Наиболее объективно и аргументированно такая точка зрения разумного скептицизма изложена в статье К. Вишневского (1977; для нашей темы см. особенно с. 149—151). Выводы К. Вишневского, вполне справедливые для принятого им уровня обобщения, могут, однако, стать более оптимистичными при более четком определении основных понятий и более детальном обследовании материала; это мы и пытаемся сделать в настоящей статье. Ср. отличные результаты Б. Томашевского (1959).

вами, связь между метром и его семантической окраской предлагалось представлять как однозначную и жесткую, а этого, конечно, не имел в виду ни Тарановский, ни какой другой серьезный стиховед. Очевидно, что во избежание таких недоразумений необходимо уточнить понятие «семантический ореол метра» и проверить его на более широком материале.

Напомним, что проблема семантики метра была четко сформулирована еще за несколько лет до К. Тарановского в известной статье Дж. Холлэндера «Метр как эмблема» (Hollander, 1960). Там говорилось, что выразительная роль ритма и выразительная роль метра в стихе противоположны. Ритм (например, enjambement или сверхсхемное ударение) подчеркивает своеобразие, индивидуальность, нестандартность, новизну данного места в данном произведении; метр (например, стих и строфика) подчеркивает типичность, стандартность, принадлежность к той или иной традиции, служит знаком этой традиции, ее «эмблемой», наподобие заголовка. «Эта эмблематическая, подзаголовочная роль метра должна исследоваться в понятиях поэтической условности, т. е. в конечном счете, литературной истории». Может быть, термин «эмблема» выбран здесь и не совсем точно, но он хорошо указывает на предупреждающую, сигнализирующую роль метра в системе стиховой семантики. Внутренняя системность метра делает для нас предсказуемой, например, ударность или безударность каждой очередной слоговой позиции стиха; совершенно так же внешние системные связи метра делают для нас предсказуемым круг образов, мотивов, эмоций и мыслей стихотворения.

Разумеется, эта предсказуемость — достаточно неопределенная и зыбкая. Число метров в стиховой культуре обычно бывает сравнительно невелико, число типичных построений содержания — во много раз больше, поэтому один метр может служить знаком нескольких и даже многих тематических рядов. (Об этом и забывали обычно критики Тарановского.) В таких случаях, когда мы приступаем к стихотворению, то, воспринимая метр, угадываем сразу некоторый набор обычных в нем тематических ожиданий, а воспринимая лексику, устанавливаем, какой вариант из этого набора избран автором. Например, расслышав метр четырехстопного хорея с дактилическим окончанием, мы бессознательно настраиваемся то ли на элегическую грусть: «Ах, почто за меч воинственный...», то ли на простонародный задор: «Ой, полна, полна коробушка...» (Гаспаров, 1973), а на что именно — подсказывает нам лексика; если же ожидания наши не подтверждаются, то возникает не совсем приятное ощущение, обычно формулируемое: «размер не подходит к содержанию стихов». Лексика формирует для нас прежде всего семантику данного конкретного стихотворения, метрика — общий фон семантической традиции, на котором оно воспринимается.

Но не только один метр может быть знаком нескольких тем, а и одна тема может иметь знаками несколько метров. Если это тема популярная и широко разрабатываемая, то она обычно возможна почти во всех метрах данной стиховой культуры. Однако в каждом метре она выступает, как правило, в несколько ином варианте. Так, в русской поэзии начала XIX в. тематический комплекс жанра дружеского послания реализовался преимущественно в четырех разных метрах: в шестистопном ямбе (александрийском стихе) на первый план выступали мотивы наставительно-рассудочные, в трехстопном ямбе — легкомысленно-эпикурейские, а вольный ямб и четырехстопный ямб с вольной рифмовкой занимали промежуточное положение. Так, в поэзии середины XIX в. уже упоминавшаяся тема пути, дорожного и жизненного, совсем не одинаково реализовалась в пятистопном хорее (традиция «Выхожу один я на дорогу...») и в трехстопном хорее (традиция «...Подожди немного, отдохнешь и ты»; см. Гаспаров, 1976). Детальные исследования подобных вариаций единой темы в разных размерах обещают быть чрезвычайно интересными.

Поэтому, подходя к проблеме «метр и смысл», мы должны прежде всего уточнить, в каких формах реализуются оба эти понятия. Мы предлагаем такую систему терминов. В понятии «метр» (в широком смысле слова) различаются (а) метр в узком смысле слова, например «ямб»; (б) размер, например «трехстопный ямб» или «чередование четырех- и трехстопного ямба»; и (в) разновидность размера, например «трехстопный ямб с чередованием женского и мужского или дактилического и мужского окончаний» — сокращенно ЯЗжм, ЯЗдм и т. п. В понятии «смысл» различаются (а) «семантическая окраска» — отдельная тема или вариация темы, т. е. более или менее ограниченный набор взаимосвязанных образов и мотивов, повторно появляющихся в данном метре, размере, разновидности размера; и (б), «семантический ореол» — совокупность всех семантических окрасок данного метра, размера и т. д. Семантический ореол складывается из семантических окрасок точно так же, как общее значение слова складывается из частных значений слова. Скажем, для слова *сторона* малый академический словарь отмечает 8 значений и при них еще 8 смысловых оттенков. Аналогично мы можем сказать, что семантический ореол, скажем, такой разновидности размера, как ЯЗдм, состоит из 7 семантических окрасок, а семантический ореол всего размера ЯЗ — из 15 семантических окрасок. И, конечно, эти 15 окрасок, во-первых, не исчерпывают всю семантику данного размера, и во-вторых, не абсолютно четко разграничиваются друг с другом — как и значения слова, перечисляемые в словаре.

Выявление семантического ореола размера приходится вести теми же приемами, что и выявление значения слова,— индуктивно подбирая, группируя и систематизируя примеры его употребления

в как можно большем количестве. Критерии группировки при первых сближениях могут быть различные: общее содержание, конкретные слова-сигналы, ритмико-синтаксические штампы, интонационные фигуры, композиционные приемы; опыт исследования еще невелик, и методика не выработана. Иногда на первый план выступают предметные, иногда — эмоциональные характеристики содержания (отсюда колебание в терминах «семантический ореол» и «экспрессивный ореол»; первый, по-видимому, препочтительней как более общий). В конечном же счете, устанавливая семантические традиции между намечающимися группами, мы, как правило, приходим к одному из трех истоков всех вообще русских стиховых форм — к русскому народному, к античному или к западноевропейскому. Понятно, что, чем реже размер, тем выразительней напоминает он о прецедентах своего употребления: семантическая насыщенность русского гексаметра или имитации былинного стиха очень велика, а катрена четырехстопного ямба — ничтожна. В широком диапазоне между этими двумя крайностями располагаются практически все размеры с их разновидностями.

В качестве примера мы попытаемся выявить семантический ореол одного размера — трехстопного ямба, выделив в нем 15 семантических окрасок. Размер этот не настолько употребителен, чтобы ощущаться нейтральным и стертым (на общем фоне русских размеров он всегда заметен, хотя бы как «короткие строчки»,— а их специфическую семантику отмечал еще Маяковский в «Как делать стихи»); и в то же время он имеет настолько давнюю историю, что представляет обширный материал, допускающий и синхроническую, и диахроническую систематизацию. В этом размере употребительны 9 разновидностей: ЯЗж-м нерифмованный, ЯЗж-м с вольной рифмовкой, ЯЗжм, ЯЗмж, ЯЗмм, ЯЗжж, ЯЗдм, ЯЗдж, ЯЗдд. Наиболее употребительны и имеют больше всего семантических окрасок ЯЗжм и ЯЗдм. Первая из этих разновидностей восходит в конечном счете к античному истоку (анакреонтике), вторая — к народному песенному стиху. Взаимодействие этих столь разнородных традиций, по-видимому, и дало нашему размеру его семантическое богатство и жизнеспособность. Мы рассмотрим последовательно семантические окраски (1—4) ЯЗжм и связанных с ним разновидностей, (5—8) ЯЗдм и связанных с ним разновидностей, (9—12) окраски, общие для ЯЗжм и ЯЗдм во взаимодействии их традиций, (13—15) окраски других, менее употребительных разновидностей размеров.

(1) ЯЗж и ЯЗж-м нерифмованный: анакреонтика. Исток этой стиховой традиции — греческий «ямбический диметр усеченный», один из самых популярных размеров эллинистической анакреонтики (но не самого Анакреонта!). В силлабо-тонической имитации он давал ЯЗ со сплошными женскими окончаниями. В таком виде он утвердился в Германии у Глейма и его современников

(1740-е гг.), перешел в Россию у Сумарокова (впервые — 1755: «Завидны мне те розы, Которы ты срываешь. К чему тебе уборы: Прекрасней быть не можешь...»), был подхвачен Херасковым («Новые оды» 1762) и стал общим достоянием анакреонтики XVIII — начала XIX в. (напр., у Пушкина — «Фиал Анакреона» 1816), а когда вышли из моды подражания Анакреонту, он остался служить переводам из него (иногда украшаясь при этом рифмами, как, например, у Мея).

Однако ровные женские окончания казались непривычны русскому читателю: «единообразие оных на русском языке делает какую-то неприятную звучность для слуха, привыкшего не токмо к разнообразному ударению стихов, но еще и к рифме»,— пишет в 1794 г. Н. Львов и переводит Анакреонта со смешанными окончаниями ЯЗж-м (некоторые стихотворения — в двух вариантах, ЯЗж и ЯЗж-м): *Любить, любить я буду*: *Мне это сам Ерот Советовал недавно*; *Безумный! я в упрямстве Ослушался его...* В таком виде, вероятно, античные ассоциации ощущались меньше, и этот размер мы чаще встречаем в применении к неантичной легкой поэзии — например, у Богдановича 1773 г. в переводе из Метастазио (строфа жжжмжжжм; подлинник — с рифмами): *О, грозная минута*! *Прости, драгая Ниса*! *Я буду жить в разлуке, Но как я буду жить*!..; а у Деларю в 1832 г. в «Эротических станцах индийского поэта Амару»: *Итак, уж решено*! *И ненависть сменила Любовь в душе твоей. Пусть будет так, согласен*! *Ты требуешь, и должно Неволей покориться...*

Были попытки использовать эту разновидность размера и для более серьезной тематики, но они остались единичны: в середине XIX в. таково одно стихотворение у Ф. Глинки (*Разбит на поле жизни Несчастный человек...*), а в конце у Н. Энгельгардта (*В таинственной глуши Задумчивого леса... Во влажном мхе болот Жизнь вечная ликует И бьет живым ключом...*). Здесь несомненно влияние малоисследованного трехстопного нерифмованного хорея послекольцовских «дум».

(2) ЯЗжм: песня. Однако главное влияние на европейскую поэзию анакреонтический стих оказал не через германское, а через французское посредничество. Здесь он был освоен еще в XVI в. («оделетты» Ронсара), скрестился со стиховой традицией французской народной песни и дал форму куплета шестисложных стихов с чередованием Ж и М окончаний. Из Франции эта форма распространилась по всей Европе (часто вместе с музыкальными мотивами, вспомним «Мальбрук в поход собрался...»): при этом в стихосложениях силлабо-тонических, немецком и русском, она приобретала вид рифмованных четырехстиший ЯЗжм. В таком виде античные семантические ассоциации совершенно терялись, и ЯЗжм воспринимался как размер, «свойственный» всякой легкой, а особенно песенной поэзии.

Одним из первых русских образцов этого рода была песня, частично цитируемая Ломоносовым в «Риторике» 1748 (*Уж солнышко спустилось И село за горой...*), полностью напечатанная Чулковым в 1770 (*Молчите, струйки чисты, И дайте мне вещать...*), а в переработке сохранившая популярность вплоть до XX в. (*...Ты где ж, моя отрада, Сережа-пастушок?..*). В дальнейшем формы ЯЗжм не миновал почти никто из писавших песни в XVIII в.: Ломоносов (*Ночною темнотою Покрылись небеса...*), Сумароков (*Ты сердце полонила, Надежду подала...* или, сдвоенными строчками: *Летите, мои вздохи, Вы к той, кого люблю...*), Попов (*...С пастушкою прелестной Сидел младой пастух...*), Богданович (*У речки птичье стадо Я с утра стерегла...*), аноним-«монах» (*Хоть черна ряса кроет Мой сильный жар в крови...*), Карамзин (*Кто мог любить так страстно...*), Дмитриев (*Куда мне, сердце страстно...*), Капнист (*Поля, леса златые, Спокойствия предел..., ...Я лиру томну строю Петь скорбь, объявшу дух. Приди грустить со мною, Луна, печальных друг...*), В. Пушкин («на голос» Капниста: *Недавно я на лире Уныло, томно пел...*). По примерам видно, как пасторальная топика постепенно сменяется предромантической. Эпоха романтизма дает такие высокие образцы песенного ЯЗжм, как «Кольцо души-девицы...» и «К востоку все, к востоку...» Жуковского (1818, оба — с немецкого, второе без рифм); а затем традиция, словно исчерпав себя, обрывается. Стихотворная форма слишком срослась с музыкальными ассоциациями и утратила семантическую гибкость; осознание этого ясно видно из иронической реплики Некрасова: «...вот куплеты — попробуй, танцуя, Театрал, их под музыку петь!» — перед знаменитою «сменою метра» в сатире «Балет» (1866: *Я был престранных правил. Поругивал балет...*) [2].

Дальнейшее развитие этой семантической традиции идет как бы по косвенным линиям. Во-первых, «легкая поэзия» естественно переходит в «шуточную поэзию»: ЯЗжм становится размером комических стихотворений, самое знаменитое из которых — «История государства Российского» А. К. Толстого (1868, не без влияния (4) традиции баллад, о которой ниже). Во-вторых, «легкая поэзия» естественно переходит в «простую поэзию»: ЯЗжм становится размером коротких лирических стихотворений, иногда с намеком на аллегорию — от таких, как *Зима недаром злится, Прошла ее пора...* Тютчева и *Печальная береза У моего окна...* Фета до таких, как *Последний снег вывозят, Счищают корки льда...* и *Подсолнуху от ливня не скрыться никуда...* Щипачева (ср. его же «Чу», «Календарь» и др.). В-третьих, наконец, легкая поэзия опу-

[2] Любопытную реминисценцию этого места у Винокурова (*Я был до танцев падок, Я беззаботен был, Дощатых танцплощадок Я шум и гром любил...*) отмечает Баевский (1976, 101).

скается из «большой литературы» в литературу детскую и уличную: ЯЗжм — это размер таких песен, как полубезымянные *Слети к нам, тихий вечер, На мирные поля...* (Л. Модзалевский, 1864) и *Живет моя зазноба В высоком терему...* (С. Рыскин, 1882) и вовсе безымянные *Разлука ты, разлука, Чужая сторона...*[3] и *Маруся отравилась, В больницу повезут...* Все эти три струи, на которые раздробился поток традиции, еще сольются вновь, но уже во взаимодействии с традицией другой разновидности размера, ЯЗдм — см. ниже, (9—10).

Однако на пути к этому слиянию не обошлось без оглядок на прошлое. Трудно не признать реминисценций топики и стиля романсов XVIII в., например, у Есенина (1918): *Зеленая прическа, Девическая грудь. О тонкая березка, Что загляделась в пруд?.. И мне в ответ березка: О любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух...*; у Ахматовой (1913): *И на ступеньки встретить... (Ах! кто-то взял на память Мой белый башмачок...)*, (1916): *Ни в лодке, ни в телеге... (...Ах! близко изнывает Такой же Робинзон...)*; ср. даже более поздние *Чугунная ограда, Сосновая кровать...* (с реминисценцией из «Старинного дома» Белого) и «Первая песенка» (*Несказанные речи, Безмолвные слова...*). Можно вспомнить также *Вдали поет валторна Заигранный мотив...* Кузмина, две прямые стилизации в «Свирели» Сологуба и пр.

(3) ЯЗж-м с вольной рифмовкой: дружеские послания. Эта «большая форма» традиции анакреонтики и легкой песни особенно ярко выделяется в русской поэзии XVIII — начала XIX в., хорошо знакома литературоведам и потому не требует здесь подробного обзора. Напомним лишь, что начало этой семантической традиции восходит раньше, чем обычно кажется: еще в 1770-х гг. у Муравьева мы находим послание «К А. В. Нарышкину» (*Ходатай юной музы, Нарышкин, моея!..*— рифмовка еще правильными четырехстишиями, но уже без графического и синтаксического расчленения), в 1786 г. у Княжнина «Письмо к гг. Д. и А.» (уже вольная рифмовка и топика эпикурейской умеренности: ...Все счастье составляет Умеренность одна: Кто через край хватает И кто все пьет до дна, Один лишь тот страдает, Один порочен тот. Вкушать блаженства плод, Не преступая чувства, Знай меру — вот искусство!..), в 1790-х гг. эта форма мелькает у Горчакова, у Смирнова. В «арзамасском» кругу эту форму ввел (о чем часто

[3] Интересно, что ритмико-синтаксическая формула *Разлука ты, разлука...* находит отголоски даже в стихах, тематически довольно далеких: ср. начало стихотворение Тарковского *Сирени вы, сирени...*, рефрен у Рыленкова *Мария ты, Мария, Солдатская жена...*, концовка у Алтаузена *Калуга ты, Калуга, Передовой район!..*; ср. у Окуджавы *Работа есть работа, Работа есть всегда...*, у Кирсанова *Решетка есть решетка, Хоть золоти ее...* («Клетка»).

забывают) вечный новатор Жуковский («К Блудову», 1810: Веселого пути Я Блудову желаю Ко древнему Дунаю...), но величайшую популярность ей обеспечил, конечно, Батюшков («Мои пенаты» к Жуковскому и Вяземскому, 1811): и Жуковский и Вяземский откликнулись посланиями в том же размере, и в 1810-х гг. этого жанра не миновал почти ни один поэт (у Пушкина-лицеиста это — «К сестре», «Городок» и др.). Но к началу 1820-х гг. жанр как бы исчерпывает средства и от ведущих поэтов переходит к эпигонам; пушкинское послание к чернильнице (1821) «Подруга думы праздной...» имеет уже вид подведения итогов. Однако отдельные отголоски этой традиции звучат еще неожиданно долго: у М. Дмитриева, например, так написаны послания «Ф. Б. Миллеру» и «П. М. Бакуниной» (1849): В глуши уединенья, В родной моей глуши Какое наслажденье Услышать песнопенье Знакомой мне души...

(4) ЯЗжм: баллады. Сила песенно-анакреонтической «французской» традиции в семантике русского ЯЗжм виднее всего из того, что она решительно заглушает другую традицию — «немецкую», балладную. Здесь ЯЗжм от анакреонтики независим: он явился из немецкого средневекового книжного «нибелунговского стиха» (Я6 с женским наращением в цезуре), расчлененного на две строки. У немецких романтиков (например, у Уланда) это один из самых популярных балладных размеров; однако в русских балладах первой половины XIX в. такой стих появляется лишь изредка (например, «Тростник» молодого Лермонтова) — он слишком обременен семантическими ассоциациями песен. Только к середине XIX в., когда традиция «легкой поэзии» угасает, балладный ЯЗжм начинает привлекать внимание; да и то, например, «Сватовство» А. К. Толстого своими *Ой ладо, лель-люли*! откровенно ссылается на песню, а баллада Фрейлиграта, переведенная Ф. Миллером, сама становится популярной песней: *Среди лесов дремучих Разбойнички идут...* Самая известная из баллад этого времени — пожалуй, «Князь Репнин» А. К. Толстого (с ее по-немецки сдвоенными строчками: Без отдыха пирует с дружиной удалой Иван Васильич Грозный под матушкой Москвой...); затем этот жанр становится достоянием второстепенных подражателей (А. Коринфский, «Доброгнева»: ...В кругу шляхетских панов, В дворце занявших роль, Под звон коронных жбанов Пирует пан-король..; «Бертрада»: В парижском славном замке французских королей Отбою нет от званых И незваных гостей...); и лишь в начале XX в., после «Гризельды» Гиппиус (1895) являются такие образцы этого жанра, как «Собака седого короля», «Нюренбергский палач» и «Чертовы качели» Сологуба (1905—1907), иронически использующие и лирические ассоциации, и ощущение нарочитой «простоты» размера; в сниженном плане ту же манеру продолжает и известная в свое время «Баллада о том, почему испортились

в Петрограде водопроводы» И. Одоевцевой (1921). Когда Андрею Белому понадобился предельно простой размер для предельно сложных экспериментов с графикой стиха, он выбрал именно балладный ЯЗжм («Шут», 1911). В советское время этот балладный стих продолжает существовать, не очень заметно, но довольно устойчиво, ориентируясь на образцы второй половины XIX в.: таковы «Князь Василько» и «Семь богатырей» Кедрина, «Отцовское наследство» Лебедева-Кумача (1937: Прощался муж с женою, И плакала жена. Гудела над страною Гражданская война...), «Отец и сын» и «В пути» Твардовского (1943), «Баллада о маленьком разведчике» и «Солдатка» Рыленкова (1943—1945); последнее произведение разрастается почти до величины небольшой поэмы.

(5) ЯЗд нерифмованный: народный стих. Как было уже сказано, вторым после анакреонтики истоком семантики русского ЯЗ был народный стих. ЯЗд народной лирики — это одна из ритмических форм народного тактовика (Гаспаров 1974; 352—372; 1975; 82—83); однако в самостоятельный размер он в фольклоре выделяется редко — во всем сборнике Чулкова, как кажется, только один раз (ч. III, № 111: На улице то дождь, то снег, То дождь, то снег, то вьялица, То вьялица-метелица...). В XVIII в. он в литературной поэзии не имитировался (песня Сумарокова «Не будет дня, во дни часа...» слишком сбивается на четырехстопный ямб, и даже рифмованный); его литературные имитации являются лишь в «русских песнях» 1800—1830-х гг.: у Мерзлякова (1806: *Ах, девица-красавица*!..), Дельвига (1824—1828: *Со мною мать прощалася...*, *Мой суженый, мой ряженый*...), Цыганова (1834: *Красен в полях, цветен в лугах Цветочек-незабудочка...*, *Ахти! беда-неволюшка, Погибельная долюшка*...), Кольцова (1837: *Так ты, моя Красавица, Лишилась вдруг Двух молодцев*...— заметим типичное для Кольцова дробление стиха на графические двустрочия — и знаменитая «Пора любви»: *Весною степь зеленая Цветами вся разубрана, Вся птичками летучими, Невучими полным-полна*...); отсюда Аксаков впервые перенес этот стих из лирики в эпос — в некоторые куски полиметрической поэмы «Бродяга» (1852).

«Пора любви» Кольцова, по-видимому, подсказала Некрасову выбор ритма для его «весеннего» стихотворения «Зеленый шум» (1862), но Некрасов ввел здесь важное новшество: строки с дактилическим окончанием время от времени перебиваются здесь строками с мужским окончанием, которые служат как бы ритмическими концовками синтаксических периодов. Образцом для Некрасова, как давно было отмечено, послужила здесь форма ЯЗдм, уже достаточно разработанная к этому времени. Найденный таким образом размер Некрасов использовал в поэме «Кому на Руси жить хорошо» (начатой в 1864—1865); стих этот хорошо изучен (Рейсер 1969) и в подробной характеристике здесь не нуждается.

Отметим только любопытные попытки упростить и схематизировать гибкую переменную строфику некрасовской поэмы: Минаев в своей имитации «Кому на Руси жить плохо» пользуется упорядоченным чередованием окончаний дддм, а в сказке «Кто в лес, кто по дрова» — еще более простым ддм; Дрожжин в «Начале неоконченной поэмы» (1896) дает более изысканное чередование дддмддм, зато скрепляет мужские окончания рифмами: *Окончивши учение, Ребенок отправляется Куда-нибудь на фабрику Иль в город на завод. И часто возвращается В деревню, как работою Все силы надорвет...* (ср. еще более изысканные рифмованные дериваты в строфах «Лучей на закате» Фофанова и «Радоницы» Коневского). Вообще же монументальная поэма Некрасова надолго исчерпала выразительные средства ритмической разновидности ЯЗд. Попытки вернуться к «чистому» ЯЗд, нерифмованному (как у Дельвига и Кольцова) почти прекращаются; исключения единичны (например, «Ужели ты, красавица...» Дрожжина, «Плясея» и «Летел орел за тучею...» Клюева). А образцы ЯЗдд рифмованного, впервые появляющиеся одновременно с «Зеленым шумом» (Мей, 1862: Зачем ты мне приснилася, Красавица далекая, И вспыхнула, что в полыме, Подушка одинокая...) занимают явно подчиненное положение при ЯЗдм и будут далее рассмотрены в сопоставлении с ним (10).

Первоначально же было наоборот: метрическая разновидность ЯЗдм, столь преобразившая судьбу «народной семантики» нашего размера, впервые явилась в начале XIX в. как второстепенная параллель ведущей разновидности «народного» Яд. Рифмованными были только мужские окончания (Среди долины ровныя, На гладкой высоте...— Мерзляков, 1810; По полю, полю чистому, По бархатным лужкам...— Цыганов, 1834), или даже рифм не было совсем (На что ты, сердце нежное, Любовию горишь...— Кольцов, 1830). Дактилическая рифма, только что освоенная русской поэзией (сперва — в четырехстопном хорее, прочно связанном с трехстопным ямбом давними «анакреонтическими» ассоциациями), появляется в ЯЗдм на рубеже 1830—1840-х гг. и сразу дает начало нескольким семантическим традициям.

(6) ЯЗдм: комический стих. Эта семантическая окраска впервые явилась, по-видимому, в водевильных куплетах у Каратыгина и Ленского: уже в «Синичкине» (1839) мы находим: *Его превосходительство Зовет ее своей И даже покровительство Оказывает ей*! (явная реминисценция этого куплета — в «Мастере и Маргарите» Булгакова, гл. 12); в 1840 г. последовали «Петербургские квартиры» Кони с целыми тирадами ЯЗдм, затем водевили Некрасова и пр. Из комической драмы этот стих тотчас перешел в комическую лирику. Памятью о его происхождении нередко были две приметы. Во-первых, это припев: таковы знаменитые «Фонарики-сударики...» (1841) и «Комеражи» (1844) Мятлева. Во-вто-

рых, что гораздо существенней, это форма монолога от первого лица: она позволяла примешивать к комическому трогательное и потому была особенно удобна для бытовой тематики писателей-демократов. У молодого Некрасова комические интонации еще преобладают («Провинциальный подьячий в Петербурге» 1840, «Говорун» 1843, «Родился я в губернии далекой и степной...» 1844, «Пьяница»: *Жизнь в трезвом положении куда нехороша*!..— 1845); но у идущего вслед ему Никитина скорбных интонаций уже гораздо больше (Ох, водкой зашибаюся... Что делать? не таюсь...— 1861, Ох, много, мои матушки, И слез я пролила...— 1854, Зачем это ты, матушка, Печалишься всегда?..— 1855). Переходя от зачинателей к подражателям, комический ЯЗдм постепенно опускался в низовую шуточную поэзию, он часто встречается в газетных фельетонах начала XX в. (например, у молодого Маршака) и доживает до наших дней (например, у Прокофьева, 1967: О классики могучие... Скажите, если можете, О рифме корневой!..) Грустные же обертоны этого размера находят отголосок в позднейших семантических окрасках — см. ниже, (9).

(7) ЯЗдм: патетический стих. Эта семантическая окраска явилась одновременно с предыдущей: в том же 1839 г. Лермонтов написал свое знаменитое *В минуту жизни трудную, Теснится ль в сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть*... Семантическое наследие этого стихотворения не столь обильно, но очень ярко. Это прежде всего тютчевское: Так, в жизни есть мгновения, Их трудно передать... (1855); Розенгейм: Измучен жизни битвою, Устал я, боже мой, Но все с одной молитвою Являюсь пред тобой... (1850-е); Гиппиус: ...Я в слабости, я в тленности Стою перед тобой — Во всей несовершенности Прими меня, укрой! (1904); Сологуб: ...Молитвою усердною Душа моя горит, Рукою милосердною Господь меня хранит...; Рафалович: ...Я знаю незабвенную Блаженную тоску... Когда душа измаяна, Распаяна, как плоть, И в радости нечаянной Ты сходишь к нам, господь... (1916); Дрожжин: Пробил час вдохновения, С небесною мечтой Настало пробуждение Поэзии святой. Душа моя воспрянула (1909) и т. д.

Лермонтовский образец задает два мотива — «минуты трудной» и «молитвы чудной»; приведенный ряд примеров иллюстрирует преимущественно второй мотив, но не менее усердно разрабатывался и первый («Есть райские видения...» Лохвицкой, «Сосны», «Глухота», «Тварь» Гиппиус,— вплоть до неожиданной в таком соседстве песни П. Горохова «Истерзанный, измученный Наш брат мастеровой...», которая кончается: ...*И жить-то, братцы, хочется, И жизнь-то нелегка*!). Отсюда протягивается прямая нить к семантическим окраскам «гимнов» и «кредо», о которых речь будет ниже (11—12). Завершается же этот ряд «молитв», конечно, печальной пародией Мандельштама: Жил Александр Герцевич, Еврейский музыкант... Одну сонату вечную Играл он наизусть..

(1931) — стихотворением, в котором «патетический» ЯЗдм как бы скрещивается с «(траги)комическим» ЯЗдм.

(8) ЯЗдм: лирический стих. Это ответвление берет начало тоже от Лермонтова — от его «Свиданья» (1841): *Уж за горой дремучею Погас вечерний луч...* Через три года этот зачин копирует молодой Фет: *Уж верба вся пушистая Раскинулась кругом... И над душою каждою Проносится весна,*— по существу, это повторение лермонтовской экспозиции, оборванное там, где у Лермонтова начинался сюжет. Фета пародировал, как известно, А. К. Толстой (1859: «Весенние чувства необузданного древнего»); подражал ему Розенгейм (1860-е: Весна, весна живительно Стучит ко мне в окно, Что ж сердце так мучительно, Так больно стеснено?..), а потом, еще откровеннее — Есенин (1915: Черемуха душистая Весною расцвела И ветки золотистые, Что кудри, завила...), дополнительным источником здесь был, конечно, Я6 популярного Бальмонта (Черемухой душистой с тобой опьянены...).

Если Фет отделил от лермонтовского образца экспозицию, то Полонский в знаменитой «Затворнице» (1846) отделил само свидание: *В одной знакомой улице Я помню старый дом, С высокой темной лестницей, С завешенным окном...* Южный экзотический фон сменился здесь бытовым, некрасовско-никитинским, но остался в контрастном намеке: *Мы будем птицы вольные, Забудем гордый свет...* (ср. в отголоске П. Якубовича, 1885, «Что я скажу? (На смерть Н. А. Карауловой)» упрек: *Не ты ль мне кистью пламенной даль жизни рисовал И в город душный, каменный От нив родимых звал?..*). Еще резче этот контраст выступает у Анненского в «Квадратных окошках», где на том же городском фоне *...за чахлыми горошками, За мертвой резедой...* проходит мечта о несбывшемся южном свидании: *Ты помнишь, сребролистую Из мальвовых полос Как ты чадру душистую Не смел ей снять с волос...* А затем в этом же размере появляются стихи и о сбывшемся южном свидании: это Пастернак (1917): *О, бедный homo sapiens...* и *Она со мной. Наигрывай...* Интонационно эти стихи так непохожи на все предыдущие, что требуется психологическое усилие, чтобы ощутить одинаковость размера; и все же ясно, что появление их в сборнике, который «посвящается Лермонтову», не случайно. А за южным свиданием следует южная разлука: это Тихонов (1937—1940): *Уедешь ты к оливковым Кремнистым берегам...* и *Твой день в пути извилистом...* Наконец, вновь в городской быт возвращает нас поздний Пастернак в «Первом снеге» (1956): Утайщик нераскаянный, Под белой бахромой Как часто вас с окраины Он разводил домой... Но петель не расцепите, Которые он сплел.

Лермонтовский финал — измена и месть — в этих стихах не отразился, но Полонский возвращается к нему в поздней вариации той же темы, «У двери»: Однажды в ночь осеннюю, Пройдя пустынный двор, Я на крутую лестницу Вскарабкался, как вор...

Я дрогнул весь и замер я, Дыханье затая: Так вот ты как, изменница! Лукавая змея!.. (1888, черновая редакция еще от 1851). А отсюда он доходит и до популярной песни «Изменница»: Бывало, в дни веселые Гулял я, молодец... Любил я деву юную, Как цветик хороша... Изменница презренная Лишь кровь во мне зажгла... И дело совершилося: С тех пор я стал злодей... Теперь в Сибирь далекую Угонят молодца За деву черноокую, За старого купца (П. Горохов, 1901). (Эта концовка неожиданно предвосхищает блоковскую *...за жадные герани, За алые уста*!).

Оглядываясь на рассмотренный материал, мы видим, что в XVIII и первой половине XIX в. разрабатывалась преимущественно традиция ЯЗжм (1—4), во второй половине XIX в. — традиция ЯЗдм (5—8); после этого неудивительно увидеть, что в XX в. эти две традиции скрещиваются и находят, так сказать, общий семантический знаменатель. Это — группа семантических окрасок, более или менее общих для ЯЗжм и ЯЗдм (иногда строфы ЯЗжм и ЯЗдм в этих стихах даже смешиваются). Если попытаться найти понятие, их объединяющее, то этим понятием будет «простота»: простота предмета, простота чувства, простота мысли — «быт», «песня», «гимн» и «кредо» (9—12).

(9) ЯЗжм и ЯЗдм: быт. Эта семантическая окраска развилась из «опустившихся» в низовую словесность традиций (2) и (6): размер становится знаком среды своего бытования. Этапными произведениями здесь были «Хожу, брожу понурый...» Блока (1906) и особенно «Поповна» (1906) и «Телеграфист», и «Станция» Белого (1908); за ними следуют «Почтовый чиновник» Гумилева (1914: *Ушла... Завяли ветки Сирени голубой...* с цитатой-образцом в концовке: *Разлука ты, разлука, Чужая сторона*!) и «Разохалась старуха Про молодость, про ад...» Клюева (1913). Лирические черты сочетаются здесь с эпическими, трагические с сатирическими; общий колорит неизменно мрачен, так что неудивительно, что именно этот размер выбрал Ходасевич для стихотворения о самоубийце (Висел он, не качаясь, На узком ремешке...), а Есенин — о покойнике (Пушистый звон и руга, И камень под крестом...). В послереволюционной поэзии эта традиция переключается на изображение умирания старого мещанского мира (Под равнодушный шопот Старушечьей тоски Ты будешь дома штопать Дешевые носки... Постылые иголки; А за стеной зовут, Хохочут комсомолки, Хохочут и живут...— Корнилов, 1927) или мимолетного обольщения былым уютом (Спешить, как мне, не надо Гражданочке моей — Ушаков, 1929) или безвременно сгорающей молодости (Рябина в огороде Редеет и горит, И в тот же срок приходят Ангина и плеврит... — Ушаков, 1928). В этой теме преобладает, как мы видим, ЯЗжм; когда появляется ЯЗдм, он привносит дополнительный оттенок иронии и гротеска — такова известная «Московская транжирочка» того же Ушакова (1927: ...Захлопали, затопали На

площади тогда: — Уже в Константинополе Былые господа...), таково «Одиночество» того же Корнилова (1934, о конце единоличника: Приснился сон хозяину: Идут за ним, грозя, И убежать нельзя ему, И спрятаться нельзя...)

Таким образом, семантика «быта» оказывается как бы связующим звеном между семантикой «песни» и «смерти». Но эти крайние звенья могут быть соединены и непосредственно друг с другом, и такое антитетическое сочетание («петь — умереть») встречается не раз. Самая броская его формулировка — в знаменитых стихах Уткина на смерть Есенина: *Кипит, цветет отчизна, Но ты не можешь петь ... А кроме права жизни Есть право умереть* (1926); к тому же году относится и «Предчувствие» Саянова, где ночь поет над будущей могилой поэта: *Ты спи, ты спи без страха, Гремит оркестра медь: Сгниет твоя папаха, А песня будет петь...* Наряду с традицией песни здесь может включаться и традиция баллады: таково у Щипачева стихотворение «Есть домик на Дунае...» (1937: *В том домике старушка Теперь совсем одна ... Два сокола, два сына Уж не вернутся к ней...*); но характерно, что подсказанное им известное стихотворение Винокурова «В полях за Вислой сонной...» (1953) — это уже чистая песня, а подсказанное Винокуровым стихотворение Ваншенкина «Встреча» (1960: *Пока дрались солдаты На дальних рубежах, Ровесницы-девчата...* и т. д.) — это опять чистый «быт».

(10) ЯЗжм и ЯЗдм: снова песня. Если в предыдущей семантической окраске преобладала разновидность ЯЗжм, то здесь преобладает ЯЗдм: черты песенности были уже в окрасках (6), (8), теперь они выходят на первый план. Для осознания этого, по-видимому, сильный толчок дало стихотворение Блока: Гармоника, гармоника! Эй, пой, визжи и жги!.. Неверная, лукавая, Коварная — пляши!.. (1907), во всяком случае, его почти копирует такой непохожий поэт, как Прокофьев («Гармоника»: Под низенькими окнами, Дорожкой вдоль села, Вот выросла, вот охнула, Вот ахнула — пошла... Прости меня, прости меня, Подольше погости. Вся близкая, вся синяя, Вся алая — прости! — 1940; ср. у него же такие песенного типа стихотворения, как «Песенка»: Жара стучала в градусы И жгла траву огнем, Я шел к девчонке радостной Таким смятенным днем... — 1932, «Черемуха», «Рябина», «Не жалуйся иль жалуйся...» и др.).

В советской лирической песне этот размер утверждается с конца 1930-х гг. как один из ведущих: Не яблочко румяное Сожгла зима в саду — Пришла любовь незваная На девичью беду... (Сурков, 1936); На солнечной поляночке, Дугою выгнув бровь, Парнишка на тальяночке Играет про любовь...; Горит свечи огарочек, Гремит недальний бой. Налей, дружок, по чарочке, По нашей фронтовой... (Фатьянов, 1942—1944; ср. его же «Поет гармонь за Вологдой...», «О дружбе верной» и др.); Ходили мы походами

В далекие моря... (Жаров, 1946), ...Но дружбе мы по-старому, По-прежнему верны... (Матусовский, 1955), Веселая и грустная, Всегда ты хороша, Как наша песня русская, Как русская душа! (Глейзаров, 1955), Лучами красит солнышко Стальное полотно... (С. Васильев, 1947, с припевом: *Любимая, знакомая, Широкая, зеленая...* и т. д.), Цветут необозримые Колхозные поля, Огромная, любимая Лежит моя земля... (Лебедев-Кумач, 1937), Страна моя прекрасная, Легко любить ее. Да здравствует, да здравствует Отечество мое!.. (Прокофьев, 1967). Мы видим, как естественно обслуживает этот размер и семантику «песен о любви» и семантику «песен о Родине», постепенно переходя в семантический строй «гимнов», о которых речь ниже (11).

Рядом с ЯЗдм оживает как вспомогательная вариация и ЯЗдд — уже рифмованный и утративший прежнюю специфическую «народность». Он тоже употребителен и в любовных песнях, и в патриотических: Услышь меня, хорошая, Услышь, меня красивая... (Исаковский, 1945); Когда проходит молодость, Длиннее ночи кажутся... (Фатьянов, 1947); Костры горят далекие, Луна в реке купается... (Шамов, 1949); А мы споем о Родине, С которой столько связано... (Уткин, 1942); «Люблю мое отечество, Пою мое отечество... (Прокофьев, 1962). Любопытно при этом, как долго слышатся в этой метрической разновидности отголоски «Зеленого шума»: *Под вешним солнцем жмурятся, Идут сады за Пулково Своей зеленой улицей...* (Прокофьев, 1953; ср. еще в конце XIX в. *Пришла пора весенняя, Цветут цветы душистые...* у Дрожжина, *Полны пахучей сладости Поля зазеленевшие...* у Коневского). Сосуществование этих двух разновидностей породило такую промежуточную форму, как сдвоенные строки (д)д(д)м: За дальнею околицей, за молодыми вязами... (Акулов, 1941); «Вернулся я на родину, шумят березки встречные... (Матусовский, 1949).

На этом широком фоне отчетливо выделяется особый семантический оттенок менее употребительной метрической разновидности ЯЗжм. Это — «песни о (боевом) прошлом» и, в частности, «песни о песнях». Несомненно, это связано с тем, что форма ЯЗжм с ее корнями, уходящими в XVIII век, ощущалась, вряд ли даже осознанно, как более «старинная», чем ЯЗдм. Открывателем этой семантики был, по-видимому, Уткин с его знаменитой «Гитарой»: Не этой песней старой Растоптанного дня, Интимная гитара, Ты трогаешь меня... (1926). На нее тотчас отозвался Корнилов в «Музыке»: Почет неделям старым — Под боевой сигнал Ударим по гитарам Интернационал! И над шурум-бурумом В неведомую даль Заплавала по струнам Хорошая печаль... (1927). Эту тен-

[4] Едва ли не от этого корниловского оборота — нашумевшая в свое время концовка «Прощания с романтикой» Прокофьева (1929): ...А где-то в поле пусто, Тишь да благодать. Шурум-бурум капуста — И песни не видать!

денцию попытался было перебить Прокофьев «Песнями о Ладоге», демонстративно обращенными не к прошлому, а к настоящему (1927: «О Ладога-малина...», «Туман мой, сивый мерин...» и т. д.; ср. позднейшие авторемиписценции — «Неясные рассветы...», «Вот радостные вести...», и др. стихи 1959 и 1963—1965 гг.). Но и в этом цикле самым «цитируемым» стихотворением оказалось ретроспективное *Мы, рядовые парни* (*Сосновые кряжи*), *Ломали в Красной армии Отчаянную жизнь...*, и именно его он повторил в типичной «песне о песне» (1927): *Неясными кусками На землю день налег... Мы «Яблочко» таскали, Как песенный паек...*

Прокофьеву отозвался Алтаузен: ...С тех пор прошло немного, Всего семнадцать лет. В стране по всем дорогам Мы проложили след. Мы Врангеля лупили У южной полосы, Юденичу спалили Аршинные усы... («Путешествие в Австралию», 1930) (ср. позже у Тихонова: Мы отстояли Астрахань, Ломали белым кряж, Водил нас в битвы частые Любимый Киров наш...); Алтаузену — Сурков: Не много и не мало — Прошло пятнадцать лет. За питерским вокзалом Затерян песни след... («Дело было весной», 1932) (и далее почти по Уткину: *Пришлось тебе красиво, Товарищ, умереть...* и почти по Корнилову: *Спокойно спи, кудрявый! Идет в атаку взвод... Эх, Нарвская застава, Путиловский завод!*); Суркову 1932 г. — Сурков 1942 г.: ...День гулко рвется миной, Снарядом воет зло, А с песенкой старинной Не страшно и тепло... Баян ты мой певучий, Оружие мое! (балладная «Песня о слепом баянисте»); Суркову 1942 г.— Винокуров: ...Напев летел в обозы, До сердца пробирал, И старческие слезы Обозник вытирал... («Аккордеон», 1955). И когда Ушаков пишет стихи о прошлом «В газетном комбинате», он поминает зачинателя этой традиции как бы его собственным размером: ...Меж нами юный Уткин, Багрицкий молодой... (1960).

Сохраняется ЯЗжм и в традиции детской песни — явной (*Мы едем, едем, едем В далекие края...* и *По улице шагает Веселое звено...* Михалкова) или скрытой (*Лети, весенний ветер, В луга, в леса, в поля. Нам нет милей на свете, Чем русская земля...* Прокофьева по образцу *Слети к нам, тихий вечер, На мирные поля...* Модзалевского),— но такие примеры немногочисленны.

(11) ЯЗжм и ЯЗдм: гимн. Эта семантическая окраска по эмоциональной простоте примыкает к «песне», о которой речь была выше, а по программной прямоте — к «кредо», о которых речь будет ниже. Среди стихов такого рода некоторые звучат почти как «гимны» в буквальном смысле слова: Да здравствует Россия, Великая страна! Да здравствует Россия, Да славится она! (Сологуб, 1914); Советская Россия, Родная наша мать! Каким высоким словом Мне подвиг твой назвать?.. (Исаковский, 1944). Но здесь интереснее два особенных семантических оттенка, связанных с двумя метрическими разновидностями — ЯЗжм и ЯЗдм; очень условно их можно назвать «путевым» и «боевым».

ЯЗжм еще на исходе XIX в. освоил мотив «пути» (может быть, не без влияния трехстопного хорея с его неоднократными «путь — отдохнуть», см. Гаспаров 1976). Особенно охотно обращался к нему Сологуб: О жизнь моя без хлеба, Зато и без тревог! Иду. Смеется небо, Ликует в небе бог... (1898); И в поле ты, босая, В платочке голова, Пойдешь, цветкам бросая Веселые слова... (1901); Он шел путем зеленым В неведомую даль... (1898); Измять босые ноги Безмерностью дорог... (1906) и т. д. (ср. «Опять в дороге» Анненского, «Москва! Какой огромный Странноприимный дом...» Цветаевой). Эту тему «странничества» превратил в тему «апостольства» Клюев: Без посохов, без злата Мы двинулися в путь. Пустыня мглой объята, Нам негде отдохнуть... В божественные строки, Дрожа, вникаем мы, Слагаем, одиноки, Орлиные псалмы... (1912). Вариациями этой темы являются известные стихи-перечни Есенина (1917) «О Русь, взмахни крылами...» и «О муза, друг мой гибкий...» (с упоминанием «апостола нежного, Клюева» и др.).

А затем внимание смещается с славящих на славимое — возникают такие стихи, как *О пашни, пашни, пашни, Коломенская грусть! На сердце день вчерашний, А в сердце светит Русь...* (зачин едва ли не подсказан «Хлыстовской» Кузмина, 1916: *О кликай, сердце, кликай, Воздвигни к небу клич...*); *О Русь, о степь и ветры, И ты, мой отчий дом!..*; *Земля моя златая! Осенний светлый храм!.., О родина, о новый С златою крышей кров...* (1917—18; мотивы странствия сохраняются: *Брожу по синим селам, Такая благодать...*; *Как птицы, свищут версты Из-под копыт коня...*). У зрелого Есенина этот размер исчезает, но остается связан с его именем и возникает — с теми же восклицательными интонациями — в стихах его памяти: в «Плаче о Есенине» Клюева (*Мой край, мое поморье!..*), в «Легла дорога в Константиново» Прокофьева (*О ветер, ветер, ветер, Его Октябрь занес..., О Родина, по зову С тобою говорю...*). Вспомним также «Слово Есенину» Уткина и «Так хорошо и просто...» Корнилова (1927), неожиданно возвращающее нас к истоку — сологубовской теме пути.

Я4дм («боевой») в XIX в. почти не имеет образцов — разве что «Ночь перед приступом» А. К. Толстого с отголосками «патетической» традиции этого стиха. Истоком здесь послужила, как ни странно, совсем иная традиция — балладная. Была немецкая баллада Ю. Мозена об Андрее Гофере, она стала популярной тирольской песней, а на мотив этой песни около 1900 г. возникла польская революционная «Рабочая песня» (в русском переложении Г. Ривкина «Кто кормит всех и поит...») и около 1918 — немецкая революционная «Wir sind die junge Garde des Proletariat» (в русском переложении А. Безыменского «Вперед, заре навстречу...»). Песня Безыменского (1922, ср. новый текст 1958) получила широчайшую популярность, а ритм припева *Мы — молодая гвардия Рабочих и крестьян!* стал образцом для целого ряда «гимнов»

ЯЗдм (иногда в чередовании с ЯЗжм): За море синеволное, За сто земель и вод Разлейся, песня-молния Про пионерский слет!..; Добьемся урожая мы — Втройне, земля, рожай! Пожалте, уважаемый Товарищ урожай!..; Я знаю — город будет, Я знаю — саду цвесть, Когда такие люди В стране в советской есть! (Маяковский, 1929); Громадой раскаленною Широкий ветер, май, Колонну за колонною Всю землю подымай!.. (Асеев, 1930); Вставай, мечта законная, Я больше не могу, Лети навстречу, конная, Проклятому врагу!.. (Корнилов, 1933, через год после Не спи, вставай, кудрявая...); Долой, мечтанья вздорные, Развейтесь чередой! Лети, огонь, над черною Фашистскою ордой!.. (Асеев, 1927). Завершение этого ряда представляет собой памятная «Священная война» Лебедева-Кумача (1941): Вставай, страна огромная, Вставай на смертный бой С фашистской силой темною, С проклятою ордой!.. (Сюда же косвенно примыкает и ЯЗдд песни Луговского из «Александра Невского», 1938: Вставайте, люди русские...). А ритм «Священной войны» отозвался, в частности, в известном стихотворении Евтушенко (1955): О, свадьбы в дни военные! Обманчивый уют, Слова неоткровенные О том, что не убьют...

(12) ЯЗжм и ЯЗдм: «кредо». Если в программном «гимне» заменить общее «мы» на личное «я» и свести до минимума эмоционально-песенные элементы традиции, то перед нами будет новая семантическая окраска, которую условно можно назвать «кредо». Она складывается на рубеже XIX—XX вв. сперва в ЯЗдм (Гиппиус, 1896: ...Я — раб моих таинственных Необычайных снов, Но для речей единственных Не знаю здешних слов; Брюсов в обращении к Гиппиус, 1901: Хочу, чтоб всюду плавала Свободная ладья, И господа и дьявола Хочу прославить я...,— ср. его же, 1900 ...Мы выше мира тленного, И в наших душах — бог), затем в ЯЗжм (В. Иванов, 1904: Снега, зарей одеты В пустынях высоты, Мы — Вечности обеты В лазури Красоты...; Вам — пращуров деревья И кладбищ теснота! Нам — вольные кочевья Сулила Красота..., — ср. его же «Крест Зла»). Здесь не исключено влияние коротких строчек знаменитой «Поэтики» Готье.

Однако классический образец этой семантики дал для современности Пастернак своею «Ночью»: Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты — вечности заложник У времени в плену (1957). Впервые и этот ритм, и эта ночь, и тема обреченности на бессмертие возникают у Пастернака еще в «Безвременно умершему»: ... Ты не узнаешь смерти, Хоть через час сгоришь... И выезд звезд верхами В передовой дозор... Покойся. Спи. Да будет Земля тебе легка[5] (1936). Отсюда идет целый ряд стихотворений-

[5] К ритмико-синтаксической формуле *Не спи, не спи...* ср. также уже цитированное (9) «Предчувствие» Саянова: *Ты спи, ты спи без страха... А песня будет петь* — и еще раньше, «Иорданскую голубицу» Есенина: *Лети,*

кредо — и личного, и творческого, и общественного содержания. Таковы стихи Вознесенского на смерть Пастернака: «Художники уходят... Побеги их — победы. Уход их — как восход К полянам и планетам От ложных позолот... (1960); таковы поздние стихи Яшина: Я обречен на подвиг, И некого винить, Что свой удел свободно Не в силах изменить... (1966); таков целый цикл Винокурова с характерными заглавиями «Серьезность», «Легкость», «Овладеванье» (впрочем, тут были и другие образцы — его зачин *Низка моя осадка...* любопытным образом копирует цветаевское *Проста моя осанка...*); таковы исповеди-воспоминания Межирова («Мне цвет защитный дорог...», «Москва. Мороз. Россия...», «Отпускник», «Отец»). Таковы «стихи о стихах» у Маршака: Свои стихи, как зелье, В котле я не варил... (1964), у Тарковского: *Я долго добивался, Чтобы из стихов своих Я сам не порывался Уйти, как лишний стих...* А концовка Тарковского *Вот почему без страха Смотрю себе вперед, Хоть рифма, точно плаха, Меня сама берет* – как бы сама подводит к его же «Петровским казням»: *Передо мною плаха На площади встает...* (ср. стихотворение Евтушенко «Идол» тех же лет).

Большинство образцов этой семантики, как мы видим, держится метрической разновидности ЯЗжм. Но когда «кредо» становится выражением эмоции прежде всего, то в нем являются и дактилические окончания с их песенной традицией. Таково пастернаковское ЯЗдм «Душа моя, печальница О всех в кругу моем...» (опубликовано при музыке Г. Свиридова), и отклик на него в ЯЗдж Тарковского *...А ты, душа-чердачница, О чем затосковала?..* (эти стихи о стройке включают и иронический отклик на «город-сад» Маяковского: *Здесь будет сад с эстрадами...* и т. д.). Впрочем, определяющая ритмико-лексическая формула здесь еще старше: ср. *...Душе моей, затворнице, Не выйти за порог...* Коневского.

(13) ЯЗмж: импрессионистическая лирика. Мы замечаем: по мере того как мы все дальше отходим от обоих песенных истоков ЯЗ, анакреонтического и русского народного, интонационно-синтаксический строй стиха становится все менее плавным и связным, все более дробным и отрывистым. Когда мы переходим от более традиционных разновидностей ЯЗжм и ЯЗдм к развившимся в наши дни разновидностям ЯЗмж и ЯЗмм, то эта отрывистость превращается из тенденции в норму. Действительно, при плавной интонации два стиха ЯЗмж просто сливались бы в один стих Я6 (как и происходит, например, в «Тишайшем снегопаде» Межирова). Таким образом, ритм задает отрывистую интонацию, а отрывистая интонация подсказывает специфические темы — например быструю смену разрозненных картин. Это ощущение связи между поэтикой

лети, не бейся, Всему есть час и брег, Века стекают в песню, А песня канет в век.

импрессионистических «деталей» и «размеренностью» четко членимого стиха было заявлено еще в стихотворении Пастернака (1917) «Давай ронять слова...»

ЯЗмж в русской поэзии появляется, по-видимому, у Жуковского в балладе «Старый рыцарь»: Он был весной своей В земле обетованной... (1832; в оригинале Уланда — ЯЗмм). Лермонтов, как известно, пародировал это стихотворение («Он был в краю святом...»), однако заимствовал из него мотив своей «Ветки Палестины». Затем эта разновидность ЯЗ возрождается через сто лет, причем (случайно ли?) тоже в теме южной экзотики — в «Стихах о Кахетии» Тихонова (1935), ср. потом «Стихи о Тбилиси» (1948) и сон о горах в «Палатке под Выборгом» (1940) и «Путевых записках» Пастернака (1936).

Замечательно ритмическое, тематическое и даже стилистическое сходство этих стихов: И жизнь — вина густей, И смерть полна лукавства, Как призраки страстей В ребячьем сне сигнацха... Просите снова жизнь Зубчатым басом глыбы, Чтоб осени ножи Несчетность лоз нашли бы... Что там ни говори, А есть места на свете, Где смотришь, как с горы, А день особо светел. Таков, Тбилиси, ты: Тут не в соблазнах дело, А в чувстве простоты Душевной до предела... Когда уж не душой, А жертвуй жизнью всею, — эти строки Тихонова могут показаться цитатами из Пастернака. Свободная композиция «Путевых записок» позволяла связать отрывистой последовательностью различные темы, и семантические отклики на них очень многообразны: о полноте ощущения жизни пишет этим размером Евтушенко (1970: ...И внутренний зажим На мелкие осколки, И мир неразложим Ни на какие полки...), о юге — Тарковский (Где вьюгу на латынь Переводил Овидий, Я пил степную синь И суп варил из мидий...), о горах — Шаламов (Так тихо, что пейзаж Как будто нарисован — Пастельный карандаш, Перекричавший слово...), о городе с горы — Щипачев (Нам полночь не упрек. Вот город перед нами, Весь вдоль и поперек Исчерченный огнями...), о художнике — Озеров (Иду встречать зарю И, песней душу тешa, Себе я говорю: Ольха, олень, Олеша...). Пастернаковский Тифлис (...он был во весь отвес, Как книга с фронтисписом...) порождает кирсановскую Москву (Кремлевская стена Заглавной льется лентой... И вдруг я узнаю Гравюру давней резки...); пастернаковский овчар и (метафорический) кочегар на баке — щипачевского «Истопника» (Он мается спиной, Но молодого стоит. Огнем озарено Лицо его худое...) и ваншенкинского электросварщика (Поднявшийся туда Причастен к светлой доле, Став рыцарем труда, И даже в ореоле...). Умножать примеры нет возможности: стихи такого рода повторяются не только у Кирсанова, Ваншенкина, Винокурова, Шаламова, но и у самого Пастернака (1956: Плетемся по грибы. Шоссе. Леса. Канавы...). Достаточно сказать, что интерес к «импрессионистиче-

скому» ЯЗмж дошел до того, что из лирики этот размер перерос в эпос: на основе именно этой метрической разновидности возник вольнорифмованный ЯЗ поэмы Д. Самойлова «Последние каникулы» (1974), явно ориентированной на Пастернака и путевым фоном, и мироприемлющим чувством, и открытой композицией, и пестрой тематикой, и вызывающим размером: Четырехстопный ямб Мне надоел. Друзьям Я подарю трехстопный, Он много расторопней... (см. Руднев 1977).

(14) ЯЗмм: трагическая лирика. Здесь отрывистость разрозненных картин сменяется отрывистостью расстроенных чувств. Самые ранние образцы этой метрической разновидности еще случайны: это юношеская проба Ломоносова «Хочу воспеть Атрид...» (где сплошные мужские окончания — от заботы о чистоте ямбических стоп) и стихотворение Жуковского «К младенцу» (1828). Потом после большого перерыва этот стих подхватывает и сразу нащупывает в нем устойчивую трагическую интонацию Якубович: Все, все простить бы вам Без злобы я готов! — Что осквернили храм Моих вы дум и снов ...Но не прощу я вам, О палачи мои!.. (1876); Но взор прозревший мой В испуге увидал В неволе край родной, В позоре идеал... (1890); Все снится — в мрачный склеп Навек попали мы: Стучим, зовем... Увы! Недвижен свод тюрьмы. Нет песен, смеха нет.... Ни солнца, ни цветов... Печален круг друзей, Темно лицо врагов!.. (1907). Отсюда — прямая линия к стихам Бальмонта о японской войне: История людей — История войны, Разнузданность страстей В театре Сатаны... (1904), а отсюда — к самым жестоким стихам поздней Цветаевой: Пора — пора — пора Творцу вернуть билет. Отказываюсь — быть. В Бедламе нелюдей Отказываюсь — жить. С волками площадей Отказываюсь — выть...; О, с чем на Страшный суд Предстанете: на свет! Хвататели минут, Читатели газет! (1935—1939).

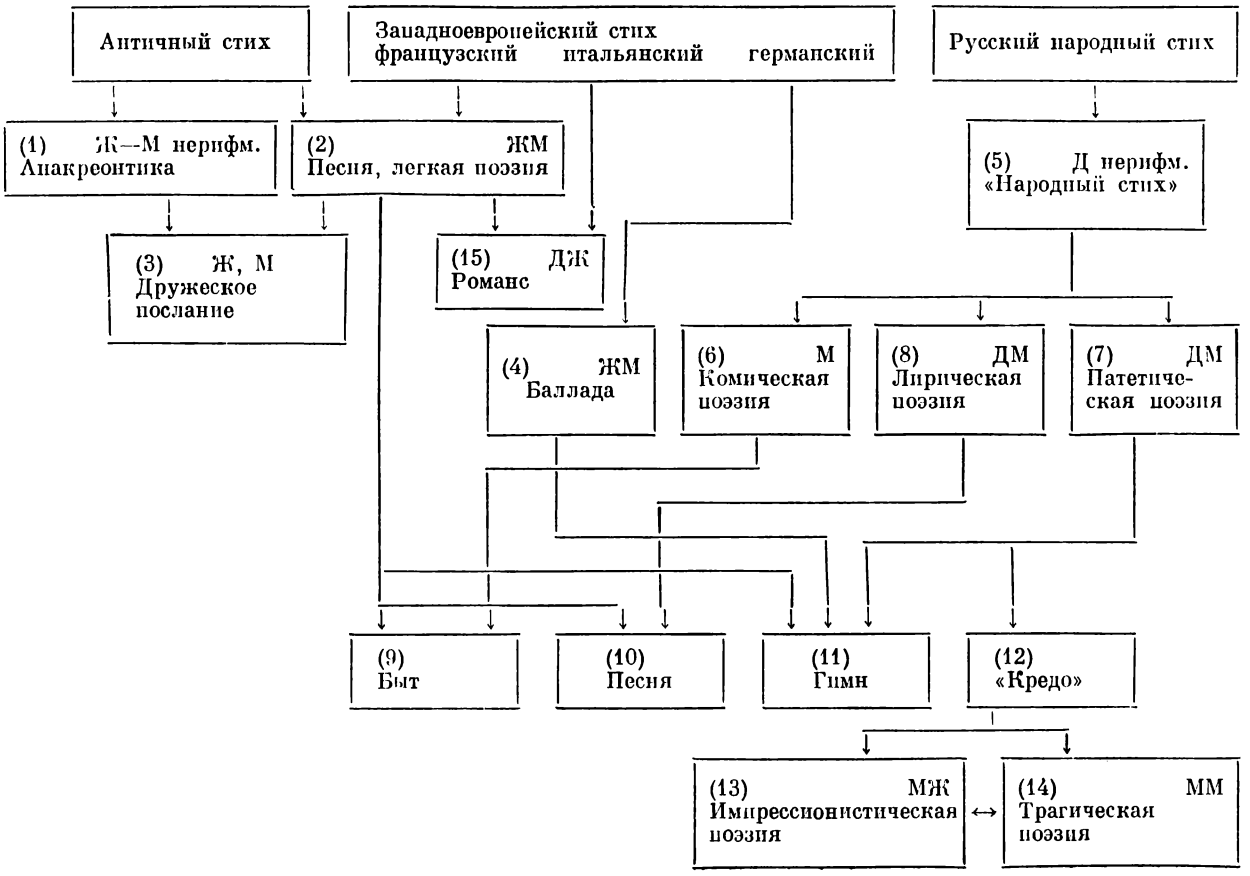
Интонации цветаевских параллелизмов переходят — в ослабленном, конечно, виде — к младшим поэтам: О этот страшный круг! И только ли он в нас? Предательство ли рук? Предательство ли глаз?.. (Евтушенко, 1961); Любите при свечах, Танцуйте до гудка, Живите — при сейчас, Любите — при когда?.. (Вознесенский, 1967); Нас посещает в срок — уже не отшучусь — Не графоманство строк, А графоманство чувств... (Вознесенский, 1977); и даже у Винокурова «Поэма о движении» (1961: Полы трет полотер. Паркет да будет чист! Он мчит — пустынен взор! — Как на раденье хлыст...) любопытным образом оказывается насыщена цветаевскими реминисценциями.

С меньшей напряженностью звучит та же отрывистая интонация в другой любопытной серии текстов, в начале которой стоит стихотворение Сологуба: Никто не убивал, Он тихо умер сам, — Он беден был и мал, Но рвался к небесам. А небо далеко, И даже — неба нет. Поймн — и жить легко: Ведь тут же, с нами свет. Огнем

горит эфир, И ярки наши дни,— Для ночи знает мир Внезапные огни. Но он любил мечтать О пресвятой звезде, Какой не отыскать Нигде — увы! — нигде... (1902). Порывом к небесам это перекликается с Мандельштамом: О как же я хочу, Нечуемый никем, Лететь вослед лучу, Где нет меня совсем! А ты в кругу лучись, Другого счастья нет, И у звезды учись Тому, что значит свет... (1937); порыв ослабевает в призыв у Белого: Сверкни, звезды алмаз: Алмазный свет излей! Как пьют в прохладный час Глаза простор полей; Как пьет душа из глаз Простор полей моих; Как пью — в который раз? — Души душистый стих...» (1908) и т. д. с замечательной вязью повторов, предвосхищающей Цветаеву). Звезда из реальной становится метафорической у Северянина: Звезда горит звезде, Волне звучит волна. Но в ней, чего нигде: Она собой полна!.. («Эксцентричка», 1908); горение из небесного становится земным у Окуджавы: *Неистов и упрям, Гори, огонь, гори... А там пускай ведут... На самый Страшный суд...* И, наконец, уже не беспокойный герой стремится к звезде, а звезда нисходит к спокойному герою у Щипачева (1938): *Он здесь, в моем окне, Звезды далекой свет, Хотя бежал ко мне Сто сорок тысяч лет...* (ср. в другом его ЯЗмм — о возрасте планеты Земля, которой *при коммунизме жить Уж с самых детских лет*).

Заметим, что все три «непесенные» типа ЯЗ (12—14), очень активно развиваясь в современной поэзии, взаимодействуют друг с другом и порой как бы меняются темами. Так, «кредо» можно встретить и в ЯЗмж (Тихонов: *Стих может заболеть И ржавчиной покрыться...*, Евтушенко: *...Поэзия чудит, Когда нас выбирает...*), пейзаж — и в ЯЗмм («Ленинградская тетрадь» Кирсанова), трагедию — и в ЯЗжм («Ложная тревога» Пастернака) и в ЯЗмж («Ночная уха» Яшина), с любопытными сочетаниями семантических окрасок. Перед нами живой и плодотворный процесс скрещивания еще не окостеневших традиций.

(15) ЯЗжж и ЯЗдж — разновидности редкие и самостоятельных семантических окрасок не выработавшие; о них можно говорить лишь как бы в разделе «разное». В ЯЗжж сосуществуют «Как не в своем рассудке...» Пастернака и «Была пора глухая...» Асеева; в ЯЗдж *Тебе бы только кланяться, Грудями оземь плюхать...* («Автобиография Москвы») Асеева и *...Страна очарования За далью непогоды...* Ушакова; в редкой строфе джджк+дмдм «Эвридика» Тарковского (*...Дитя, беги, не сетуй Над Эвридикой бедной, И палочкой по свету Гони свой обруч медный...*) несомненно, отозвалась в «Дальней дороге» Окуджавы, но тут же рядом стоит и совсем непохожее *Давайте после драки Помашем кулаками...* Слуцкого. Здесь можно выделить разве что маленькую группу стихотворений, объединенных неожиданным истоком — итальянским. Мы упоминали об анакреонтических «оделеттах» Ронсара с рифмовкой жм; в Италии они нашли отклик в «канцонеттах»


Античный стих
Западноевропейский стих
французский итальянский германский
Русский народный стих
(1) Ж—М нерифм.
Анакреонтика
(2) ЖМ
Песня, легкая поэзия
(5) Д нерифм.
«Народный стих»
(3) Ж, М
Дружеское послание
(15) ДЖ
Романс
(4) ЖМ
Баллада
(6) М
Комическая поэзия
(8) ДМ
Лирическая поэзия
(7) ДМ
Патетическая поэзия
(9)
Быт
(10)
Песня
(11)
Гимн
(12)
«Кредо»
(13) МЖ
Импрессионистическая поэзия
↔
(14) ММ
Трагическая поэзия

Фругони с «удлинившейся» рифмовкой дж; при Парини эта форма перешла в высокую поэзию, при Мандзони достигла расцвета; переводами из Мандзони были первые русские стихи ЯЗдждж+ +дмдм: *Разбросанные локоны Упали к груди белой...* Козлова и *Высокого предчувствия Порывы и томленье... Тютчева* (ок. 1830). Единственное заметное оригинальное стихотворение такого вида — это *Твои движенья гибкие, Твои кошачьи ласки, То гневом, то улыбкою Сверкающие глазки...* Ап. Григорьева,— и оно было написано в 1858 г. во Флоренции. Можно думать, что от Григорьева отталкивался Блок, создавая строфу ЯЗждмждм для своей «Флоренции» 1909 г.: *Пляши и пой на пире, Флоренция, изменница, В венке спаленных роз*! А отголосок инвективной интонации Блока можно расслышать в 1935 г. в «Ночном Париже» Тихонова с его вольным сочетанием ЯЗжм и ЯЗдм.

Мы рассмотрели здесь около 300 примеров употребления русского ЯЗ. Конечно, выделение 15 семантических окрасок не покрывают всех оттенков его семантического ореола. Это лишь вехи, расставленные в обследованных местах семантического поля, чтобы служить ориентирами при дальнейшем изучении неисследованных мест. Могут заметить: «Набор тем, с которыми сочетается этот размер, настолько широк, что охватывает почти всю тематику русской поэзии,— а если так, то вряд ли можно говорить о специфической семантике данного размера». Это не так: набор тем в разных размерах может быть одинаков или почти одинаков, но структура этого набора одинакова не будет. Те связи; которые мы старались проследить между 15 окрасками ЯЗ и которые позволяют им плавно переходить друг в друга, в любом другом размере заведомо будут иными. Можно сказать, что все размеры семантически синонимичны, но нельзя сказать, что они семантически тождественны. В языке любое слово может быть окказионально применено к любому предмету, а в стихе любой размер к любой теме; но это не мешает нам говорить об обычном круге значений слова и не должно мешать нам говорить о семантическом ореоле стихотворного размера.

Мы остановились на пороге самой сложной и ответственной части исследования проблемы «метр и смысл» — на пороге анализа семантического сходства. Техника такого анализа на уровне целых произведений еще слишком не разработана: можно чувствовать, что такие-то два стихотворения более схожи, чем иные, но нельзя сформулировать, почему и насколько более. Здесь стиховед может лишь собрать и подготовить материал, на котором интересно и удобно оттачивать новые методы исследования; это мы и старались сделать. Наша подборка примеров похожа на центон из русских стихов трехстопного ямба за два с лишним века; но хотелось бы,

чтобы она воспринималась не как упражнение в составлении мозаики из мертвых камней, а как эксперимент на совместимость живых сращиваемых тканей. В одних местах тексты срастаются, в других нет; почему,— это лучше скажет лингвист, чем литературовед. Мост между метром и смыслом нужно наводить сразу с обоих берегов.

И последнее, о чем требует сказать наш материал, — это об индивидуальности текста и индивидуальности поэта. Сопоставление примеров, подобное проделанному, часто поражает: многое, что мы принимали за неповторимые приметы шедевра и таланта, оказывается заимствованным или общедоступным добром. Это лишний раз напоминает нам: индивидуальность следует искать не в элементах, а в структуре; и это лишний раз напоминает нам: только эгоцентрическая перспектива заставляет нас видеть нормы, каноны и шаблоны за исторической далью и не замечать их рядом с собой. Никого не удивляет, когда говорят: «В поэзии XVIII в. размеры закреплены за жанрами»; но многие усомнятся, услышав: «В поэзии XIX в. размеры закреплены за темами и эмоциями»; и вовсе странным покажется предположение: «В поэзии XX в. размеры закреплены за интонациями». Мы не будем настаивать на именно такой эволюционной схеме, хотя, как кажется, рассмотренный материал ее и подсказывает. Но и просто показать, что все поэты являются вольными или невольными соавторами друг другу в коллективном труде творчества словесной культуры, — это, может быть, тоже своевременно.

ЛИТЕРАТУРА

Баевский В. С. Некрасов о стихе.— В кн.: Некрасов и русская литература. Ярославль, 1976, с. 90—101.

Вишневский К. Д. К вопросу об использовании количественных методов в стиховедении.— В кн.: Контекст-1976. М., «Наука», 1977, с. 130—159.

Гаспаров М. Л. К семантике дактилической рифмы в русском хорее.— In: Slavic Poetics. The Hague, Mouton, 1973, p. 143—150.

Гаспаров М. Л. Современный русский стих. М., «Наука», 1974.

Гаспаров М. Л. Русский народный стих в литературных имитациях.— International Journal of Slavic Linguistics and Poetics, 1975, v. 19, p. 77—107.

Гаспаров М. Л. Метр и смысл: к семантике русского трехстопного хорея.— Изв. АН СССР. Сер. лит. и яз., 1976, т. 35, № 4, с. 357—366.

Рейсер С. А. Строфа в поэме Некрасова «Кому на Руси жить хорошо».— В кн.: Русская советская поэзия и стиховедение. М., 1969, с. 192—206.

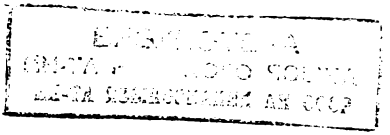
Руднев В. П. Трехстопный ямб Д. Самойлова.— В кн.: Сборник трудов СНО филологического факультета (ТГУ): Русская филология. V. Тарту, 1977, с. 109—118.

Тарановский К. О взаимодействии стихотворного ритма и тематики.— In: American Contributions to the 5th International Congress of Slavists, v. I, The Hague, Mouton, 1963, p. 287—332.

Томашевский Б. В. Строфика Пушкина.— В кн.: *Томашевский Б. В.* Стих и язык. М.—Л., Гослитиздат, 1959, с. 202—324.
Hollander J. The metrical emblem.— In: Style and Language. Ed. by Th. A. Sebeok. Cambr. Mass., MIT Press, 1960, p. 191—192.

Источники упоминаемых и цитируемых текстов. Для удобства большинство ссылок дается на издания «Библиотеки поэта» (БП; всюду, где нет пометок «м. с.» и «1 изд.», имеется в виду большая серия, изд. 2).— «Песни и романсы русских поэтов», БП, 67, 73, 79, 92, 98, 107, 109, 134, 147, 170, 188, 205, 921 (XVIII век), 224, 226, 429, 437, 447, 645, 756, 773, 820, 864, 865 (XIX век); Сумароков, БП (1 изд.), 75; Богданович, БП, 183, 216; Княжнин, БП, 658; Муравьев, БП, 198; «Поэты XVIII в.», БП, II, 212 (Львов); «Поэты 1790—1810-х гг.», БП, 199 (Смирнов); «Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в.», БП, 142 (Горчаков); Жуковский, БП (1 изд.), I 81, 87, 321; II 105, 109; Батюшков, БП, 134; Козлов, БП, 183, 208; Вяземский, БП, 86; Дельвиг, БП, 186, 205; Мятлев, БП, 71, 127; Пушкин, Полн. собр. соч., (изд. АН СССР, 1949), I 38, 91, 227; II 42; Лермонтов, Полн. собр. соч. (изд. АН СССР, 1954), II, 64, 127, 204, 228; Ф. Глинка, Соч. (1869), I 355; «Поэты 1820 — 30-х гг.», БП, II 507 (Деларю); Кольцов, БП, 87, 127, 133; Тютчев, БП, 102, 147, 203; Фет, БП, 134, 156; Ап. Григорьев, БП, 174; Полонский, БП, 96, 379; А. К. Толстой, БП (1 изд.), I 214, 216, 303, 344, 357; Аксаков, БП, 179; Розенгейм, Стих. (1896), 226, 383; Мей, БП, 107, 268; Некрасов, БП, I 59, 85, 98, 347; II 141, 206; Никитин, БП, 201, 229, 329; Дрожжин, Новые стих. (1904), 153; Песни старого пахаря (1913), 119; Якубович, БП, 128, 137, 160, 278; Фофанов, Иллюзии (1900), 245; Лохвицкая, Стих., IV (1903), 55; Энгельгардт, Стих. (1890), 15; Ап. Коринфский, Черные розы (1896), 47, 70, 102; Коневской, Стихи и проза (1904), 22, 45, 87; Гиппиус, Собр. стихов (1904—1910), I 39, 85, 119; II 50, 112; Сологуб, БП, 220, 222, 256, 260, 311, 341, 347; Алый мак (1917), 101, 179; Свирель (1922), 19, 26; Бальмонт, БП, 311; Брюсов, Собр. соч. (1973), I 236, 354; В. Иванов, БП (м. с.), 123, 131, 140; Белый, БП, 165, 169, 219, 251, 315, 339; Блок, БП (1 изд.), 287, 338, 422, 478; Кузмин, Вожатый (1918), 44, 59; Рафалович, Стих. (1916), 20; Северянин, Собр. поэз (1918), III 124; Ахматова, БП, 58, 110, 116, 239; Мандельштам, БП, 154, 199; Пастернак, БП, 115, 116, 121, 150, 185, 385, 387, 398, 451, 462, 471; Цветаева, БП, 83, 166, 316, 336; Есенин, Собр. соч. (1961), I 155, 280, 290; II 20, 26, 30, 35, 54, 59; Маяковский, Полн. собр. соч. (1955), X 24, 128, 275; Асеев, Собр. соч. (1963), I 121, 381; II 120, 195; Тихонов, Собр. соч. (1973), I 250, 282, 327, 334, 347, 414, 503; II 104; Лебедев-Кумач, БП (м. с.), 52, 226; Маршак, БП, 140; Исаковский, БП, 267, 276; Сурков, Собр. соч. (1965), I 83, 378; II 342; Щипачев, Избр. произв. (1970), I 88, 101, 107, 108, 112; II 72, 131; Ушаков, Мой век (1973), 59, 79, 81, 326, 346; Кирсанов, Собр. соч. (1975), III 430; IV 356; Саянов, БП, 63; Прокофьев, БП, 81, 86, 100, 191, 284, 318, 391, 466, 486, 487, 488, 557, 601, 612, 669, 670, 680, 695, 701, 702, 716; Уткин, БП, 74, 79, 230; Корнилов, БП, 50, 54, 73, 224, 316; Кедрин, БП, 104, 169;

Твардовский, Собр. соч. (1966), I 338, 341; Рыленков, Стих. и поэмы (1959), I 249, 336; Озеров, Лирика (1966), 163; Шаламов, Огниво (1961), 41; Тарковский, Вестник (1969), 54, 111, 145, 175, 189; Яшин, Избр. произв. (1972), I 442, 465; Межиров, Поздние стихи (1971), 14, 21, 98, 130, 138; Винокуров, Избр. (1968), 45, 55, 108, 192, 363, 402, 403; Ваншенкин, Избр. (1969), 219, 257; Евтушенко, Избр. произв. (1975), I 44, 86, 125; II 10, 100, 197; Вознесенский, Дубовый лист виолончельный (1975), 298, 445; «Песни нашей Родины» (М., 1957), 16, 31, 37, 193, 303, 305, 312, 340, 369, 373, 375, 381, 384, 390, 452, 455, 476 (Безыменский, Жаров, Луговской, Лебедев-Кумач, Михалков, С. Васильев, Акулов, Фатьянов, Глейзаров, Матусовский, Шамов).



ИРЯ
институт русского языка
им. в. в. виноградова

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 3

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

Е. С. Кубрякова, П. А. Соболева. О понятии парадигмы в формообразовании и словообразовании 5
Е. Л. Гинзбург. Типология гнезд и соотношения категорий производных 24
Б. В. Сухотин. Классификация лингвистических единиц на заранее не заданное число классов 40

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ

П. А. Соболева. Лексикализация множественного числа и словообразование 47

СИНТАКСИЧЕСКИЕ И СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Г. А. Смирнова. Категория рода несклоняемых существительных . . . 86
М. А. Пробст. О преобразованиях в системе текстов 106
Е. М. Вольф. Прилагательное в тексте 118
Л. И. Василевская. Синтаксические возможности имени собственного. I 136
Н. Д. Арутюнова. Языковая метафора (синтаксис и лексика) . . . 147

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вяч. Вс. Иванов. Из наблюдений над одой XVIII в. 174
Г. Г. Полищук, О. Б. Сиротинина. Разговорная речь и художественный диалог 188
А. Г. Костецкий. Материальная природа поэтического текста и его восприятие 200
Е. В. Джанджакова. О поэтике заглавий 207
Н. А. Кожевникова. Об обратимости тропов 215
Е. А. Некрасова. Сравнения общеязыкового типа в аспекте сопоставительного анализа художественных идиолектов 225
Н. В. Павлович. Семантика оксюморона 238
С. Н. Шепелева. О формально-семантических типах в русском словотворчестве 248
О. В. Шульская. О символе в поэзии А. Межирова и Е. Винокурова 255
М. Д. Якубовская. Об одном глаголе в поэзии А. Блока 274

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СТИХОВЕДЕНИЯ

М. Л. Гаспаров. Семантический ореол метра. К семантике русского трехстопного ямба 282

www.ruslang.ru

Лингвистика и поэтика

Утверждено к печати
Институтом русского языка АН СССР

Редактор издательства *Г. Н. Коровo*
Художественный редактор *Т. П. Поленова*
Технический редактор *В. И. Зудина*
Корректоры *Л. С. Агапова, Е. И. Алексеева*

ИБ № 15087

Сдано в набор 24.10.78
Подписано к печати 16.04.79
Формат 60×90¹/₁₆
Бумага № 1
Гарнитура обыкновенная
Печать высокая
Усл. печ. л. 20,5. Уч.-изд. л. 20,7
Тираж 4200 экз. Тип. зак. 1231
Цена 2 р. 20 к.

Издательство «Наука»
117864 ГСП-7, Москва, В-485, Профсоюзная ул., 90

2-я типография издательства «Наука»
121099, Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

В МАГАЗИНАХ «АКАДЕМКНИГА» ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ:

Балканский лингвистический сборник. 1977. 324 с. 1 р. 01 к.

Вопросы лексикологии. 1977. 206 с. 61 к.

Вычислительная лингвистика. 1976. 230 с. 1 р.

Гаджиева Н. З. Проблемы тюркской ареальной лингвистики. Среднеазиатский ареал. 1975. 302 с. 1 р. 10 к.

Индийское языкознание. Сборник статей. 1978. 230 с. 1 р. 80 к.

Митрохина В. И. и *Мотовилова О. Г.* Пособие по русскому языку для работы над научными текстами (для научных работников и аспирантов-иностранцев). 1976. 125 с. 40 к.

Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1974. 1976. 270 с. 93 к.

Пособие по развитию навыков монологической речи. Русский язык. Для научных работников и аспирантов-иностранцев. 1977. 222 с. 80 к.

Русский язык как средство межнационального общения. 1977. 302 с. 1 р. 20 к.

Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточнославянские параллели. Структура балканского текста. 1977. 380 с. 2 р. 60 к.

Тюркская лексикология и лексикография. 1971. 312 с. 1 р.

Черемисина М. И. Сравнительные конструкции русского языка. 1976. 270 с. 1 р. 15 к.

Язык научной литературы. 1975. 264 с. 88 к.

Заказы просим направлять по одному из перечисленных адресов магазина «Книга — почтой» «Академкнига»:

480091 Алма-Ата, 91, ул. Фурманова, 91/97; 370005 Баку, 5, ул. Джапаридзе, 13; 734001 Душанбе, проспект Ленина, 95; 252030 Киев, ул. Пирогова, 4; 443002 Куйбышев, проспект Ленина, 2; 197110 Ленинград, П-110, Петрозаводская ул., 7; 220012 Минск, Ленинский проспект, 72; 117192 Москва, В-192, Мичуринский проспект, 12; 630090 Новосибирск, 90, Академгородок, Морской проспект, 22; 620151 Свердловск, ул. Мамина-Сибиряка, 137; 700187 Ташкент, ул. Дружбы народов, 6; 450059 Уфа, 59. ул, Р. Зорге, 10; 720001 Фрунзе, бульвар Дзержинского, 42; 310003 Харьков, Уфимский пер., 4/6.

2 р. 20 к.